

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

*Под общей редакцией
А. К. Дживелегова*

**ФРАНЧЕСКО
ГВИЧЧАРДИНИ
(1483—1540)**

А С А Д Е М І А



ФРАНЧЕСКО ГВИЧЧАРДИНИ

СОЧИНЕНИЯ

Вступительная статья и редакция

А. К. Дживелегова

Перевод и примечания

М. С. Фельдштейна

А С А . Д Е М І А

1934

Opere scelte

FRANCESCO GUICCIARDINI

*Фронтиспис, заставки, концовки, переплет
и супер-обложка В. А. Милашевского*



Предисловие

Для русского читателя Гвиччардини — незнакомец. Из его произведений не было до сих пор переведено ничего. Между тем среди мыслителей итальянского Ренессанса мало таких, которые могли бы с ним равняться. Конечно, Макиавелли крупнее, чем он, но некоторыми особенностями своего ума Гвиччардини гораздо тише. А в настоящий момент произведения Гвиччардини несут в себе острый аромат злободневности в такой мере, что, читая их, иной раз кажется, что читаешь статью в каком-нибудь толстом американском или французском журнале. Только ни одно из высказываний современных буржуазных публицистов не может равняться по силе и оригинальности, по умению проникать в самый корень изучаемого явления и по искренности формулировок — с тем, что говорил Гвиччардини.

Гвиччардини — мыслитель, отразивший в себе первый большой кризис, который переживала

европейская буржуазия: крушение ее власти в Италии к концу Возрождения. Именно это делает его мысли и «заметки» такими злободневными в настоящий момент. Они освещают и помогают понять тот великий кризис,—кошечно, иного происхождения и иного масштаба, чем в Италии XVI века,—который в наши дни переживает капитализм в Европе и Америке. Тот моральный и интеллектуальный упадок буржуазии, который как в зеркале отразился в писаниях Гвиччардини, воспроизводится на наших глазах в размерах неизмеримо более крупных. Но культурные последствия кризиса теперь приблизительно одинаковы с теми, которые переживала Италия. И Гвиччардини поможет советскому читателю осмыслить и уяснить моральный и интеллектуальный упадок современной буржуазии лучше, чем кто-нибудь. Одно это, не говоря о другом, может оправдать появление перевода Гвиччардини в наши дни.

В этой книге собраны такие произведения Гвиччардини, которые знакомят с культурой последних стадий Возрождения и с мировоззрением той части итальянской буржуазии — ее верхушки, которая больше всего теряла от победоносного наступления феодальной реакции: его автобиографические и семейные записи и его замечательные «Заметки политические и гражданские», которые были евангелием итальянской буржуазии в течение всего времени господства феодальной реакции и читались ею как «золотые предписания». О том, чтобы дасть перевод большой (в последнем издании — пять тол-

стых томов) «Истории Италии», сейчас рано думать, но издательство надеется в недалеком будущем дать перевод маленькой «Истории Флоренции» и диалога «О флорентийской конституции», столь же, хотя и по-другому, типичных для Гвиччардини и представляющих собою яркую иллюстрацию эпохи, в которой он жил.

Academia



Франческо Гвиччардини

1483 — 1540

«Гвиччардини — подлый негодяй», сказал как-то Стендаль¹: мимоходом, небрежно и беззаботно, как говорят, что снег белый, а трава зеленая. Эдгар Кинне на пяти страницах «Итальянских революций» собрал против Гвиччардини столько обвинений и таких, что, если бы половина была правдою, ни один итальянец никогда не произносил бы его имени без гримасы отвращения. «Когда будет Италия, она золотыми буквами начертает имя этого чудесного гения

¹ Guichardin est un vil coquin, — «Promenades dans Rome», II, 114 (1829).

на позорном столбе», восклицал буйный друг тянувшейся к единству Италии¹.

Стендаль и Кине были друзьями «Молодой Италии», идейными союзниками итальянского Risorgimento. А оно, одушевленное идеями свободы и единства, ненавидело Гвиччардини так же сильно, как любило Макнавелли. Ведь Гвиччардини был противником единства, служил папе Клименту VII, Алессандро и Козимо Медичи и дезертировал из Флоренции, борющейся за свою свободу. Все эти факты расценивались как тяжчайшие преступления против Родины (люди Risorgimento любили писать это слово с заглавной буквы). Оценки Стендаля и Кине — отголоски оценок итальянских патриотов XIX века.

Человеку, которого преследовали такие приговоры, трудно было поправить свою репутацию. Восстановление ее далось не легко. Стендаль и Кине едва ли знали из сочинений Гвиччардини что-либо, кроме «Истории Италии», хотя в разное время частично печатались его «Заметки политические и гражданские». Поэтому, когда появились десять томов «Неизданных сочинений», очень наспех, без серьезной научной подготовительной работы, в большом беспорядке напечатанных Джузеппе Канестрини², вопрос о пересмотре старых оценок встал сам собою. Но, во-первых, к этому времени были опубликованы свидетельства современников, часто враждебные Гвиччардини, а во-вторых, в первом же томе Канестрини появились полностью «Заметки», которые послужили новым

¹ «Les Révolutions d'Italie», II, 151. Писано в 1847 г., в экстазе революционных предчувствий.

² «Opere inedite di Francesco Guicciardini, illustrate da G. Canestrini», 1857 и сл.

поводом для нападок. На этот раз судьей Гвиччардини, строгим и красноречивым, выступил Франческо де Санктис, влиятельнейший из историков итальянской литературы, страстный герольд расорджиментных настроений. Он парисовал¹ такой отталкивающий его портрет и притом с такой убедительностью, что его взгляд на Гвиччардини сделался на долгое время как бы обязательным. Отголоски его можно найти в таких сравнительно недавних работах, как монография о Макнавелли Оресте Томмазини.

Но трезвые слова о Гвиччардини начали прокладывать себе дорогу, как только объединение завершилось и его злободневные задачи перестали направлять критический анализ прошлого. И как бы для того, чтобы искупить несправедливые оценки Стендаля и Кипе, первым спокойно, хотя и без большого сочувствия, заговорил о Гвиччардини француз Эжеп Бенуа², использовавший первые три тома публикаций Канестрини. А когда писания и действия Гвиччардини подверг объективному анализу в книге о Макнавелли крупнейший историк современной Италии Паскуале Виллари, ставший на защиту его не только как историка, но и как человека, в литературе о Гвиччардини наступил поворот. По следам Виллари пошли другие, а в самое последнее время, в связи с послевоенными фашистскими настроениями, прежнее отрицательное отношение начинает уступать место чуть ли не апологетическому, и если бы в наши дни

¹ «Nuovi Saggi», 201, и потом в «Storia della letteratura italiana», II, 88.

² «Guichardin, historien et homme d'Etat italien», 1882.

кто-нибудь вздумал повторить отзыв Степдаля, его стали бы обвинять в кощунстве¹.

Чем объясняются такие огромные колебания в оценке человека и писателя?

Гвиччардини пишет — и действует — так, что не всегда легко добраться до настоящих его мыслей. Такова, как мы увидим, его натура. Поэтому словам — и делам — его нетрудно дать неправильное истолкование. Если не иметь твердого критерия для суждений и оценок, легко впасть в ошибку. Прежние безоговорочные обвинения и новейшие, порою восторженные, апологии тем и грешат, что под ними, обыкновенно, нет твердой почвы.

Почву эту нужно искать в среде и в эпохе.

I

Франческо был мальчиком², когда умер Лоренцо Медичи и кончились времена пышного, безмятежного благополучия Флоренции. Он едва вступал в юношеский возраст, когда на площади Синьории сожгли недавнего властителя дум Джироламо Савонаролу. Блеск медичейского правления не мог запечат-

¹ Из новейшей литературы можно назвать еще одну французскую работу *Otetea*, «Guichardini, sa vie publique et sa pensée politique» (1926) и ряд итальянских: *Benassi* «Rileggendo la storia d'Italia del Guicciardini» («Nuova rivista storica», 1925, 5), *A. Luzio*, «La storia d'Italia del Guicciardini» («Atti dell'Accademia delle Scienze», vol. 65, 1930), *Treves*, «Il realismo politico del Guicciardini» (1931), *Francesco Ercole*, «Da Carlo VIII a Carlo V» (1932)

² Родился 6 марта 1483 г. и был, следовательно, на 14 лет моложе Макиавелли.

леться в его душе. Напряженный, так трагически разрешившийся кризис аскетического народолюбия, едва им чувствовался. Потом он уехал учиться. Когда вернулся, не гремели бои, не бушевала буря, потухли и праздничные огни, медичейские, и очистительные, савонароловские. Были будни.

Гвиччардини вышел совсем из другой среды, чем Макиавелли. Он никогда не знал нужды, которая была такой частой гостьей в разные периоды жизни его друга. Семья его пользовалась большим достатком. Отец принадлежал к числу образованнейших людей в городе и гордился дружбою с Марсилио Фичино. Глава платоновской Академии держал у купели Сан Джованни маленького Франческо. Был еще на заднем плане богатый и беспутный дядя епископ, которому очень хотелось вовлечь даровитого племянника в церковную карьеру. Образование юноша получил хорошее — и общее, гуманистическое, и специальное, юридическое. В жизнь вступил великолепно вооруженный, счастливо начал карьеру и, не достигнув законного тридцатилетнего возраста, был облечен почетным и ответственным званием посла Флорентийской республики при испанском дворе.

Это было в 1511 году. У него уже была написана «История Флоренции». В этой книге он понемногу нащупывал ту политическую почву, на которую вскоре должен был стать твердою ногой. Каковы его первые высказывания?

«История Флоренции» писалась (1508—1509), когда во главе республики с титулом пожизненного гонфалоньера стоял Пьеро Содерини, а власть принадлежала промышленным и торговым группам. К ним она перешла после того, как рушилась савонаро-

ловская «демократия», сменившая в 1494 году медичейскую тираннию. Обломки той социальной группы, которая поддерживала Медичи, рантьерской буржуазии, извлекавшей свои доходы не только из торговли и промышленности, но в значительной мере и из земельной ренты,— притаились и проявляли величайшую лояльность. Они лишились своих лидеров, казненных после неудачного заговора в пользу Медичи в 1497 году, и очень страдали от прогрессивного подоходного налога (*la decima scalata*, «ступенчатая десятина»), введенного в 1500 году. Чтобы поправить свои дела, именно они выдвинули в 1502 году кандидатуру Пьеро Содерини. Содерини были фабрикантами шелка, имели конторы в Лионе и Антверпене и принадлежали к числу самых богатых людей во Флоренции. Пьеро был близок к рантьерской группе, что и давало ей надежду приобрести к власти после его избрания. Но Содерини делал карьеру при народном правлении, никогда не имел связей с Медичи и понимал, что уделить рантьерской группе значительное влияние,— значит, поставить Флоренцию под риск медичейской реставрации. Поэтому после своего избрания он круто порвал с рантьерской группой и честно отдал свои силы и способности — не очень блестящие — укреплению народного правления. В частности, финансовая политика осталась тою же, какой была: ее основами продолжали быть бережливость, честная и выдержанная администрация по делам государственных долгов и налоговая политика, особенно тяжело давившая на земельных магнатов. Купеческая группа, интересам которой эта линия отвечала вполне, деятельно его поддерживала. Ремесленники и мелкие торговцы, поставлявшие Са-

вонароле цвет его гвардии, i riagnoni, и следовавшие слепо за Фрапческо Валори, убитым в день ареста Савонаролы, набирали силы и соблюдали по отношению к Содерини доброжелательный нейтралитет. На чьей стороне были симпатии Гвиччардини?

Во Флоренции было явлением обычным, что члены одной и той же семьи в политических вопросах держались одинаковой ориентации на протяжении многих поколений. Объясняется это тем, что в деловой практике — в торговле, промышленности, банковом деле, земельном хозяйстве — из рода в род передавались и капиталы, и связи. Коммандитные товарищества, или товарищества на вере, широко эксплуатировавшие заграничную клиентуру, сплачивали членов семьи и привязывали их друг к другу крепкими узами крупных дивидендов. Держаться вместе, не распасться, являть неразрывную группу, как сбитые в крешкую кучку многочисленные члены семьи Торнабуони на известной фреске Гирландайо, было удобно и, что важнее, выгодно. А так как в течение всего XV века благоприятная конъюнктура нарушалась редко, и никаких больших потрясений ни республика, ни Италия не испытывали, то и политические настроения членов одной семьи менялись мало. Эти настроения закреплялись в партийных группировках, и стало некоторым образом традицией, что младшее поколение в партийных группировках шло за старшим.

Семья Гвиччардини не принадлежала к самым богатым во Флоренции, но уже издавна, с 80-х годов, когда Лоренцо Медичи стал вкладывать большие капиталы в землю, Гвиччардини вместе с некоторыми другими семьями последовали его примеру.

Это была перестраховка в предвидении кризиса, предвестника приближавшейся феодальной реакции¹.

Интересы семьи вложениями капиталов в землю определялись вполне, и ими же определялась ее партийная позиция. Гвиччардини был в числе тех семей, на которые опирался Лоренцо, которые он выдвигал и приобщал к власти. После изгнания Медичи Пьеро Гвиччардини, отец Франческо, остался сторопником Медичи, потому что так называемая демократическая фискальная политика была его по карману. Но он не был в числе активных медичистов, *raleschi*, которые шли за Бернардо дель Неро и за Лоренцо Торнабуони. Он группировал около себя умеренное их крыло. После того, как Бернардо и Лоренцо погибли на плахе, Пьеро стал держаться выжидательной политики. Он был среди тех, кто выдвигал Пьеро Содерини, и почти совсем отошел от дел, когда Содерини обманул ожидания рантьерской группы. Однажды, правда, он попробовал подсказать Содерини шаг, который он — искренне или притворно — считал верной гарантией против Медичи: вернуть их во Флоренцию и поставить под неусыпный надзор: как простых граждан. Это, по его мнению, должно было лишить их всякого политического веса в Италии и обезопасить от их происков Флоренцию. Содерини не поверил в спасительность

¹ См. *Anzilotti*, «La crisi costituzionale della Repubblica», 8. Автор перечисляет фамилии, вложившие большие капиталы в землю: Капони, Пуччи, Ручеллаи, Валори, Гвиччардини, Веттори, Пекори. Но едва ли это были единственные, потому что их он нашел, обследовав инвентари всего только двух крупных торговых фирм во флорентийском архиве.

этого рецепта и не принял его¹. Пьеро Гвиччардини продолжал после этого глухо будировать против правительства, резко отклоняя предлагавшиеся ему должности и почетные миссии, как бы выгодны они ни были.

Такова была политическая позиция семьи, когда Франческо в 1505 году вступил в жизнь. Занимаясь адвокатурой, он готовился к политической деятельности и энергично старался найти себе место в той политической системе, которая установилась во Флоренции. И первый, повидимому, вопрос, который стал перед ним, был: насколько режим пожизненного гонфалоньерата — здоровый режим, а если он плох, то в чем его недостатки? С этим был тесно связан более узкий, но для него лично очень важный другой вопрос: должен ли он следовать той политической линии, которую представлял его отец или нет? К 1509 году, когда он кончил свою «Историю Флоренции», Франческо кое-что себе уже уяснил.

II

Прочность семейных политических традиций во Флоренции к этому времени сильно поколебалась. Основным условием этой прочности были, мы это знаем, стойкая экономическая конъюнктура и спокойная политическая ситуация. То и другое за пятнадцать лет очень изменилось. Внешняя политика давила на внутреннюю, обе вместе предъявляли большие требования к финансам республики, финансовые тяготы под-

¹ *F. Guicciardini*, «Ricordi politici e civili», 334.

рывали экономику, крупные фирмы теряли свою устойчивость, перспективы длительного, из поколения в поколение передававшегося благосостояния слабели все больше. Ведь неудачи под Пизою, из-за которых отрубили голову Паоло Вителли, были причиною введения *decima scalata*, а захват Ареджо отрядом Вителлоццо Вителли, заставивший обратиться за помощью к Людовику XII, сделал невозможным какое бы то ни было облегчение фискального гнета. Страдала же от него особенно сильно рантьерская крупная буржуазия, и семья Гвиччардини в том числе.

Франческо все это учитывал. Учитывал он и то, что дележ отцовского имущества, подвергшегося серьезному ущербу, между ним и четырьмя братьями едва ли сделает его богатым человеком, раз будет продолжаться покровительство торгово-промышленной группе и эксплуатация рантьерской. Эти соображения дали ему сознание внутренней свободы и некоторой эмансипации от родительского влияния. Он показал это женитьбою на дочери Аламанно Сальвиати, одного из решительнейших противников Содерини. Для него не было никакого сомнения, что Пьеро не одобрит этого шага. Но это его не остановило. На брак с Марией Сальвиати толкала его не пылкая страсть — он смолоду ничего не делал под влиянием страсти — и даже не материальные мотивы, потому что приданое было небольшое. Он просто прокладывал себе пути для самостоятельной карьеры, которая соответствовала бы существовавшим политическим условиям и которую не очень бы путали семейные традиции. Но, как всегда очень осторожный, Франческо не порывал с семьею и не думал ссориться с отцом, — наоборот, был полон к нему любви и уважения.

«История Флоренции» отразила все эти колеблющиеся настроения. Книга не была, подобно написанной через пятнадцать слишком лет «Истории Флоренции» Макиавелли, повествованием о судьбах его родного города от древнейших времен. Древнейшие времена Франческо не интересовали. Древнейшие времена не давали повода сделать предметом пристального обсуждения главную теоретическую и практическую контроверзу в политике сегодняшнего дня, т. е. именно то, что интересовало Франческо. И он начал свою историю с восстания Чомпи в 1378 году, т. е. с кануна медичейского принципата. Это дало ему возможность сравнительно скоро добраться до тех времен, когда основная проблема могла быть поставлена на обсуждение.

Проблема эта заключалась в том, какому правлению быть во Флоренции: «народному», как при Савонароле и Содерини, или олигархически-оптиматскому как при Медичи и сейчас же после изгнания Пьеро в 1494 году, до вмешательства Савонаролы. На языке того времени народное правление называлось *stato largo*, а олигархически-оптиматское — *stato ristretto*, или просто *stretto*, т. е. одно «широким», другое «узким» государственным порядком. Это было самое общее разграничение, которое никаких оттенков не предусматривало, отбрасывало самые необходимые критерии, разбивавшие на различные, очень резко расходившиеся виды как «широкое», так и «узкое» правление, но было очень удобно в качестве политического лозунга. Гвиччардини хотел попробовать разобраться в проблеме, взвесить все «за» и все «против», не упуская из вида никаких оттенков. Именно анализ исторической эволюции флорентий-

ской коммуны, достигшей полной политической зрелости, давал для такого рассмотрения необходимую почву. «Историю Флоренции» точнее нужно было бы озаглавить «История Флорентийской конституции».

В знаменитой главе XXV¹ Гвиччардини останавливается на государственном устройстве Флоренции в момент, предшествовавший установлению пожизненного gonfalonьерата (1502), и вот каковы результаты его анализа. Там, говорит он, где нет доверия к гражданам мудрым и опытным (*savii ed esperti*), или, что то же,— к первым гражданам (*primi cittadini*), и где дела вершатся людьми слабыми (*deboli*), худородными и неопытными (*di poca qualita ed esperientia*),— там государство неминуемо будет обречено на гибель. Во Флоренции в это время наиболее мудрых (*savii*) и богатых (*ricchi*) граждан душили принудительными займами и оттесняли от всякого политического влияния, боясь, чтобы они не способствовали реставрации Медичи. Это приводило их в отчаяние, и они готовы были принять какой угодно режим, лишь бы их не разоряли. Свое отношение к существующему порядку «богатые», «мудрые», «первые» выражали тем, что отказывались принять почетные, по мало влиятельные миссии по внешним сношениям. Франческо перечисляет виднейших из «мудрых». Это Гвидантонио Веспуччи, Джованбаттиста Ридольфи, Пьеро Гвиччардини, Бернардо Ручеллаи. Последний, муж сестры Лоренцо Медичи, после смерти Бернардо дель Nero был главою непримиримых медичистов, «паллесков», и вскоре эмигрировал. Паллесками,— кто больше, кто меньше,—

¹ «Opere inedite», III, 272 и сл.

были и трое остальных и, как все паллески, особенно страдали от финансовой политики «широкого» режима. Но большинству граждан — конечно, полноправных — был мил тот строй, который «не делал различия между людьми и семьями»¹, и лишь финансовая депрессия (неуплата процентов по государственным займам), затруднявшая торговлю, и неудачи во внешних делах, временная потеря Аредцо и угрозы со стороны Цезаря Борджа, заставили это большинство пойти на меру, которую они считали нарушением «широкого» режима: на создание должности пожизненного гонфалоньерата.

Рисуя этот строй, Франческо не скрывает своих симпатий к «мудрым», в числе которых был и его отец. Мотивов симпатии он не сообщает, но их нетрудно вычитать между строк — там, где он излагает основы новой конституции и с неодобрением говорит о ее чересчур «широком» характере. Он боится, что без ближайшего участия «мудрых» и «богатых» во Флоренции не установится крепкая и хорошо организованная власть. Рассказав затем об учреждении гонфалоньерата, об избрании Содерини, о надеждах, возлагавшихся на него «мудрыми», Гвиччардини меланхолически сообщает, что Содерини этих надежд не оправдал и не захотел приобщить к власти «лучших людей» (*uomini da bene*), боясь, что они будут стараться «сузить» социальную базу республики *«rest-*

¹ Различия, разумеется, существовали, и очень большие, но равенство проводилось в конституции только среди полноправных, так называемые *benefiziati*, которых из девяноста тысяч человек насчитывалось три тысячи с небольшим. Эти цифры дают представление о «широте» и «демократизме» режима.

regnare uno stato»¹. Политика Содерини не вызывает у Франческо никакого сочувствия, ибо она совершенно разоряет «лучших людей» и продолжает преграждать им доступ к активной, руководящей политической деятельности.

Кто эти «мудрые», «богатые», «лучшие» — совершенно ясно. Это — представители рантьеерской группы. Франческо не формулировал еще для себя с полной ясностью, какую роль должны они играть в политической системе Флоренции. Но он вполне определенно считает, что оттеснение их неправильно, а разорение несправедливо. Голос класса уже говорит в нем, и уже шевелится эгоистическое опасение, что, если налоговая политика Содерини будет продолжаться, она нанесет ущерб его личному благосостоянию. Это чувствуется по тону, каким он критикует фискальную систему республики.

«История Флоренции» опубликована не была. Все, что в ней написано, Франческо писал для себя, чтобы дать себе ясный отчет в положении дел. Выступать открыто против Содерини он не собирался. Не в его характере было лезть на рожон. Наоборот, честолюбие, пробудившееся так же рано, как и политическая осторожность, заставляло его искать применения своим способностям при господстве того самого режима, который был так мало ему приятен. Когда в октябре 1511 года ему был предложен пост посла республики в Испании при Фердинанде Католике, Франческо его принял: пужно было думать о карьере и о заработке. Отец на этот раз не возражал.

¹ «Opere inedite», III, 311 и сл.

III

Миссия была трудная, и трудности обуславливались разными причинами. Прежде всего в 1511 году мощь Флоренция была далеко не та, что в 1492. Поход Карла VIII нанес ей такой удар, от которого она уже никогда не могла оправиться вполне. Она потеряла свои северные крепости, переданные Пьеро Медичи французам и обратно не полученные. Она потеряла Пизу, отложившуюся с помощью французов, защищавшуюся 14 лет с помощью Венеции и покоренную только после Аньяделло в 1509 году. Походы против Пизы поглощали много денег, и это отражалось не только на финансах, но и на всей экономике. А затем от экспедиции Карла VIII осталась дружба с Францией, которая должна была стать для Флоренции губительной. Эта дружба и делала миссию всякого «оратора» Флоренции при Арагонском дворе такой деликатной.

Франция и Испания, начиная с того же похода Карла VIII, враждовали почти непрерывно. Карл ставил себе целью завоевание Неаполя, а завоевание Неаполя ставило под угрозу Сицилию, житницу Испании. С этим Испания примириться не могла. Она решила захватить Неаполь сама и с этих пор сделалась непременным членом всякой коалиции, направленной против Франции. Но это было не все. Так как Флорентийская республика вела дружбу с Францией, то Медичи искали поддержки у испанцев. Испанцы, чтобы обеспечить себе обладание югом, протягивали щупальцы во все углы итальянской земли, слушали Медичи, шептались с Орсини, заигрывали с Колонна. Но думали по-настоящему только о Неа-

поле и Сицилии. Пока был жив папа Александр VI, испанец сам и насаждавший кучу испанских кардиналов¹, Испания могла рассчитывать на дружбу с Римом. Но когда в августе 1503 года Александр умер, а Цезарь Борджа, его сын, оказался тяжело больным, испанским дипломатам пришлось заботиться о создании там опоры. Это сделалось особенно важным, когда еще в том же году умер и Пий III и самым верным кандидатом на тиару оказался кардинал делла Ровере, у которого были какие-то никому не ясные связи с Францией. Испанцы стали спешно мирить Колонна с Орсини, роднею Медичи, добиваясь, чтобы они сообща помогали им против французов, и обещая за это после войны водворить Медичи во Флоренции². Это было в конце 1503 года.

Во Флоренции, конечно, знали, что симпатии Испании на стороне Медичи, а не на стороне республики. Хотя с 1503 года испанцы на юге добились своей цели и твердой ногой стояли в Неаполе,— вражда с Францией не кончилась. Только яблоком раздора был уже Милан. И в момент, когда Гвиччардини отправился в Испанию, решительное столкновение было совсем близко.

11 апреля 1512 года французы под Равенной наголову разбили соединенную армию папы, Испании и швейцарцев, но оказались совершенно неспособны использовать свою победу. Они не только не могли удержать за собою Ломбардию, но были совсем вытеснены из Италии. Швейцарцы завладели частью герцогства Миланского,— Лугано и Локарно с тех пор

¹ На конклаве Пия III (1503) из тридцати восьми кардиналов испанцев было одиннадцать.

² Guistinian, «Dispassi», II, 238.

так и остались в их руках,— а герцогом стал сын Моро, Массимиллиано Сфорца, нарядная и безвольная марионетка в их крепких мужицких руках. Испанцы стали укрепляться в Тоскане и первым делом водворили во Флоренции Медичи, сокрушив одним ударом республику (сентябрь 1512).

Возможность этого переворота была ясна задолго до сентября испытанным политикам рантьерской группы, бойкотировавшим Содерини. Флоренция ведь оставалась верна союзу с Францией, и победа при Равенне вызвала в городе величайшее ликование. Тем более, что кардинал Джованни Медичи, папский легат при союзном войске и самый опасный из всей семьи, попал в плен к французам. А 13 мая 1512 года Пьеро Гвиччардини писал Франческо в Испанию, что существование союза с Францией не должно мешать заключению такого же союза с Испанией¹. Это было через месяц после Равенны. Содерини, конечно, не мог решиться на такой шаг ввиду известных всем в Италии взаимных обязательств между испанцами и Медичи. Он оставался верен союзу с Францией, и этим толкнул рантьерскую группу на активные действия. Она стала вести подкоп под республику с одной определенной целью: реставрации Медичи.

Франческо едва ли был посвящен в эти планы. И едва ли принимал участие в происках против республики. Но, сидя в Испании и не будучи обременен своей должностью, он очень серьезно думал над тем, как нужно реформировать флорентийскую конституцию, чтобы, не изменяя расстановки общественных сил, ею санкционированной, дать несколько

¹ «Opere inedite», VI, 69.

больше простора тому классу, к которому принадлежал он сам. Такой компромисс был для него очень желателен теперь, когда интересы службы связали его с правящей группой, а интересы семьи не сделались и не могли сделаться для него окончательно безразличны. Обоснованию этого компромисса посвящено рассуждение, написанное в Испании, законченное в городке Логроньо 27 августа 1512 года и для краткости всюду называемое «Discorso Logroño»¹.

Основные мысли этого рассуждения таковы. Большой совет,— правящий орган Флоренции, придававший ее конституции демократическую видимость,— должен быть сохранен. Должны быть сохранены также пожизненный гонфалоньерат и синьория. Но права всех этих трех органов должны быть ограничены. А между синьорией и Большим советом должен быть создан новый орган, который Гвиччардини называет сначала «промежуточным советом», а потом просто сенатом². Сенат, в состав которого синьория должна входить целиком, иногда вместе с другими собраниями, должен на будущее время решать некоторые из важнейших дел, принадлежащих теперь к компетенции Большого совета. В нем должны заседать люди «с головой и с влиянием» (*che hanno cervello e*

¹ Пометка Франческо в начале «Рассуждения» о том, что он закончил его, уже получив известие о реставрации Медичи, очевидно сделана много позднее и является плодом замятования. Медичи вступили во Флоренцию 16 сентября, а Гвиччардини в Испании узнал об этом 25-го, т. е. почти через месяц после того, как был кончен «Discorso». См. *Barkhausen*, «Guicciardinis politische Theorien» (1908), 24.

² Consiglio di mezzo, che per lo avvenire chiameremo Senato («Opere inedite», II, 296).

reputazione)». Нетрудно понять, что это те самые uomini da bene, о которых речь шла в «Истории Флоренции» и которые как-то незаметно отождествлялись там с наиболее богатыми (i più ricchi). Компетенция сената вкупе с синьорией должна быть очень велика. Все внесенные синьорией законопроекты могут поступать в Большой совет только после одобрения их сенатом. Сенат — все время нераздельно с синьорией — должен ведать внешними делами. Им же совместно должно принадлежать право распределения и раскладки налогов, ибо в Большом совете, которому это право принадлежало со времен Савонаролы, «бедных больше, чем богатых, и они распределяют налоги не сообразно имуществу каждого, а хотят, чтобы богатые платили все, а сами бы они даже и не чувствовали». «Это,— поучает Франческо,— несправедливо и невыгодно, ибо, если богатые должны помогать государству, то нужно их беречь, потому что они краса и честь его, и для того, чтобы они могли прийти ему на помощь и в другой раз»¹.

В «Discorso Logrogno» Гвиччардини сделал попытку построить такую конституцию для Флоренции, которая не только покончила бы с финансовым угнетением рантьерской группы, но и вернула бы ей влияние. Здесь Франческо вступает за свой класс с большей решительностью, чем в «Истории Флоренции». Это понятно. События в Италии развертывались так, что он рассчитывал встретить у Содерини и его сторонников больше уступчивости. Недаром полное заглавие «Discorso» гласит: «О способах сохранить народное правление с Большим советом после того,

¹ «Opere inedite», II, 279.

как на Мантуанском сейме имперцами, испанцами и папою решено вернуть Медичи во Флоренцию». Мантуанский сейм, где было принято это постановление, происходил в августе. Месяц спустя слово стало делом. Медичи вернулись. «Народное» правление, Большой совет и пожизненный gonфалоньерат были ликвидированы. «Богатым» не приходилось больше плакать.

А так как взгляды молодого «оратора» республики в Испании новым хозяевам Флоренции были хорошо известны, то его карьера не потерпела никакого ущерба.

IV

Когда Франческо в 1513 году вернулся на родину, он, несмотря на свою молодость, был человеком вполне сложившимся и самостоятельным. Пьеро, его отец, умер во время его отсутствия, и, поделив наследство, каждый из пяти его сыновей получил движимостью и недвижимостью около четырех тысяч дукатов. «Народное» правление, несмотря на все налоговые меры, направленные против рантьеров, все-таки кое-что семейству Гвиччардини оставило. Франческо уже окончательно не нуждался ни в каком менторе. Пребывание при испанском дворе сформировало его вполне.

Едва ли человек с такими предрасположениями, как он, мог найти во всей Европе более подходящее место для обучения жизненной и политической мудрости, чем двор Фердинанда Католика, и лучшего профессора, чем арагонский король.

Среди крупных хищников, рыскавших по арене европейской политики в эпоху кровавых дебютов торгового капитала, Фердинанд Арагонский был самым ловким, самым беззастенчивым и самым удач-

ливым. Богатый на выдумку, совершенно не обремененный совестью, настойчивый и упорный, он с редким совершенством владел искусством прельщения, умел внушать доверие, быть обходительным и обаятельным. И никто не мог похвалиться, что разгадал его мысли и его планы, раньше чем он их обпаружил. Кто только не становился жертвою его лукавства! Про Людовика XII, простодушного и тяжелодумного, Фердинанд сам говорил: я обманул его двенадцать раз. Но и Генрих VIII английский, совсем непростодушный и умевший думать, попался на его удочку. Итальянцев — князей, пап, кондотьеров, дипломатов — он ловил широкой сетью. Пока люди были ему нужны, он их держал около себя, ласкал и осыпал милостями. Когда они становились либо не очень нужны, либо слишком влиятельны, звезда их внезапно закатывалась. Так было с Колумбом, подарившим испанской короне полмира, с Гонсало Кордовским, создавшим военную мощь Испании, с кардиналом Хименесом, укрепившим ее внутренне. Привязанность, благодарность, великодушные, совесть, простой стыд не произрастали в груди Фердинанда: один сухой, точный расчет.

При таком государе придворная атмосфера легко насыщается соответствующими настроениями. Франческо дышал ими долго. И восхищался. Через много лет все вспоминал он, с какой гениальной простотой «король дон Феррандо Арагонский, государь мудрый и славный», умел обманывать всех окружавших и как, несмотря на многократные обманы, умел при каждом новом заставлять себе верить¹. Философия

¹ «Ricordi politici e civili», 105 и 273.

притворства, которую Франческо будет развивать потом, изучена им при испанском дворе, как и многие другие родственные дисциплины. И были в нем самом задатки, заставлявшие его особенно интересоваться этими вещами. Они вполне созрели в Испании.

Франческо смолоду был человек очень рассудительный. Чувство редко выходило у него из подчинения разуму. Увлечение не было его стихией никогда. Воображение он крепко держал на привязи. Страсти над ним не властвовали. Для порывов чувствительности он был непроницаем. Один из немногих в то буйное и жаркое время он не навлек на себя обвинений в распутстве,— и взирал, не приходя в негодование, слегка посмеиваясь, как мудрец, стоящий выше таких вещей, на грешки приятелей: Макиавелли, Веттори, Филиппо Строцци или брата Луиджи. Он был способен даже слегка содействовать Макиавелли в его ухаживаниях за Барберою, актрисою не очень строгих нравов. Ему был доступен иной раз и юмор. Тому же Макиавелли он охотно помогал дурачить каршйских монахов и с удовольствием читал отчеты своего друга о том, как попадались на его удочку жирные отцы доминиканцы. И сам умел, когда хотел, тонким юмором прощитывать письма.

Но это было не всегдашнее его лицо, а праздничное. Всегдашнее было другое. В нем сидело гордое сознание своих достоинств. Он не любил подпускать никого на близкое расстояние. Короткость претила его натуре. Он был почти со всеми важен и строг — и находил, что так нужно. Рапо попав в положение большого барина, он остался большим баринком до конца. Ему нетрудно было настраивать себя внутренне соответствующим образом, потому что в нем была

всегда жесткость и расчетливость, холодная и спокойная. И когда расчет велел, он напускал на себя высокомерие и надменность, особенно на высоких административных должностях. Когда он был президентом, т. е. генерал-губернатором Романьи с властью почти неограниченной, он действовал и говорил, как король. И это ему доставляло огромное удовлетворение, потому что честолюбие, мучившее его уже в молодые годы, превратилось в неутолимое ничем властолюбие. «Высокое положение в государстве,— говорит он,— связано, несомненно, с опасностями, неуверенностью, с тысячами мук и трудов. Но к нему стремятся иногда и чистые души: потому что в каждом живет стремление быть выше других людей и особенно потому, что ничто другое не делает нас подобными богу»¹.

Честолюбие, мы видели, заставило его мириться с правительством Содерини. Честолюбие, мы увидим, быстро повернуло его лицом к Медичи и побудило добиваться при их содействии высокого положения в государстве, *la grandezza di stato*. И все-таки даже такое острое чувство, как честолюбие, не владело им целиком. Он позволял ему вести себя, когда находил это нужным и возможным, и никогда не ставил больших ставок, не стремился к своим честолюбивым замыслам во что бы то ни стало. Если он встречался с крупными препятствиями, хотя и одолимыми при большом напряжении, но трудными, он отступал. Итти напролом он не умел. Не победные порывы, а размеренные усилия были его орудием. Он скорее принимал жизнь, чем направлял ее. И легко при-

¹ «Ricordi», 282.

мирялся с совершившимся, когда для изменения того, что произошло, требовались героические размахи—то, что он полупренебрежительно-полузавистливо называл безумием. Он был фаталист и «мудрец», не герой и не «безумец». Потом он найдет формулу своим фаталистическим настроениям: «Ни безумный, ни мудрый не могут противостоять тому, чему суждено быть»¹.

Такие, как он, не бывают творцами на широких путях истории. Они не создают ничего большого, хотя иногда и оставляют за собою глубокие борозды. И именно потому, что Гвиччардини не был ни творцом, ни героем, ни «безумцем», в его характере было много такого, что типично скорее для среднего, чем для крупного человека.

Господствующей его особенностью, его *faculté maîtresse*, была рассудительность, *la discrezione*. И он был прекрасно вооружен для тех умственных операций, которые совершаются с помощью рассудительности. Он был образован, превосходно знал классиков и умел извлекать из них практически нужное, был богат опытом, знал, как с толком копить его и не растрачивать. Так как рассудительность была его второй натурой, он терпеть не мог безрассудства и легкомыслия. «Не думаю, чтобы на свете было что-нибудь хуже легкомыслия. Легкомысленные люди способны на всякую затею, как бы дурна, опасна и гибельна ни была она. Поэтому берегитесь их как огня»². Рассудительностью обуславливалось в нем очень многое.

¹ «Ricordi», 138.

² «Ricordi», 167.

Неторопливый в действиях, осторожный в словах, Франческо был весь полон тонких изворотов. Он не любил высказываться без оговорок по сколько-нибудь серьезному вопросу и неспособен был принять сколько-нибудь важное решение, не оставив пути для отступления. У него были всегда припасены обходные мысли, хитроумные резервы, окольные тропинки. Понятиями он предпочитал оперировать не очень точными, а приблизительными, слова выбирал скользкие, не любил «крайностей», считая их порочными, избегал слова «никогда», как «выражения слишком решительного». И даже, когда был уверен, что у него наготове лазейка, старался укрыть ее получше, сделать незаметной. А если обеспечил себе задний ход, силился сделать его еще более извивчатым. Когда ему нужно было что-нибудь утверждать, он охотнее говорил в форме двойного отрицания и еще усложнял свою фразу кучею условных предложений: прямота и категоричность в суждениях были ему ненавистны не меньше, чем народные волнения. Он очень любил риторически вывернуть то или иное положение, перебрать сначала все аргументы за, а потом столь же обстоятельно все, что против; это он очень охотно делал просто для себя, и в письменной форме. Когда он писал, «он мучил свои писания поправками и поправками к поправкам, вставками, поправками и вставками ко вставкам»¹: все для того, чтобы нужная степень утверждения достигалась с наименьшей утвердительностью.

¹ Компетентное замечание одного из потомков, хорошо изучившего рукописи Франческо в семейном архиве. См. «Ricordanze di F. Guicciardini, pubblicate ed illustrate da Paolo Guicciardini» (1930—VIII), 16.

Происходило все это вовсе не оттого, что у Франческо была туманная голова. Наоборот, голова была великолепная, одна из лучших, какие появились в Италии в то время, богатое хорошими головами. Он всегда отлично знал, чего хотел, и отлично умел сказать, что думал. Но в нем сидел ^вприрожденный дипломат, считавший, что осторожность есть мать успеха. Он хотя и не догадался сказать, что язык дан человеку, чтобы скрывать мысли, но несомненно был в этом убежден. И он отнюдь не был лишен характера. Где находил нужным, он умел действовать с большой решительностью. В Романье с именитыми бандитами он не церемонился, а рубил им головы. Во время Коньякской Лиги трудно было развернуть большую энергию и настойчивость. Но у Франческо все такие действия были обдуманы до мельчайших деталей, прежде чем он к ним приступал, а пунктики отступления и объясняющие, оправдывающие, извиняющие мотивы были готовы в величайшем изобилии.

Франческо был политик-«мудрец», *uomo savio*. И в теории, и на практике. Так же, как легкомыслия, терпеть не мог он общих суждений: общие суждения бывают ведь иной раз слишком радикальны и опасны. Все индивидуально: люди и факты. Ко всему и ко всем нужно подходить со своими мерками, без предвзятых положений, с ясной головой. Только этим путем возможно практическое, т. е. единственно полезное и нужное познание. Не требуется никакой теории, потому что она ничего не дает и не имеет ничего общего с практикой: «Сколько есть людей, отлично все понимающих, которые либо забывают, либо не умеют претворить в дело то, что знают! Для таких ум их бесполезен. Это все равно, что хранить клад

в сундуке и обязаться никогда не вынимать его оттуда»¹. Только жизненный опыт, только практика оплодотворяют знания. А опыт учит тому, что никогда ни в частной жизни, ни в политике не следует ставить себе цели отвлеченно. Цели должны быть таковы, чтобы их осуществление не было невозможно. Они должны быть реальны. Только «безумцы» ставят себе цели нереальные. И если такие цели иной раз оказываются осуществимыми, то это результат либо случайности, либо слепого счастья. Когда сам Франческо ставил себе цели и добивался их осуществления, он шел к ним вполне практически, со всей энергией, на какую был способен, отбросив все соображения, не только мешающие, но просто бессильные помочь ему, выключив страсти и чувства, не смущаемый ни велениями морали, ни голосом совести, ни предписаниями религии. Хотя по постоянной своей привычке все время взвешивал все, тщательно осматривался по сторонам и оглядывался назад. Одно лишь волновало его в такие моменты: не допустить чего-нибудь такого, что набросит на него тень, ибо это внесет затруднение в его дела на будущее время. Моралью можно пренебрегать, но так, чтобы это не сделалось ясно для всех. Жить приходится среди людей, и мнения людей не безразличны практически. Хорошая слава помогает, дурная — мешает.

Гвиччардини был настоящим сыном Возрождения, но не героических его времен, а упадочных. Героические времена Возрождения были порою расцвета буржуазной культуры, ибо базой Возрождения был торговый капитал. Закат Возрождения был порою

¹ «Ricordi», 35.

разложения буржуазной культуры и натиска на нее феодальной реакции. От встречи двух социальных течений поднялся и закружился в моральной атмосфере Италии некий вихрь, тлетворному влиянию которого поддавались иной раз даже лучшие натуры. Результатом его был аморализм, но иной, чем аморализм эпохи подъема, менее хищный, чем тот, и более пришибленный; он не чувствовался в народной гуще, в массах, которые меньше были задеты совершавшеюся сменой хозяйственной базы. Но верхи — буржуазия и цвет буржуазии, интеллигенция — испытывали его действие очень долго. Это и есть то, что зовется обыкновенно упадком нравственности итальянского Возрождения и вызывает то сокрушенные, то возмущенные ламентации у историков. Гвиччардини попал в эту полосу. Большой ум и большое самообладание не сделали его такой легкой жертвою поветрия, как очень многих, но задет им был несомненно и он. Тактика сугубой осторожности стала руководящей линией его жизни, ослабевала, когда ему везло, укреплялась, когда ему приходилось плохо, учила его говорить два раза «нет» вместо однократного «да», обеспечивать себе безопасное отступление при всяком шаге, в уклончивости и проволочках искать поправок к гримасам фортуны.

С годами, особенно под конец, когда на него обрушилось так много бедствий, защитная реакция у него стала особенно резкой. Но характер его сложился вполне уже к моменту возвращения из Испании. Перед ним открывалось блестящее будущее. Он был молод, образован, знал свет, видел кругом влиятельную и богатую родню. И был богат сам. Отцовское наследство и испанские сбережения вполне его обеспе-

чивали. Он был расчетлив, любил жизнь простую, не пышную, и, хотя семья все прибывала, разумное помещение денег и доходы с капитала обещали в будущем полное благополучие. А самое главное — отлично пошла карьера.

Едва Медичи утвердились во Флоренции, как Гвиччардини — несколько более поспешно, чем это подобало «мудрому» человеку, — вступил с ними в сношения. А когда несколько месяцев спустя Джованни Медичи, освобожденный из плена, превратился в папу Льва X, ухаживания Франческо за Медичи сделались еще более настойчивыми. Были, правда, вначале кое-какие легкие недоразумения с новым правителем Флоренции, Лоренцо Урбинским, но потом все потекло вполне гладко: как будто сама фортуна вела его под руку. В 1516 году Лев дал ему губернаторство в Модене, год спустя — и в Реджо, а в 1523 году — и в Парме.

Свое губернаторство он сохранил и при Адриане VI, хотя тот не любил слуг своего предшественника, особенно если они были флорентинцами. При Клименте VII, тоже Медичи, Гвиччардини будет сначала президентом Романьи, потом особоуполномоченным комиссаром папы при армии Коньякской Лиги. И будет еще играть роль во Флоренции после падения республики: при Алессандро и при вступлении во власть Козимо.

Политические взгляды Франческо к моменту возвращения из Испании тоже сложились вполне. «История Флоренции» и «Discorso Logrogno» тем и ценны, что из них мы узнаем не только существо его взглядов, но и классовую их подкладку.

Дальше это становится все более ясно.

Реставрация Медичи перевернула во Флоренции все, и притом так, что по первоначально трудно было установить сколько-нибудь отчетливо новую руководящую классовую группировку. Своим возвращением Медичи были обязаны не перевороту внутри города, а испанским войскам. Во Флоренции ни одна группа в этот момент не поддержала их с оружием в руках. И они не чувствовали необходимости опереться на какие-нибудь общественные силы в городе: испанский отряд защищал их совершенно достаточно. Естественно, однако, что рантьерская буржуазия, та грунна, которая была опорой Медичи до 1494 года, рассчитывала, что переворот принесет ей серьезные выгоды. Она многое перенесла при «народном» правлении и многим пожертвовала. Но Медичи и ей не очень доверяли. Они боялись, что в случае новых осложнений, она их предаст так же, как и в 1494 году. Линия Медичи была ясна. Раз сила, которая их защищает, не контролируется внутри города никакой влиятельной группой, они не станут делиться властью ни с одной и будут править вполне самостоятельно: пока можно.

Потом это изменилось. Когда во главе флорентинского правительства окончательно стал Лоренцо Урбинский, сын Пьеро и внук Великолепного, а министром его в звании секретаря сделался Горо Гери, все вошло в норму. Испанцы не могли вечно сидеть во Флоренции и ушли, а опору Лоренцо с Гери нашли опять-таки в верхушке крупной буржуазии. Но связь теперь намечалась иная, чем прежде. Лоренцо и Гери ставили себе определенную цель: уста-

новление *личного* правления, опирающегося на «правительственную партию». Другими словами, рантьерская группа уже будет лишена возможности диктовать власти свою волю, а во имя своих интересов, которые власть берется охранять, должна подчиниться ей. Это прямой путь к принципату, который установится с Алессандро и утвердится окончательно с герцогом Козимо¹.

Для Гвиччардини планы Лоренцо были, повидимому, ясны, и он им не очень сочувствовал. Он хотел для своей группы не подчинения, а доли во власти. Как только, еще будучи в Испании, он получил из Флоренции сведения, приоткрывшие планы Медичи,— это было в октябре 1512 года,— он написал еще одно «рассуждение», очень коротенькое и сильное. В нем он указывал, что во Флоренции все общественные группы, кроме рантьерской буржуазии, враждебны Медичи, и те, чтобы удержать власть, должны неизбежно опереться именно на рантьерскую буржуазию и оплатить ее поддержку разными выгодами. Он говорит совершенно откровенно: раз у Медичи столько врагов, непримиримых и готовых подняться по первому поводу, они вынуждены поступать двойково-первых, сокрушать их и ослаблять экономически (*batterli e dimagrarli*), чтобы они вредили меньше, а, во-вторых, противопоставить им значительное количество друзей, которых им нужно привязать к себе, влить в них мужество и дать им силу, «укрепив их экономически и обогатив»². А четыре года спустя (1516), когда замыслы Лоренцо и Гери уже были

¹ См. *Anzilotti*, указ. соч., стр. 93 и сл.

² «*Opere inedite*», II, 323.

ясны даже для наиболее недалёковидных, Франческо написал обстоятельное новое «рассуждение», в котором уговаривает Медичи не относиться с недоверием к рантьерской группе. И уже причисляет себя к этой группе¹. Его советы Медичи — сохранить конституционную видимость и не обессиливать город налогами — являются поэтому как бы программой его и его друзей.

Вся эта критика, — «Рассуждения» писались им для себя и едва ли сделались известными Медичи, — не помешала Франческо — мы это знаем — с 1516 года поступить на службу сначала к одному папе Медичи, потом к другому и служить им с перерывами почти восемнадцать лет. Политические его высказывания в том, что в них было наиболее существенным, за это время не изменились. Наиболее полно формулированы они в обширном диалоге «О форме правления во Флоренции»². Диалог написан во второй половине двадцатых годов, но до второго изгнания Медичи (мая 1527), вероятнее всего в 1526 и в самом начале 1527 года. В нем идут и теоретические споры о лучшей форме правления, и разговоры о том, какая форма наиболее подходит для Флоренции. Диалог приурочен к 1494 году, к моменту, когда Медичи только что были изгнаны в первый раз, и, следовательно, в идее наилучшая форма ищется для «народного» правления. Но так как диалог фактически написан при го-

¹ «Opere inedite», II, 333: «non hanno [Медичи] fede in noi, nè credono, che noi gli amiamo. Questa opinione, è la morte nostra, perchè la non li lasc'ia conferire non allargarsi, non si dimestucare con noi».

² «Del reggimento di Firenze libri due», «Opere inedite» II, 1—223.

сподстве Медичи, то речь идет о преобразовании такого строя, который откровенно превращался в принципат. Программа Гвиччардини теперь, когда столько было пережито и им лично, и Флоренцией, и Италией, осталась та же, что и в 1512 году. Это программа преобразования государственного устройства Флоренции по венецианскому образцу. Большой совет, пожизненный gonfalonьерат, синьория, сенат продолжают оставаться главными основами государственного строя. Но разница между «Рассуждением в Логроньо» и «Диалогом» та, что теперь венецианские учреждения копируются с большей точностью. В частности, что особенно важно для раскрытия классовой точки зрения Франческо, сенат, учреждение, в котором должны заседать *uomini da bene*, получает такие же широкие полномочия, как венецианский совет прегадов, твердя патрицианской власти. В 1512 году Франческо требовал, чтобы «народное» правление дало выход влиянию рантьерской группы. Перед двойной катастрофой Медичи в 1527 году он настаивал на том, чтобы влиянию той же группы был дан выход при медичейской тирании.

Что Гвиччардини думает именно о рантьерской группе, не подлежит никакому сомнению. Это совершенно ясно вытекает из одного места во втором испанском «Рассуждении» (октябрь 1512), на которое никто до сих пор не обращал внимания, ибо все интересовались не социальными, а политическими взглядами Франческо.

Мы знаем, что в этом «Рассуждении» он говорит о том, какие группы будут враждебны Медичи и на какие они могут опираться. Опираются — мы тоже знаем — он рекомендует им на свою группу, рантьер-

скую, а враждебно им, как он предполагает, будет lo universale della città, т. е. полноправные граждане, имевшие право заседать в Большом совете. Он перечисляет ряд причин такой враждебности, общих для всего lo universale. А потом указывает специальную причину для одной только группы, входящей в его состав. «Боятся,— говорит он,— больше всего владеющие капиталами и торгующие (danarosi e mercatanti), чтобы их не задавили налогами и не подвергли имущественному умалению»¹. Речь идет, разумеется, о торгово-промышленной буржуазии, которая при «народном» правлении ни большому налоговому ущемлению, ни другим экспериментам фискального характера, угнетавшим рантьерскую буржуазию, не подвергалась. Это — та группа, на которую опирался Пьеро Содерини и идеологом которой был Никколо Макиавелли². При «народном» правлении о ней волноваться не приходилось: ей принадлежала власть. При Медичи Гвиччардини ни одной минуты не думал сделать ее опорой власти, ибо определенно причислял ее к lo universale, враждебному Медичи.

Размышляя и «рассуждая» о реформах государственного устройства во Флоренции между 1512 и 1527 годами, Гвиччардини все пятнадцать лет думал об интересах того класса, к которому принадлежал. Венецианские образцы, вообще приобретающие в это время популярность среди политических мыслителей³, помогали ему лишь оформить то, что подсказывалось

¹ «Opere inedite», II, 321.

² См. мою статью «Никколо Макиавелли», предпосланную Собранию сочинений его, изд. Academia, 1933.

³ См. G. Toffanin, «Machiavelli e il Tacitismo» (1920), 4 и сл.

этими интересами. Чтобы это стало совсем ясно, надо проследить, каково было его отношение к различным группам флорентийского общества.

VI

Когда Гвиччардини в 1529 или 1530 году стал набрасывать свои «соображения» по поводу «Discorsi» Макиавелли, ему пришлось вернуться к вопросу о наилучшей форме правления, на котором он с такой обстоятельностью останавливался в «Диалоге». Как известно, Макиавелли высказывается за смешанную форму, в которую входят элементы и монархии, и аристократии, и демократии¹. Гвиччардини с ним согласен: «Несомненно, что правление, смешанное из трех форм — монархии, аристократии и демократии — лучшее и более устойчивое, чем правление одной какой-нибудь формы из трех, особенно когда при смешении из каждой формы взято хорошее и отброшено дурное»². Что означает такое согласие и насколько оно показательное?

Оно ничего не означает и ни в какой мере не показательное. Все этого рода формальные рассуждения, отталкивающиеся от Аристотеля и иногда от Платона у гуманистов, от Фомы Аквинского у Савонаролы, повторяющиеся с незначительными разногласиями у Марсилио Фичино, у Бартоломмео Кавальканти, у Макиавелли, Гвиччардини, Джанотти, совершенно не отражают самого существенного во взглядах каждого. Ибо не дают представления о социальных

¹ См. «Discorsi», I, 2.

² «Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli sopra la prima deca di Tito Livio», «Opere inedite», I, 5.

предпосылках их теорий. А как только мы начинаем доискиваться до этих предпосылок, как только начнем вскрывать классовую сердцевину политических теорий, сходство во взглядах сейчас же кончается и становится ясно, что *il governo misto* — смешанное правление — не более как форма, условная дань рационалистическим конструкциям, ставшим некоторым образом обязательными. Какие же классовые предпосылки лежат под подлинными политическими взглядами Гвиччардини?

Прежде всего в сочинениях Франческо, в обеих «Историях», в «Диалоге», в многочисленных рассуждениях и «заметках», в грудах писем мы нигде не найдем резких выпадов против дворянства, против феодального класса, против землевладения, как политической организации, — таких, например, как у Макиавелли в «Рассуждениях на Тита Ливия» и в «Рассуждении о реформе государственного строя Флоренции». У Макиавелли зато мы нигде не найдем резких выпадов против «народа» (*il popolo*), и даже его отрицательному отношению к низшим классам (*la plebe*) приходится подыскивать доказательства. Для него опасность всегда справа. Для Гвиччардини она всегда слева. Вот как обстоит дело с народом у Гвиччардини: «Не без причины толпу сравнивают с волнами морскими, которые, смотря по тому, куда дует ветер, несутся то туда, то сюда, без всякого правила, без всякой устойчивости... Нельзя отрицать, что народ сам по себе — ковчег невежества и путаницы...»¹. И дальше: «Сказать *народ*, значит поистине назвать бешеное животное (*animale pazzo*), полное ты-

¹ «Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli», «Op. inedite», I, 53.

сячи заблуждений, тысячи путаниц, лишенное вкуса, привязанности, устойчивости». Или — для разнообразия: «Сказать *народ*, поистине значит сказать *бешеный*. Ибо это чудовище, полное путаницы и заблуждений. а его пустые мнения так же далеки от истины, как по Птолемею Испания от Индии» (140 и 345)¹. Это далеко не одна теория. Гвиччардини не просто не любит народ. Он относится к нему с резким раздражением и страхом. Народ — классовый враг. Классовый враг — в обличьи непонятной стихийной силы. Это главное. Оттого Гвиччардини так резко разошелся с Макиавелли в оценке социальной борьбы, — борьбы между высшими и низшими классами (*divisioni*). Спор между ними идет о борьбе патрициев и плебеев в древнем Риме, которую Макиавелли считает благотворным фактором истории. Гвиччардини, возражая Макиавелли, все время думает не только о Риме и даже думает преимущественно не о Риме. Это видно по тому, что дважды на странице он повторяет одну и ту же мысль, которая очевидно заботит его больше всего: что в другой республике, «менее доблестной» (*meno virtuosa*), или «во многих других городах-государствах» (*città*) социальная борьба — факт еще более губительный (*dannosa*), чем в Риме. А общая его оценка социальной борьбы выражена в таких словах: «Хвалить социальную борьбу то же, что хвалить болезнь у недужного из-за хороших качеств лекарства, данного ему». Так как «менее доблестная республика» как две капли воды по-

¹ Цифра в скобках при цитате, здесь и впредь означает порядковый номер «*Ricordi politici e civili*» в «*Opere inedite*», т. I, и в переводе настоящего издания.

хожа на Флоренцию, а во Флоренции социальная борьба — борьба низов против богатых и против него самого, то психологические предпосылки всего рассуждения становятся совершенно понятны¹.

Страх перед народом Гвиччардини прячет под высокомерным аристократическим презрением к «черни». В этом отношении он очень похож на графа Кастильоне. У обоих это — чисто классовое чувство, обострившееся в атмосфере социальной борьбы. Достаточно познакомиться с письмами Гвиччардини, написанными после сдачи Флоренции в 1530 году, чтобы это стало ясно как день. Когда республика была побеждена и Франческо не приходилось уже опасаться ничего, он в письмах перестал скрывать свое настроение. Народ там называется *questi ribaldi* — разбойниками — и удостоивается многих, столь же сердитых эпитетов². А о том, как он относился к живым представителям народа в спокойное время, может дать представление следующий факт, который рассказывает он сам со спокойной совестью, вполне безмятежно. Один из его слуг умер от чумы в его вилле. Комнату продезинфицировали по всем правилам тогдашней санитарии. Но когда Гвиччардини понадобилось переехать с семьей в эту виллу, он для большей уверенности приказал поселить в подозрительном помещении одну за другой три смены людей³. Эксперимент прошел благополучно, но Фран-

¹ См. «*Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli*», «*Opere inedite*», I, 12, *passim*.

² См. особенно в письмах к Ланфредини, цитированных в большом количестве *Otetea*, указ. соч., стр. 277 и др. Подлинника у меня в руках не было.

³ «*Opere inedite*», IX, 124, 127—128, 132.

чески получил возможность продемонстрировать свое отношение к малым сим. Не умерли — хорошо: умерли бы — тоже не беда. Какие-то простые люди!

В выборе между аристократическим и демократическим правлением Гвиччардини не колеблется ни одной минуты. «Если бы было необходимо водворить в каком-нибудь государстве-городе (*in una città*) правление чисто аристократическое (*di nobili*) или правление народное (*di plebe*), я бы думал, что мы меньше ошибемся, если выберем аристократическое. Ибо, так как ему свойственно большее благоразумие и больше высоких качеств, то можно надеяться, что будет создана какая-нибудь приемлемая форма. Наоборот, с народом, который полон невежества и путаницы и многих дурных свойств, только и можно ожидать, что он приведет все к потрясению и гибели»¹. Поддерживать свободу (*sostenere la libertà della città*) способен только богатый народ, потому что, если народ беден, как, по мнению Франческо, во Флоренции, то каждый будет стремиться разбогатеть и не будет думать ни о славе, ни о чести государства (241). Нет ничего странного, что Гвиччардини самым беспомощным образом останавливается перед успехами народного правления. Если что-нибудь «народу» удастся, особенно если ему что-нибудь удастся там, где он принял счастливое решение вопреки воле высших классов,— это повергает Франческо в великое изумление. Например, продолжительное сопротивление флорентийского народа подавляющим силам императора и папы в 1529 и 1530 годах (1 и 136).

¹ «Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli», «Opere inedite», I, 15.

Способы управления «народом», которые рекомендует Гвиччардини,— те же, что и рекомендуемые Макиавелли. «Кто хочет в настоящее время управлять владениями и государством, должен, где можно, проявлять сострадательность и доброту. А там, где нельзя поступать по другому, необходимо прибегать к мерам жестоким и бессовестным (*necessario che usi la crudelta e la rosa conscienza*)... Ибо невозможно руководить правительством и государством, желая оставаться при существующих ныне способах, сообразуясь с предписаниями христианской веры... Поэтому, когда я советовал предавать смерти или держать в заключении пизанцев, я говорил не по-христиански, но зато говорил согласно духу и обычаям государства (*seconda la ragione e uso degli Stati*)»¹. Эти правила подходят к любому «смешанному правлению».

Макиавелли боится землевладельческих классов и феодального дворянства и не боится народа. Гвиччардини наоборот. Поэтому в «смешанном правлении» у первого Большой совет, включающий в себя народ и облагающий почти непосильным налогом земельную ренту, пользуется суверенными правами, а у второго в таком же «смешанном правлении» он лишён права вести внешнюю политику и раскладывать налоги, а рядом с ним существует сенат, твердыня рантьееров, орган настоящей власти.

Причина различия взглядов ясна. Макиавелли представляет интересы торгово-промышленной буржуазии, которая страдает от падающей все грознее феодальной реакции. Гвиччардини представляет интересы

¹ Диалог «*Del reggimento di Firenze*», «*Opere inedite*», II, 210—211.

рантьерской группы, которой нужен такой порядок, где землевладение пользуется большим политическими преимуществами перед торговлей и промышленностью.

Та же разница во взглядах обоих на общенитальянские вопросы. Макиавелли — страстный пророк единства Италии. Он не представляет себе для нее счастливого будущего без объединения. Италия должна быть единым национальным государством с единой государственной властью, как Испания или Франция. Гвиччардини согласен с Макиавелли в том, что папа и его государство являются причиной, что Италия не стала единой. Но прибавляет: «Я не знаю, однако, было ли отсутствие единства счастьем или несчастьем для нашей страны... ибо если Италия, разбитая на многие государства, в разные времена перенесла столько бедствий, сколько не перенесла бы, будучи единой,—зато все это время она имела на своей территории столько цветущих городов, сколько, будучи единой, не могла бы иметь. Мне поэтому кажется, что единство было бы для нее скорее несчастьем, чем счастьем... Притом судьба ли Италии такова или ее жители слишком обильно наделены умом и способностями,—никогда не было легко подчинить ее единой власти, даже когда и не было церкви. Наоборот, она всегда стремилась к свободе»¹.

Гвиччардини страстно хотел, чтобы были изгнаны из Италии «варвары», терзавшие ее с двух концов. Недаром он был, можно сказать, создателем и глав-

¹ «Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli», «Opere inedite», I, 27—28. Я сгладил, чтобы не пришлось долго комментировать, разграничение между монархией и республикой, проводимое здесь Гвиччардини и не имеющее значения для его основной мысли.

ным деятелем Коньякской Лиги¹. И педаром самым пламенным его согрудником по работе в Лиге был Макпавелл. Оба они одинаково ненавидели «варваров» и одинаково искренне и горячо жаждали очищения от них итальянской земли². Но Макиавелли считал освобождение от чужеземцев лишь первой стадией, за которой должно было последовать объединение. А Гвиччардини думал только о том, что после освобождения от чужеземного ига каждое итальянское государство заживет попрежнему полной жизнью при прочном равновесии сил и в глубоком мире, как при Лоренцо Медичи. Франческо не мог подняться до общетальянского патриотизма, который был второй душой Никколо. Он любил свою родную Флоренцию, любил флорентийский строй со «смешанным правлением», но при непремешном условии господства *uomini da bene*. И больше ему ничего не было нужно. Он боялся единства потому, что в единой Италии Флоренция утратила бы свой суверенитет, а ее свобода и ее «смешанное правление» при этих условиях перестали бы быть для него привычной рамкой для политической деятельности. Притом неизвестно было, что станет с земельной рентой при единстве. Наоборот, для торговли и промышленности ломка княжеских торговых монополий в Ферраре, Мантуе, Паполе и снятие таможенных барьеров между итальянскими государствами были насущно необходимы. Они дали бы ей возможность подняться

¹ Лига, образовавшаяся по инициативе папы из Венеции, Флоренции, Франции, Швейцарии и Англии, против Испании (1526—1527).

² О деятельности Гвиччардини в Коньякской Лиге см. упомянутую мою статью о Макиавелли.

вновь и включиться при несравненно более благоприятных условиях, чем раньше, в общеевропейскую хозяйственную жизнь. Это понимала торгово-промышленная группа во Флоренции, и этого добивался Макиавелли.

УШ

В конце концов со своей классовой политической идеологией Франческо оказался в тупике. Надеяться на то, что Италия избавится от чужеземного ярма после крушения Коньякской Лиги было уже нельзя. Нельзя было, следовательно, думать, что Флоренция, как государство самостоятельное, займет место в системе внутриитальянского политического равновесия. А после вторичного изгнания Медичи из Флоренции (1527) и в самой Флоренции нельзя было ожидать установления такого порядка, при котором рантьерская группа могла бы быть приобщена к власти и не страдала бы от фискального угнетения. Ибо, если удержится «народное» правление, уже при Никколо Капони более радикальное, чем при Содерини, а со сменой Капони лидером демократов Франческо Кардуччи оставившее за собою и савонароловские масштабы,— то рантьерская группа будет задушена налогами и принудительными займами. Если же, что было более вероятно, республика будет уничтожена, то власть попадет в руки Медичи при таких условиях, при которых ни о каком «смешанном правлении» невозможно будет мечтать: установится принципат. Как несладок был для рантьеров демократический режим, особенно для тех, кто был близок к Медичи, Франческо испробовал на своей шкуре уже в 1527 году. А как несладок будет для нее медичейский де-

спогизм, ему предстояло убедиться несколько позднее. В 1527 — 1530 годах, до сдачи Флоренции, он подводил грустные итоги и суммировал столь же грустные предвидения. Результаты этой работы раскрываются в его замечательных «Ricordi politici e civili», которые сравнивали, и не совсем без основания, с «Il Principe» Макнавелли, несмотря на огромные различия между двумя книгами.

«Ricordi» Гвиччардини — высшее выражение разочарования, охватившего флорентийскую крупную буржуазию под градом тех ударов, которые на нее обрушились. Эти четыре сотни коротеньких «заметок», с которыми читатель ниже познакомится полностью, распадаются, грубо говоря, на две группы. Одна — размышления о том, почему в области политики все пошло прахом и нет выхода из тисков, один конец которых представляет «бессмысленную» демократию, а другой — мрачную и беспросветную тиранию. Вторая — размышления о том, как устроить свое существование и как наладить свой образ действий отдельному человеку в эту тяжелую годину.

Мысли первой группы знакомы нам по другим сочинениям Франческо. Он перебирает их снова, то детализирует, то придает им характер более общий, независимый от флорентийских его планов и ограничивает стилистически, готовясь рассыпать их как цветы по просторному полю — по страницам зреющей в его мыслях «Истории Италии». Здесь мы не будем говорить о них. Тем более внимательно необходимо остановиться на заметках, относящихся к категории civili — гражданских, — определяющих поведение отдельного человека, как члена общественного коллектива. Основная мысль этой группы такова: так как

политическая обстановка представляет трудности совершенно исключительные, то нужно стараться выйти из них с наименьшим уроном. Какой должен царить при этом категорический императив?

Однажды кардинал Гаспаро Контарини, один из немногих чистых людей в курии, напомнил Клименту VII об обязанностях главы христианства. Выслушав его, папа сказал: «Вы правы... Но я вижу — мир пришел в такое состояние, что, кто более лукав (*astuto*) и более изворотливо (*con maggior trama*) обдeldывает свои дела, того больше хвалят, считают более достойным человеком (*più valente uomo*) и больше прославляют, а кто поступает наоборот, про того говорят, что хотя он человек хороший, а цепа ему грош (*non val niente*)¹.

«Мир пришел в такое состояние»... Это оправдывает все, и папа, признанный высший судья в вопросах совести, самым недвусмысленным образом заявляет, что тот, кто хочет жить по евангельским заветам, — круглый дурак... Категорические императивы — тоже порождение социальных условий.

Когда линия индивидуального поведения и, больше того, кодекс личной морали устанавливаются в ситуации почти катастрофической, альтруистические мотивы безмолвствуют: люди думают о собственном спасении. А Франческо кончал «Заметки» под грохот пушек, паливших по Флоренции, в зареве пожаров, пожиравших села и города ее окрестностей.

То, что формулировать линию индивидуального поведения взялся Франческо, было совершенно есте-

¹ См. *De Leva*, «Storia documentata di Carlo V», II, 505.

ственно. Упрекать его за это — значит не понимать ни политики эпохи, ни ее культуры. Требовалось соединение нескольких данных в одном человеке, чтобы задача эта могла быть выполнена. Нужно было, во-первых, чтобы это был человек богатый, принадлежащий к верхушке буржуазии и в данный момент особенно сильно ущемленный материально. Нужно было, во-вторых, чтобы это был политик, и теоретически и практически способный оценить и общегосударственную, и флорентийскую государственную конъюнктуру. В-третьих, нужно было, чтобы это был яркий и последовательный представитель Возрождения, плоть от плоти его культуры. И нужно было, наконец, чтобы это был мыслитель смелый, способный не устрашиться собственных выводов и не отступить перед ними. Гвиччардини удовлетворял всем этим условиям. И едва ли даже в той плеяде людей, которые блистали вместе с ним в первых рядах итальянской интеллигенции, был другой, в ком эти условия соединялись бы с такой полнотой. То, что Гвиччардини сказал в «Ricordi», должно было быть сказано. Без этого культура Возрождения не договорила бы своего последнего слова.

Непосредственно перед ним очередной идеологический этап был формулирован Макиавелли. Но Макиавелли выдвигал свои положения при конъюнктуре, безнадежность которой еще не стала ясна для всех. В частности, для Макиавелли, в котором были неисчерпаемые залежи веры в итальянский народ и в его энергию, конъюнктура была далеко не безнадежной. Он уповал на силу сопротивления итальянской буржуазии, подстрекаемой своим интересом, и на то, что в итальянцах воскреснет боевая доблесть.

древнего Рима. Поэтому вопросы реформы общества и государства играли для него первенствующую роль. Поэтому в его руках доктрина Возрождения неуклонно эволюционировала в одном направлении: от индивидуального к социальному и от этики к социологии¹.

Гвиччардини знает все то, что знает Макиавелли, к чему Макиавелли пришел в процессе построения своей политической теории. Он повторяет социологические формулы Макиавелли, как нечто давно известное и не вызывающее споров. Он прекрасно знает, что людьми в их поступках больше всего двигает интерес, *l'appetito della roba*, и что это неизбежно в классово-расчлененном, «испорченном» обществе (363). Ему прекрасно известно, что люди больше подчиняются интересу, чем долгу (351), что личные мотивы (*il particolare mio*) заставляют менять заветнейшие убеждения (28), что самые горячие партизаны свободы «бросятся на почтовых» в олигархическое государство, если будут надеяться, что там ждет их лучшее; ибо «почти все без исключения действуют под влиянием интереса (*interesse suo*)» (328). Тот же интерес толкает на воровство служащих, так как «деньги годятся на все, а в современном обществе богатого чтут больше, чем порядочного» (204). Деньги царят не только в частной жизни, но и в политике, где они решают все: уверял же Франческо папу Климента в 1529 году, что Флоренция недолго выдержит осаду — «вследствие недостатка денег»². Так обстоит

¹ См. упомянутую выше мою статью о Макиавелли.

² В письме к Занге, одному из папских приближенных, от 30 сентября 1529 г. См. *Agostino Rossi*, «F. Guicciardini e il governo Fiorentino», т. I, append, III, 288.

дело теперь; так было всегда. Общественные группировки уже в древнем Риме происходили не только на почве сословной борьбы, а и потому еще, что низшие классы (*la gente bassa*) поднимались против более богатых и более сильных (*più ricchi e più potenti*)¹.

Из этого следует, как нечто подразумевающееся само собой, что государство основывается путем насилия (317), а управляется в интересах господствующей группы². Гвиччардини многое еще мог бы сказать по вопросам государственного устройства и управления, по вопросам внутренней жизни государства, социальной борьбы и классовых группировок. Он все это знает. Но *теперь* ему этого не хочется. У него нет того увлечения этими проблемами, которое водило его пером в «Истории Флоренции» и в «Discorso Logrogno» и так его одушевляло, сравнительно еще недавно, при писании «Диалога». Теперь для таких рассуждений он не видит практической цели. Он вернется к ним в последний раз после взятия Флоренции и окончательного восстановления медичейской деспотии в 1530 году,— потому что от него будут требовать соображений по этому поводу и для него самого политические вопросы сделаются вновь вопросами самыми жизненными. Во время осады они

1 «Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli», «Opere inelite», I, 16—17.

2 «Giustizia fussi in quale in favore di quella parte che aveva in mano tutta la autorità», «Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli», «Opere inelite», I, 16. См. также «Discorso Logrogno», «Opere inelite», II, 267. «Государство и власть не что иное, как насилие над подданными, у некоторых прикрытое кое-какою видимостью (*qualche titolo*) честности».

не были для него интересны. Во время осады разочарование и пессимизм дошли в нем до высших пределов, и он весь целиком отдался обсуждению вопросов личного поведения. Ясно, что размышления его, вращающиеся в этом кругу, оказались пропитаны эгоизмом и практицизмом, сложились в целую систему мелкой и скрупулезной философии самосохранения.

Когда такой первоклассный ум, как Гвиччардини, берется за эти задачи, он говорит вещи пезаурядные. По «Ricordi» рассыпано столько перлов наблюдательности и пронципальности, как редко в другой книге афоризмов. Эпиктет и Марк Аврелий, Ларошфуко, и Вовенарг кажутся пресными и лишенными остроты по сравнению с Гвиччардини. И разве один только Ницше со своей критикой морали альтруизма, хотя проведенной совсем на других началах, не побледнеет с ним рядом. Формулировки Гвиччардини по прямоте и откровенности нередко граничат с бессовестностью, и современного читателя они иной раз будут коробить: он очень часто будет по-настоящему злиться, путаясь в извилистых аргументациях Гвиччардини и безуспешно порою отыскивая в них начала и концы. Эти вещи бросаются в глаза, и было бы смешно их скрывать. Но после всего, что сказано, едва ли нужно повторять еще раз, что они легко находят свое объяснение.

У Гвиччардини доктрина Возрождения развивается с тенденцией, прямо противоположной тенденции Макиавелли. И мы знаем, почему. Главные сочинения Макиавелли написаны до переломного момента, а главные сочинения Гвиччардини — после. Когда безнадежность, подобно густому лиickому туману, стала обволакивать все — с конца 1526 года, — Макиавелли

не писал уже ничего, кроме писем. А Гвиччардини писал много. Быть может, вера Макиавелли в свой класс и в его способность справиться с трудностями положения помогли бы ему удержаться и дальше на его точке зрения. До конца своей жизни он на ней удержался. Основная тенденция Макиавелли — от личного к общественному и от этики к социологии и политике — не была сломана. А у Гвиччардини она пошла по-другому: от общественного к личному от политики и социологии к этике. Больше того, — от этики философской к обывательской морали. И если когда-нибудь обывательская мораль облакалась в гениальные формулы, то это именно в «Ricordi» Франческо Гвиччардини.

Так, принадлежность к двум разным группам буржуазного общества, хотя и близким, но в обстановке того времени не находившим примирения, сделала то, что два гениальнейших политических мыслителя Италии, тесно связанные личной дружбой и одновременно даже общей работою, оказались представителями противоположных доктрин, каждая из которых знаменует этап в эволюции культуры Возрождения.

Каково же содержание доктрины Гвиччардини?

VIII

Человеку приходится иметь дело с себе подобными. Поэтому прежде всего надо установить каждому для себя, что такое люди и как к ним относиться¹.

¹ Чтобы читатель имел некоторые ориентировочные указания относительно различных частей «Ricordi», нужно помнить, что из 403 «Заметок» раньше всего, до 1525 года, записаны те, которые идут под номерами

Гвиччардини уверяет, что люди более наклошны к добру, чем ко злу, и что если кто-нибудь обнаруживает «от природы» противоположную наклонность, тот — «не человек, а зверь или чудовище», ибо ему нехватает того, что «свойственно природе всех людей» (135).

Это очень оптимистическое положение прямо противоположно основной психологической посылке Макиавелли. Выражает ли оно подлинное убеждение Франческо? Едва ли. Оно принадлежит к числу ходячих формул буржуазной житейской морали, всеми повторяемых, никем не чувствуемых. Оно было настолько распространено, что Франческо Берни внес его в число тех морализирующих заставок, которыми он любил начинать каждую новую песнь переделанного им «Влюбленного Роланда». В первой октаве XIV песни мы находим такие стихи:

...Ogni uomo e inclinato a ben volere
Ed a far bene all'altro; e se fa male,
Esce dal proprio corso naturale ¹.

222—393. Следующими, после апреля 1527 года, записаны номера 394—403. А те, которые печатаются первыми, т. е. номера 1—221, записаны позже всех, в 1529—1530 годах, во время осады Флоренции и частью, возможно, переработаны после 1530 года. Читатель увидит, что некоторые мысли повторяются дважды не только по содержанию, но и по форме, — признак, что Гвиччардини придавал им большое значение и снова к ним возвращался.

¹ «В каждом человеке внедрена наклонность любить другого и делать ему добро; если же он делает зло, то изменяет своей природе». И едва ли Берни заимствовал эту мысль у Гвиччардини или Гвиччардини у Берни. «Влюбленный Роланд» Берни был окончен

Афоризм этот никак не гармонирует с остальными «Ricordi». И никак не вяжется с духом пессимизма, который пронитывает «Ricordi» насквозь. Мыслей, ему противоречащих и его ограничивающих, так много, что от него в конце концов ничего не остается. Прежде всего в одном месте говорится прямо, что «люди большей частью либо неразумны, либо злы...» (19), а в другом — что «дурных людей больше, чем хороших» (201). Достаточно этих двух афоризмов, чтобы лишить смысла основное положение¹. И есть целый ряд оговорок, сводящих его на-нет едва ли не окончательно (134 и 225). Но едва ли Франческо серьезно думал, что оно чему-нибудь помогает, потому что все его практические советы составлены в расчете на то, что придется иметь дело с людьми, либо просто дурными, либо в лучшем случае недостаточно хорошими (265 и 24). Эти мысли мы встречаем не только в «Ricordi». «Люди больше любят самих себя, чем других»². «Никакая дружба в наши дни не стоит ничего, если она не сопровождается выгодой: где нет выгоды, нельзя придавать дружбе никакой веры»³. Друзей, конечно, надо ценить,— но

в 1531 году, а 135-й ricordo принадлежит к числу тех, которые написаны около 1530 года и не были опубликованы. Просто — это были очень распространенные прописные мысли.

¹ Хотя Geyrov в известной статье о Гвичардини «Etudes italiennes», 1898, стр. 186—187) помещает его среди небольшого количества «очень благородных выражений, идущих от величия души и от голоса совести», Франческо, вероятно, усмехнулся бы, услышав такой отзыв.

² «Discorso ottavo» (1511), «Opere inedite», II, 364.

³ «Discorso ottobre 1512», «Opere inedite», II, 323.

почему? Потому, что они могут пригодиться. «Друзья помогают, а враги вредят тогда и там, где меньше всего ожидаешь» (14). Точка зрения — чисто утилитарная. Гуманисты XV века, которые, рассуждая о дружбе, повторяли положения Цицеронова «Лелия», восстали бы против тезисов Гвиччардини самым решительным образом. Они писали свои латинские трактаты в спокойные времена, и им не приходилось бороться за существование в таких исключительно тяжелых условиях, как людям, пережившим разгром Рима и осаду Флоренции.

Тем не менее интеллигентские традиции заставляли, говоря о человеке, помнить веления гуманистического канона. Франческо не мог от них уклониться. Но он повторяет гуманистические славословия индивидууму как-то удивительно пехотя, без малейшего подъема и всегда с оговорочками. «Ошибается тот, кто говорит, что образование портит человеческие головы. Может быть, это и верно, если у кого голова слабая. Но если образование встречает хорошую голову, человек становится совершенным. Ибо хорошие природные качества, соединенные с хорошими приобретенными, создают благороднейшее целое» (313). И нужно ценить не только образование, но в конце концов и светский лоск. «Светский лоск и умение делать все как следует дают достоинство и хорошую репутацию даже одаренным людям, и можно сказать, что если у кого этого нет, тому не хватает чего-то. Не говорю уже о том, что избыток светских способностей открывает путь к милостям государей, кладет иногда начало и становится причиной большой пользы и возвышения. Ибо свет и государи теперь не таковы, какими они должны быть.

и таковы, какими мы их видим» (179). Балдессар Кастильоне подписался бы под основной мыслью целиком, но, как истый придворный, с негодованием отверг бы заключительный афоризм и протестовал бы против утилитарной тенденции всего рассуждения. А для Гвиччардини в ней было главное. Польза на первом месте. Из этого вытекает все.

Одно из основных жизненных правил его — быть на-чеку, всегда с трезвой головой, всегда готовым все взвесить, обстоятельно, со всех сторон, и не раз и не два; никогда не забывать ни одной предосторожности. И прежде всего — обдумывать как следует свои решения: «Чем больше и лучше думаешь о чем-нибудь, тем лучше понимаешь это и делаешь» (83). Вот этому искусству лучше думать Франческо и хочет научить тех, для кого он набрасывает свои заметки. Наука тяжелая и путаная. Пусть кто-нибудь прочтет *ricordo* 156 и попробует проделать умственную процедуру, в нем изложенную!

Чтобы не ошибиться при обдумывании, не нужно обладать большим умом. Нужно только уметь рассуждать: хорошее суждение поэтому нужно ценить больше, чем хороший ум (232), а ум серьезный и зрелый — больше, чем живой и острый (403). Вот на этот ум, серьезный, но не живой, зрелый, но не острый, и на способность рассуждать возлагается задача: все взвешивать, все принимать во внимание и — надо думать — не приходить в смущение, читая его длинные рацеи.

Франческо не жалеет советов, чтобы помочь человеку, лишенному острого и живого ума, но готовому думать и рассуждать сколько угодно. «В важных вопросах нельзя судить правильно, если не знать

хорошо всех подробностей, ибо часто незначительное обстоятельство меняет все дело, но я нередко видел что иной судит правильно, будучи знаком только с общим положением, а зная все частности, судит хуже. Ибо кто не обладает умом очень совершенным и вполне свободным от страстей, узнав много подробностей, легко путается и ошибается» (393). Особенно трудно судить о будущем (304, 23 и 318). Для правильного предвидения нужны особые качества. «Прошлое светит будущему, ибо мир был всегда одинаков. Все, что есть и будет, было в другие времена; одни и те же факты возвращаются, только под другими именами и иначе окрашенные. Но узнает их не всякий, а лишь, тот, кто обладает мудростью, кто прилежно наблюдает их и изучает» (336).

Гвиччардини вполне отчетливо формулировал здесь не только социологическую проблему, но и социологический закон. Настолько отчетливо, что хочется задать себе вопрос, не были ли известны Вико¹ Гвиччардиниевы «Ricordi». Ведь вся теория круговорота, «corsi e ricorsi» в зародыше скрыта в афоризме: «Одни и те же факты возвращаются только под другими именами и иначе окрашенные». Правда, рядом с этим афоризмом мы находим у Гвиччардини и другой, в котором он, повидимому, намекает на учение Макиавелли: «Как сильно ошибаются те, кто на каждом слове ссылаются на римлян. Нужно иметь

¹ Вико, несомненно, знал большую «Историю Италии» Гвиччардини; он называл его «безусловно первым историком из пишущих на итальянском языке» («italicae linguae historicus omnium facile primus»). См. «De mente heroica», цит. у Treves, «Il realismo politico di F. Guicciardini» (1931), 122.

государство, находящееся в таких условиях, как Рим, и уже потом устанавливать правление по римскому образцу. Хотеть следовать примеру римлян при различных условиях — то же, что требовать, чтобы осел мог бежать со скоростью коня» (110). Как будто Макиавелли учил кого-нибудь слепо подражать римским государственным порядкам, а не доказывал, анализируя римские отношения, что «факты возвращаются, но только под другими именами и иначе окрашенные». Он был лишь более последователен в своем социологизме, чем Гвиччардини, и не сбивался, как он, на каждом шагу в практицизм и вульгарный утилитаризм.

Что интересует Франческо, когда он возвращается к вопросу о предвидении? Прежде всего, как предохранить себя от ошибок (81). Но трудности, предвидения не должны приводить в отчаяние и заставлять «отдаваться на волю судьбы, подобно животному: наоборот, надо работать головой, как подобает человеку» (382). И здесь, как во многих других вопросах, Гвиччардини быстро покинул научную почву и сполз на гладкую дорожку дешевой обывательской морали. На ней он чувствует себя особенно легко и уверенно и не скрывает этого. Знать и действовать — вещи разные. Знать всегда полезно, а действовать следует смотря по обстоятельствам, т. е. как нужно и как выгодно (322). Больше, чем изучать, нужно думать. Глухо поступают те, кто тратит на чтение книг время, которое могло бы быть использовано для обдумывания. «Чтение утомляет и духовно и физически; оно похоже скорее на труд чернорабочего, чем ученого» (208). Что же раскрывается перед человеком, когда он много думает? Разные вещи:

во-первых, очень важное наблюдение об относительности всего.

«Ни одна вещь не благоустроена так, чтобы ее не сопровождало некоторое неустройство. Ни одна вещь не бывает так плоха, чтобы в ней не было чего-нибудь хорошего, и ни одна вещь — так хороша, чтобы в ней не было чего-нибудь плохого». Такова посылка, в бесчисленных отрицаниях которой ум, если он не очень «серьезный и зрелый», разберется тоже не без труда (213). Но этим не исчерпывается теория относительности Гвиччардини. Помнить о том, что все относительно, нужно всегда. «Большая ошибка говорить о чем-нибудь без разбора и без оговорок, *indistintamente e assolutamente*, так сказать, по правилам. Все заключает в себе различия и исключения, так как разнообразны обстоятельства, которых нельзя мерить одной меркой. А различия и исключения не описаны в книгах. Нужно, чтобы им научил опыт» (6). Опыт в глазах Гвиччардини является, повидимому, главным руководителем в дебрях относительности, и он не раз возвращается к этой мысли. «Пусть верят молодые, что опыт учит многому, и в хороших головах больше, чем в плохих» (292). «Невозможно, хотя бы и с самыми совершенными природными задатками, понимать хорошо и разбираться в известных подробностях без помощи опыта, который один этому учит» (293). А пока не научил опыт, не нужно ослеплять себя излишним оптимизмом. «Лучше надеяться мало, чем много, ибо чрезмерная надежда отнимает усердие и приносит больше огорчений, когда желаемое не осуществляется» (299). Другое правило, столь же необходимое в жизни, подсказывается поговоркою: нужно пользо-

ваться выгодами времени (79 и 298). Это значит, что, если тебе представляется случай, которого ты ждал и желал, не теряй его: действуй быстро и решительно. А когда случай трудный и решение для тебя тягостно, оттягивай как можно больше, потому что время будет работать за тебя (54). Но раз решение принято, сколько бы времени на него ни ушло,—обсуждать лучше долго, чем мало,—действовать нужно тоже быстро и энергично (191). И, раз вы начали дело, недостаточно дать ему движение, а нужно упорно вести его до самого конца, ибо по своей природе всякое дело трудно (192).

В жизни важно выбирать момент. «Те же вещи, если их предпринять во-время, легко удаются и осуществляются как бы сами собою, а если предпринять их раньше времени, не только не удаются в тот момент, но затрудняют часто их осуществление в момент надлежащий. Поэтому не бросайтесь в дело очертя голову, не ускоряйте его, ждите, пока оно созреет и дойдет до своего срока» (78 и 339). Не следует пренебрегать незначительными фактами. «Малые, едва заметные начала часто являются причинами и больших катастроф, и большого благополучия. Поэтому признак величайшего благоразумия — заранее замечать и взвешивать каждое событие, хотя бы и самое малое» (82).

К поучениям этого рода надо отнести и несколько запутанных моральных афоризмов, целиком или отчасти скрывающих свой практический нормативный характер под отвлеченной формулой. Вот несколько образцов: «Не следует ставить себе в похвалу, когда делаешь или не делаешь что-нибудь, что, будучи сделано не так или не сделано совсем,

вызвало бы порицание» (350). Та же мысль, выраженная несколько по-иному: «Многое, что делается, вызывает у людей порицание или похвалу, а заслуживало бы противоположного суждения, когда бы было известно, что бы вышло, если бы это было сделано наоборот или не сделано вовсе» (284).

Эти очень извилистые рассуждения с многоэтажными отрицаниями, из которых в окончательном итоге никак не может получиться утверждения, с избытком условных предложений, ограничивающих основные мысли, служат переходом к серии других, где Гвиччардини поучает, как обставлять себя в жизни, чтобы не быть застигнутым врасплох. Сначала он напоминает о некоторых правилах, элементарных и нейтральных. Не нужно доверять письмам опасные сообщения (193). Не нужно без нужды говорить плохо о других (7 и 310), а уж если без этого нельзя обойтись, то пусть сказанное задевает только одного, потому что «великое безумие, желая оскорбить одного, обидеть многих» (8). Если же ты не желаешь, чтобы о чем-нибудь знали, то не говори этого совсем никому, ибо «люди болтают по разным побуждениям: кто для выгоды, кто просто зря, чтобы показать, что он что-то знает» (49) и, хотя облегчить душу (*sfogarsi*), поделившись с кем-нибудь горем или радостью, иной раз и приятно, но вредно. Умнее, хотя и трудно, воздержаться от этого (272).

Дальше начинается менее нейтральное и более острое. В тех же целях осторожности бывает полезно притворство, «хотя оно вызывает презрение и ненависть» (267). Если у тебя просят чего-нибудь, не отказывай прямо, а отделивайся ничего не значащими словами, потому что прямой отказ вызывает

неудовольствие, а обстоятельства часто помогут потом уклониться от исполнения просьбы (36). «Очень полезно умело показать, что то, что ты делаешь в своих интересах, делается во имя общественного блага» (142). А иногда просто нужно лгать: «Отрицай, если не хочешь, чтобы что-нибудь знали, и утверждай, если хочешь, чтобы чему-нибудь верили, ибо, хотя за обратное будет говорить многое и оно будет почти несомненно, все-таки смелое отрицание или утверждение часто склонит на твою сторону слушающего» (37). Польза притворства или обмана еще больше, если у человека репутация правдивого (104 и 267), но если даже он известен как притворщик, ему все-таки нередко верят: верили же величайшему на свете обманщику Фердинанду Католику (105). В частности, не следует показывать, что ты на кого-нибудь в претензии, потому что в будущем этот человек может тебе пригодиться, а если он будет знать, что ты что-то против него имеешь, с него ничего не возьмешь (113). Особенно глупо выражать негодование против таких людей, которым по высокому их положению невозможно отомстить. Тут нужно «притворяться и терпеть» (249). Если приходится действовать на высоких постах, нужно «скрывать все неприятное, раздувать все благоприятное». Это, конечно, своего рода надувательство (*ciurmeria*), но оно необходимо: образ действия стоящих еще выше больше зависит от их мнения о людях, чем от дела (86).

Если моральный кодекс Гвиччардини оказался не-далек от того, чтобы превратиться в катехизис лицемерия, не его вина. Вина в социальной обстановке и его классовом положении в ней. Вспомним еще раз слова Климента VII: «Мир пришел в такое состоя-

ние, что ...» Для Гвиччардини и тех, кого он представляет, по-другому нельзя. Нужно думать о себе. Жизнь таит в себе трудности и опасности огромные. Кризис давит на все и истощает все ресурсы. И самое главное: нет защиты. Нужно защищаться самому. Этому должно служить все: напряжение всех ресурсов ума и рассудительности, анализ моральных лабиринтов, способность не теряться никогда, не обольщаться и не ослепляться ничем, разбираться в настоящем, искать просветов в тумане будущего и, если без этого нельзя, твердо занять позицию по ту сторону добра и зла.

IX

Особую группу изречений составляют мысли, посвященные вопросам хозяйственным. Они говорят больше всего о бережливости — «один дукат в кошельке делает тебе больше чести, чем десять, из него истраченных» (45 и 386), — об экономии, о необходимости соразмерять расходы с доходами. «Не трать за счет будущих доходов, потому что они нередко оказываются меньше, чем ты думал, или их не оказывается совсем. А расходы, наоборот, всегда увеличиваются. В этом заключается ошибка, из-за которой разоряются многие кунцы»: они входят в долги, а потом, когда дела пойдут не так хорошо, запутываются (55 и 278). Тот, кто зарабатывает, конечно, может тратить больше, чем тот, кто не зарабатывает. Но тратить широко, полагаясь на заработки и не составив себе раньше хорошего капитала, — безумие, ибо заработки могут кончиться в любой момент (385). Вообще экономия вовсе не в

гом, чтобы воздерживаться от трат, а в том, чтобы тратить с толком (56 и 384).

Все это — мелкие советы и советики, которых сколько угодно в старых купеческих записных тетрадах, *i zibaldoni*, и которым уже за сто лет до Гвиччардини Леон Баттиста Альберти придавал классическую форму в «Трактате о семье».

В XVI веке последняя лавочница во Флоренции знала такие правила на-зубок. Почему Франческо вздумалось записывать именно их, когда из своего хозяйственного опыта он мог поделиться чем-нибудь гораздо более интересным? С недавних пор мы можем говорить об этом с полной уверенностью, ибо в 1930 году один из его потомков, Паоло Гвиччардини, издал хранившиеся в семейном архиве «Воспоминания» («Ricordanze»), посвященные различным эпизодам деловой жизни Франческо¹. Записи эти сделаны во второй половине 1527 года, во время вынужденного бездействия в деревенской тиши. Они дают нам полное представление о денежных делах Франческо.

Гвиччардини были членами Шелкового цеха (*seta*)² и имели мануфактуру (*la bottega*), передававшуюся из рода в род. Франческо уже в 1506 году внес в это дело из приданого жены 600 дукатов. В 1513 году умер его отец, оставив, как мы знаем, каждому из пяти сыновей по четыре тысячи дукатов движимостью и недвижимостью. Франческо достались, между прочим, два имения. Он вступил — уже лично — в круг

¹ «Ricordanze inedite di F. Guicciardini pubblicate ed illustrate da Paolo Guicciardini», 1930, VIII.

² Сам Франческо был членом цеха Калимала, древнейшего и самого важного из семи старших.

флорентийской рантьерской буржуазии. Год спустя он вложил в новое шелковое дело две тысячи четыреста дукатов, частью из отцовского наследства, частью из экономий, сделанных в Испании. В 1516 году эта компания, в которой участвовали все его братья, была преобразована, и пай Франческо увеличился до трех тысяч дукатов.

В 1518 году он купил за девятьсот дукатов новое имение у Галилео Галилеи, деда великого ученого, в 1519 году вложил тысячу флоринов в товарищество, ведущее дела во Фландрии, в 1520 году купил за пятьсот шестьдесят дукатов еще одно имение, и в том же году, после преобразования шелкового дела, пай его в нем вырос до трех тысяч пятисот дукатов. В 1519 году он одолжил тысячу флоринов жениным братьям, Сальвиати, в 1522 году за две тысячи восемьсот дукатов купил четвертое имение, Финоккетто, которое потом описывал Макиавелли в известном письме к нему, а год спустя приобрел пятое имение, Поджо, в Поппиано за тысячу восемьсот дукатов. В 1524 году он вложил еще в одно предприятие во Фландрии полторы тысячи дукатов, и в том же году его вклад в шелковое дело, которое вел его брат Джироламо, дошел до девяти тысяч девятисот тридцати шести дукатов. В 1527 году он купил еще два имения,— одно Арчетри, в Санта Маргарита а Монтичи, за три тысячи сто дукатов, славное вдвойне: тем, что там в 1530 году была ставка принца Оранского, и тем, что позднее там была написана «История Италии», и другое, маленькое, счетом седьмое, Пулика в Муджелло, за четыреста дукатов. Все это, не считая огромного количества серебра, подробно описанного та-

релка за тарелкой в «Воспоминаниях», и всякой другой драгоценной движимости¹.

Все эти крупные вложения в землю, все вклады в торговые и промышленные предприятия Гвиччардини мог делать только благодаря большим окладам, получаемым в качестве губернатора Пармы, Реджо и Модены, потом президента Романьи и папского уполномоченного при армии Коньякской Лиги². Потом на покупку земель стали обращаться, повидимому, и доходы с предприятий. А когда подросли дочери,— у Франческо, страстно желавшего иметь сына, были одни дочери, числом восемь, из которых четыре выросли и были выданы замуж,— Гвиччардини для каждой приготовил приданое, которое безболезненно могло быть извлечено из находившихся в обороте капиталов.

Таким образом, хотя Франческо сам не вел ни торговых дел, ни хозяйства на земле, деньги свои приращивать он умел совсем не плохо. А трое из его братьев были настоящими и удачливыми купцами. Правда, 3 февраля 1523 года Франческо сделал следующую запись: «До сегодняшнего дня во многих де-

¹ Все имения были у него конфискованы народным правительством в 1529 году, но возвращены после окончательной реставрации Медичи.

² Когда он был вызван Климентом VII в Рим, чтобы принять на себя руководство иностранною политикою курии (1526), он оставил своим заместителем брата Якопо с условием, что тот из жалования и доходов будет платить ему две тысячи дукатов в год, а все, что окажется сверх четырех тысяч, будет делиться пополам. Первый год дал каждому по две тысячи сто двадцать флоринов. См. «Ricordanze», 32, стр. 35.

лах мне очень везло, но никогда не везло в делах коммерческих» (360), но эту жалобу нужно, очевидно, понимать так, что папская служба и земля давали ему больше, чем вклады в торговые и промышленные предприятия. И совершенно ясно, что, если бы он хотел давать настоящие хозяйственные наставления деловым людям, ему ничего не стоило придумать советы, слегка поднимающиеся над старушечьей хозяйственной мудростью, учившей не зарываться в расходах. А братья его Луиджи и Джироламо — настоящие дельцы, — вероятно, нашли бы чересчур наивными и такие экономические максимы, как выпад против торговых монополий в Ферраре (316) и совет вкладывать капиталы в такие дела, за которыми еще не установилась репутация прибыльных и где, следовательно, меньше конкуренции (178).

Франческо, когда было нужно, умел с полной ясностью и исчерпывающей убедительностью дать анализ чрезвычайно сложного хозяйственного положения Флоренции после падения республики, очень отчетливо раскрыть связь промышленности и торговли с финансами¹. Способность дать такой анализ доказывает одно: что Франческо совершенно свободно разбирался в самых трудных вопросах экономики, а в «Ricordi» не касался их умышленно. Если бы Зомбарт в своем исследовании о происхождении и росте «буржуазного духа» имел перед глазами высказывания Гвиччардини, они позволили бы ему обогатить книгу материалом чрезвычайно красноречивым².

¹ В письмах 1530 и 1531 годов к Ланфредини, см. *Otetea*, указ. соч., стр. 281—282.

² См. «Der Bourgeois», 137 и сл.

Все дело в том, что в «Ricordi» Франческо вовсе не хотел учить настоящих деловых людей, а давал, как всегда, практические советы, преследующие моральную цель: бережливость лучше защищает человека в жизни, чем расточительность, так же, как и умение избегать конкуренции¹. Бережливость так же помогает не захлебнуться в смутное время, когда «мир пришел в такое состояние...», как и жизненный опыт, как и хорошее суждение, как и умение предвидеть, как и искусство во время солгать или одурачить наивного человека (*uomini grossi*, 36). Вообще, чтобы не захлебнуться, годится все. Ни к чему только широкие душевные жесты, порывы великодушия, зовы благородства, идеалистические взлеты. Это пусть остается безумцам, т. е. идеалистам.

Конечно, иной раз случается, что «безумцы» «свершают деяния более крупные», чем люди «умные», но это только потому, что они больше доверяются счастью, чем разуму, а счастье иной раз может наделать невероятно много. Например, в 1529 году «умные во Флоренции склонились бы перед грозой, а безумцы, желая, рассудку вопреки, устоять перед нею, свершили до сих пор² то, что никто не счел бы наш город способным» (136). Франческо констатирует эти вещи с удивлением, считает их иррациональными и отнюдь не рекомендует сделать методы действия «безумных» максимой всеобщего поведения: не как Макиа-

¹ Протесты против монополий Альфонсо д'Эсте объясняются, повидимому, тем, что Гвиччардини со времен Коньякской Лиги ненавидел герцога злой ненавистью и не упустил случая обвинить его в тирании.

² Писалось, когда исход осады был еще неизвестен.

вели в 1527 году. Гвиччардини стоит за контроль холодного рассудка над всем, и над «безумием» в особенности.

Х

Благородные слова и благородные мысли хороши только тогда, когда они ни к чему не обязывают. Как только они начинают обуславливать какое-нибудь действие, благородство сейчас же призывается к порядку, а власть переходит к эгоизму и к философии мелких дел. Вот, например, размышление, в котором эта борьба идеализма с практицизмом разыгрывается, можно сказать, на глазах у читателя. «Кто наделен умом более положительным, тому несомненно больше везет, и живет он дольше, и в известном смысле более счастлив, чем тот, кто наделен умом возвышенным; ибо благородный ум чаще всего мучит и терзает своего обладателя. Зато один ближе к грубому животному, чем к человеку, а другой поднимается над человеческим уровнем и приближается к небесным созданиям» (337 и 60).

У Франческо, который вспомнил тут, вероятно, известное рассуждение «О достоинстве человека» Пико дела Мирандола, очень мало веры в то, что кто-нибудь захочет «приблизиться к небесным созданиям», подвергаться за это «мукам и терзаниям», терпеть горе от ума. Не для возвышенных натур его поучения, а для тех, кто предпочитает быть счастливым и жить без мук, долго и хорошо. Да и сам он едва ли выбрал бы жизненную долю «ума возвышенного». Он не может уклониться от его апологии: этого гребует ренессансный канон, как требует признания человеческой природы, склонной к добру. У Франческо

нехватает смелости Макиавелли, который не боится ломать канон. Но, восхваляя человека идеализованного, крестник Марсилио Фичино, мистика и идеалиста, практически считается только с человеком реальным.

Эту двойственность, которая так понятна в эпитафиях Возрождения, нужно всегда иметь в виду. Иначе трудно понять Гвиччардини¹. Мы будем встречаться с нею всякий раз, когда ему придется высказываться по аналогичным вопросам. Мы видели ее образцы и раньше: когда рядом с признанием человеческой природы, склонной к добру, встретили совершенно противоположные положения и рядом с высокой отвлеченной оценкой дружбы вполне утилитарную ее переоценку. И видели, что для практических выводов посылаками служат не отвлеченные декларации в духе требований канона, а все то, что им противоречит и их ограничивает. Вот еще примеры того же ряда. Честь. Деликатный сюжет, в котором Гвиччардини всегда проявляет большую щепетильность. Но мысли его текут и в нем извилисто. «Кто высоко ценит честь, тому все удастся, потому что такой человек ставит ни во что труды, опасности, деньги. Я испытал это на себе и потому могу говорить и писать: мертвы и пусты деяния людей, лишённые этого пламенного побуждения» (118). И еще: «Нельзя осуждать честолюбие и нельзя порицать честолюбивого человека, который ищет славы средствами честными и почетными. Именно такие люди творят дела

¹ Я боюсь, что ее упустил из виду Франческо Эрколе в своей последней книге «Da Carlo VIII a Carlo V» (1932), в которой он дал очень интересную, но спорную сравнительную характеристику Макиавелли и Гвиччардини. См. стр. 303—309.

великие и громкие. В ком нет этого стремления, тот — человек холодный, склонный больше к покою, чем к деятельности» (32). Это — теоретическая декларация, составленная по канону и согласно канону идеализирующая человеческую природу. Но она так и остается декларацией, ибо пребывает вне действия катехизиса практического поведения, который составляет сущность «Ricordi», и во всяком случае противоречит тем размышлениям, которые практическим умам отдают предпочтение перед возвышенными. К этой декларации имеется непосредственная утилитарная поправка (15 и 16): всякий стремится к величию и к почестям, ибо все хорошее, что с ними связано, бросается в глаза и привлекает, а труды, опасности, неприятности, неизбежно их сопровождающие, остаются скрытыми; если бы и они были столь же явны, стимулы честолюбия безмолвствовали бы, за исключением одного: «Чем больше люди окружены почестом, уважением и обожанием, тем больше они приближаются к богу и становятся на него похожи. А кто не захочет быть подобным богу?» Тут две мысли: заключение — дань неизбежному канону в дух крестного, Марсилло, и начало — осторожное одергивание человека, преисполненного честолюбивыми стремлениями, и толкание его к тому «покою», который только что осуждался. Совсем плохо приходилось «чести», когда она в пылу классовой борьбы попала под ноги проповеднику истин по идеалистическим канонам. В 1531 году в одном из рассуждений он говорит о том, как выйти из финансового кризиса, и между другими возможностями предлагает объявить мораторий по старым долгам всех категорий. Он, конечно, знает, что это разорит многих мелких держате-

лей государственных бумаг, и поэтому сухо прибавляет: «А о том, честно это или нет, я предоставляю судить другим»¹.

Та же половинчатость в вопросе о патриотизме. Весь «Диалог» полон патриотическими изъяснениями. А вот что говорится в «Ricordi» (189): «Все города, государства и королевства смертны... Поэтому гражданин, присутствующий при гибели своего отечества, должен жалеть не столько о его несчастьи и называть его злополучным, сколько о своем собственном. Потому что с отечеством случилось лишь неизбежное, а беда постигла того, кому пришлось родиться во время такого несчастья». Лоренцо Валла за сто лет до Франческо говорил — и это было вполне в духе эвдемонистического индивидуализма, составлявшего сущность его доктрины: глупо умирать за родину, ибо если ты умер, то умерла и родина. Доктрина Валлы мало влияла на канон Возрождения. Но Гвиччардини многим ей обязан, хотя берет от нее только выводы, а не обоснование.

И в вопросе о религии Франческо высказывается по-разному, смотря по обстоятельствам. Канон в этом вопросе скорее поощрял критику и свободный анализ, но Гвиччардини с 1516 года служил папам, а служба папам была несовместима с резко вольнодумными мыслями. По существу Гвиччардини, конечно, был к религии равнодушен: слишком холодный и острый был у него ум, чтобы с ним могла совмещаться настоящая религиозность. Но высказывать это равнодушие ему было нельзя. Когда он высказывался, он говорил другое. «Я не хочу отступить от

¹ «Discorso ottavo», «Opere inedite», II, 365.

христианской веры и от божественного культа,— наоборот, я готов укреплять его и усиливать, отбрасывая лишнее, удерживая нужное и побуждая умы хорошенько осмыслить, с чем нужно считаться и что можно смело отбросить» (254). Это — идеология чистой воды, а тут же рядом политика, в основном — мысль Макиавелли: «Никогда не боритесь с религией и вообще с тем, чему приписывается божественное происхождение, ибо все эти вещи слишком сильно укоренены в умах глупцов» (253). Сопоставляя эти два изречения, естественно прийти к выводу, что умеренно скептический конец первого афоризма — дань канону, с его начало — подачка «положительным умам», которые, поскольку дело касается религии, в другом афоризме без всяких церемоний обозваны дураками. Скептическая линия в оценке религии укрепляется, когда Франческо приходится говорить о чудесах. «Во всякое время чудесами люди считали вещи, которые даже близки к чудесам не были. Свои чудеса были у всякой религии. Это совершенно несомненно. Поэтому чудеса являются слабым доказательством истинности одной веры больше, чем другой. Чудеса, быть может, свидетельствуют о могуществе бога, но столько же языческого, сколько христианского. И, может быть, не будет грехом сказать, что чудеса, как и пророчества,— тайны природы, смысл которых непостижим для человеческого ума» (123). Если святой или святая помогают людям, как думают, дождем или хорошей погодой, то оказывается, что разные святые действуют одинаково, и значит это, что божья милость помогает всем. «А, быть может, эти вещи больше коренятся в человеческих мнениях, чем в том, что происходит в действитель-

ности» (124). Все время скептицизм борется с обывательским легковерием, и ни на минуту не чувствуется, что в пишущем говорит что-то большее, чем равнодушие.

Равнодушие Франческо к религии кончалось, когда она из вопроса личной совести превращалась в объект политики. Тут интерес к религии и вере сразу поднимался. В дни осады Флоренции, в полуизгнании на своей вилле, Франческо размышлял о том, что помогает его согражданам держаться против соединенной армии папы и императора целых семь месяцев, когда «никто бы не поверил, что они продержатся семь дней». Он задавал себе вопрос, не следует ли приписать это вере в пророчества Савонаролы, и задумывался о том, что такое вера. И вот какое чеканное ее определение вышло из-под его пера: «Вера — не что иное, как твердое и почти уверенное упование на что-то такое, что для разума непостижимо, а если и постижимо, то упование с большей решительностью, чем в том убеждают разумные доводы. Поэтому тот, кто верит, становится упорен в том, во что верит, и идет по своему пути бесстрашно и решительно, презирая трудности и опасности, готовый терпеть последние крайности» (1). Эта формула далась Франческо потому, что он задумался, как политик и человек действия, о причинах успешной обороны Флоренции. Ибо если вера — такое могучее орудие, если она может перевернуть психику целого народа, то политик не имеет права ею не интересоваться. Совершенно так же, как не имеет права не считаться с тем, что «слишком сильно укоренено в умах глупцов». Франческо лишний раз мог убедиться в том, насколько был прав Макиавелли,

посвятивший вопросам веры и религии — рассмагтриваемым именно социологически, не психологически — столько глав в «Discorsi». Продолжая свои размышления о религии, Франческо прямо присоединяется к одному из выводов Макиавелли, не называя его: что религия (разумеется, конечно, христианская, потому что о языческой религии Макиавелли говорил совсем другое) портит мир, ибо «размягчает дух, ввергает людей в тысячи заблуждений и отвлекает их от многих задач благородных и мужественных» (254).

Передвижение религии в область кругозора политики ставит под анализ вопросы о церкви и духовенстве. Тут Гвиччардини высказывается более определенно, а иногда, против обыкновения, и совсем определенно. Естественно, что папа и Рим попадают ему под перо первыми; они и в жизни были ему близки. Он ведь служил им много лет. «Нельзя наговорить о римской курии столько дурного, чтобы она не заслуживала еще больше. Это позор, это образец всех пороков и всякой скверны на свете»¹. «Три вещи хотел бы я видеть раньше чем умру, но боюсь, что, если даже проживу еще долго, не увижу ни одной: благоустроенную республику в нашем городе, Италию, освобожденную от всех варваров, и мир, избавленный от тирании этих преступных папов» (236). «Не знаю, кому больше, чем мне, противны властолюбие, жадность и изнеженная жизнь духовенства... Тем не менее высокое положение, занимаемое мною при нескольких папах, заставляло меня любить по личным моим мотивам (*per il parti-*

¹ «Considerazioni sui Discorsi del Machiavelli», «Opere inedite», I, 26—27.

colare mio) их величие. Не будь этого, я бы любил Мартина Лютера как самого себя: не для того, чтобы отказаться от предписаний христианской религии так, как она понимается и истолковывается всеми, а для того, чтобы видеть эту шайку преступников водворенной в должные границы, т. е. чтобы им пришлось или очиститься от пороков, или лишиться власти» (28 и 346). Словом, даже здесь, в высказываниях уже не мыслителя, а политика — та же двойственность. Разум говорит одно и повторяет то, что велит канон Возрождения. Интерес толкает на другое. Ибо ни разу в жизни Гвиччардини не выступил против поповской шайки, которая — он это знал так же хорошо, как Макиавелли — мешала и созданию благоустроенной республики во Флоренции, и изгнанию «варваров» из Италии. Наоборот, он служил этой шайке не за страх, а за совесть. Потому что интерес, связывавший Франческо с Римом и папами, был не только личный, но и классовый. Он был функцией факта более общего, отголоском резкого унадка флорентийской крупной буржуазии за 1526 — 1530 годы.

Закат флорентийской буржуазии начался с Коньякской Лиги. Расходы на войну поглотили около восьмисот тысяч дукатов. Климент выжал их из города. Приблизительно столько же погибло у флорентийцев в товарах, имуществе и наличными при разгроме Рима 7 мая 1527 года¹. Над Флоренцией разразился хозяйственный кризис, и такой, что справиться с ним казалось невозможным. Вихрь, закруживший все, расшатывавший все устои, достиг высшего напряжения. И не только во Флоренции. Кроме Ве-

¹ См. *Otetea* 259.

неции, где буржуазия устояла, хотя и сильно потрепанная, всюду в Италии она билась в агонии. Именно кризис питал безнадежное настроение, порождая пессимизм и моральный скептицизм. Рушились старые кумиры. Гуманистический канон потерял весь смысл. Все, что прежде казалось незыблемо, потрясалось в жесточайших судорогах.

Гвиччардини все это изобразил. Быть может, он исходил из той точки зрения, которую формулировал, говоря о старых историках. Он ведь упрекал их в том, что они не записывали многое, что при жизни было всем известно, и именно потому не записывали, что это было всем известно. А отдаленные потомки из-за этого не знают иной раз очень важных вещей, которые могли бы знать, если бы историки записывали все (143). «Ricordi» — история того, как пала морально флорентийская крупная буржуазия. И не только флорентийская. «Ricordi» в течение XVI века переиздавались несколько раз; очень плохо, но переиздавались. Их читали и ими восторгались. Они получили название *aurei avvertimenti*, золотых поучений. Значит, следовать им считалось не только полезным или удобным, но и достойным. И хотя Гвиччардини не был уверен, что всю глубину мысли, которую он вложил в «Ricordi», сумеет оценить любой читатель, — читали их наперебой. Что это значит?

Это значит, что философия беспринципности и эгоизма продолжала долго еще царить над умами и сопровождала все углублявшийся унадок буржуазии в эпоху феодальной реакции. Людям нашего поколения нетрудно понять, почему это происходило. Стоит только припомнить многочисленные факты, ежедневно регистрируемые газетами в наши дни. Разве

не свидетельствуют они о страшных опустошениях в области интеллектуальных и моральных ценностей, произведенных великим экономическим кризисом, в тисках которого бьется буржуазия всего капиталистического мира? Одинаковые факты дают одинаковый результат. Нынешний мировой кризис гораздо глубже, ибо источник его — не временная победа реакционных сил, как во Флоренции, а внутренний процесс, диалектически приводящий к разложению капиталистической строй, и, конечно, по сравнению с нынешним мировым кризисом капитализма то, что переживала перед 1530 годом Флоренция, было ничтожно. Но ведь тогда все масштабы были неизмеримо меньше. Флорентийская буржуазия задыхалась и, задыхаясь, деградировала во всех отношениях. Гвиччардини имел смелость воздвигнуть памятник ее деградации.

XI

Правила Франческо сложились у него в настоящую защитную философию, за параграфами которой «умный» человек, казалось, может сидеть и чувствовать себя в такой же безопасности, как Альфонсо д'Эсте за бастионами и окнами своей Феррары. Но так только казалось. Франческо, очевидно, все-таки чего-то не додумал. Потому что его собственная карьера, карьера самого профессора житейской мудрости, все-таки была разбита. Ни в республике, ни в монархии, ее сменившей, не нашлось места мессеру Франческо Гвиччардини, самому умному из итальянских политиков. Как это случилось?

Когда Гвиччардини приехал во Флоренцию после разгрома Рима и распада Копьякской Лиги, новые

хозяева города встретили его с недоверием. Он был близким человеком папы Климента и последовательным *palesco*. И не скрывал своих антипатий к демократическому, по-тогдашнему, образу правления. Однако до тех пор, пока во главе правления стоял личный друг и единомышленник Франческо, оппортунист Никколо Канцони, его не очень беспокоили. Правда, радикалы — *aggrabiati* — не оставляли его в покое, но покровительство гонфалоньера оберегало его в достаточной мере. Оно не спасло его, конечно, от денежных тягот. Как очень богатый человек и сторонник Медичи, он попал под основательный финансовый пресс, притом в числе первых. В июне 1527 года его в принудительном порядке заставили подписаться на заем в сумме тысячи пятисот дукатов. В октябре он вынужден был повторить этот взнос и боялся, что в третий раз придется уплатить столько же в мае 1528 года. Свободных денег у него после всех этих платежей не оказалось, и он должен был прибегнуть к кредиту. Этого мало: на него взвели обвинение чисто демагогическое, в растрате и в поощрении солдатского грабежа и всячески тормозили ему попытки устроиться на службу республике¹. Естественно, что при таких условиях он старался не мозолить глаза радикалам и все почти время между июнем 1527 и сентябрем 1529 года предпочитал жить не во Флоренции, а в своей вилле Финоккетто; лишь изредка, иной раз даже тайком, наезжал в город по приглашению Канцони.

¹ См. *A. Rossi*, указ. соч., I, 67—68, 82—86, 90—94, и *Cecil Roth*, «L'ultima Repubblica Fiorentina» (1929), 100—101 и 136.

ревне он, как Макиавелли, после отставки занимался писанием. «Замечания на Макиавелли», «Ricordanze» и значительная часть «Ricordi» появились там. Но какую-то политическую роль он все-таки играл. Капони очень прислушивался к его мнению, а мнение его было, как мы знаем, неизменно. Он хотел, чтобы во Флоренции власть принадлежала людям его группы. К этому клонились его советы. Было ли это возможно при тех условиях, в которых находилась Флоренция? Теперь мы видим очень хорошо, что мысль эта представляла чистейшую утопию. Но Гвиччардини не терял надежды, пока гонфалоньером был Капони, и, повидимому, не вел никаких политических интриг, клонившихся к реставрации Медичи¹.

По мере того, однако, как усиливалось влияние радикалов, положение Капони становилось все более шатким. Его политическая программа, воспроизводившая программу Гвиччардини, не составляла тайны ни для кого и подвергалась с каждым днем все более резким нападкам со стороны радикалов. А когда гонфалоньер был уличен в тайных сношениях с Климентом, его положению был нанесен окончательный удар. 16 апреля 1529 года Капони был низложен и заменен одним из вождей *aggrabiati*, Франческо Кардуччи. Это изменило и позицию Гвиччардини. Он понял, что при новом режиме ему не придется ждать ничего хорошего. Наоборот, реставрация обещала вернуть ему его положение и, быть может, с лихвою. Тут он мог потерять все, там — все выиграть. Выбор был нетруден, и Франческо вместе с целым рядом своих друзей, Роберто Аччайоли,

¹ См. А. Rossi, указ. соч., I, 99 и сл.

Франческо Веттори, Баччо Валори, Алессандро Пацци, Паллой Ручеллаи в разное время покинули Флоренцию, к стенам которой уже подступал враг, и присоединились к папе. В это время (сентябрь — октябрь 1529) Климент переехал из Рима в Болонью, где он должен был короновать императорской короной Карла V. Гвиччардини снова, как во времена Коньякской Лиги, стал ему близок. Естественно, флорентийское правительство призывало его к ответу. Франческо попробовал по своему обыкновению пустить в ход проволочки, написал длинное письмо (декабрь 1529 года) в ответ на первый вызов, но уже в марте следующего года после повторного вызова был объявлен государственным изменником (*ribello*) и имущество его конфисковано без остатка¹. Это была самая настоящая катастрофа. Франческо сделался нищим и должен был обратиться к папе с просьбою дать ему какую-нибудь службу. Теперь он вынужден был добиваться активно, всеми силами, чтобы республика во Флоренции была сокрушена. Если бы она победила, ему пришлось бы сызнова начинать борьбу если не за существование, то за достаток. А это было уже не так легко, как в молодые годы. Связь его с Медичи, в частности с Климентом, стала поэтому еще теснее. Все его надежды были в лагере армии, обложившей Флоренцию. Едва ли он повторил бы теперь с чистым сердцем свои три заветных желания²: видеть благоустроенную республику во Фло-

¹ См. *C. Roth*, указ. соч., стр. 348, где приводится текст постановления, оставшийся неизвестным Агостино Росси.

² Они были сформулированы в числе наиболее ранних между 1525 и 1527 годами.

ренции, видеть Италию освобожденной от «варваров» и видеть мир свободным от тирании преступных попов. Ибо он боролся против своей родины, хотевшей создать у себя благоустроенную республику, помогал, чем мог, и желал победы «варварам», блокировавшим Флоренцию, и с упоением целовал святейшую туфлю атамана «преступной» поповской шайки. Зато вполне оправдывался на нем самом другой его афоризм: что интерес сильнее долга.

Судьба уберегла Франческо от дальнейших потрясений. Флоренция сдалась, подавленная превосходными силами врага, измученная голодом и чумой, преданная своим главнокомандующим (август 1530). Республика была ликвидирована, Климент вновь вступил во владение городом и областью, эмигранты вернулись, белый террор разнуздан, как обычно при реставрациях, и результатом всего для Гвиччардини было то, что он снова стал богат и славен.

С первых же дней реставрации он вместе с Франческо Веттори и Роберто Аччайоли помогал напсковому комиссару Баччо Валори восстанавливать в городе порядок и старый строй. Оказавшись снова на высоком посту, имея возможность влиять на характер будущей конституции, Франческо вернулся к своей заветной мысли: дать Флоренции такое «смешанное правление», при котором власть принадлежала бы рантьерской группе. Интерес к политике пробудился снова, как в дни «Discorso Logrogno», и к Клименту, торопившему его, летели один за другим его проекты¹. Франческо было известно желание

¹ Это — четыре «Рассуждения», от седьмого до десятого, последние в томе II «Opere inedite».

папы: чтобы Алессандро Медичи, который официально считался его племянником, сыном Лоренцо Урбинского, а на самом деле, быть может, был его сыном,— принадлежала абсолютная власть. Но он старался доказать Клименту, что для этого еще не пришло время. Он боялся, как и все флорентийские богачи, бывшие ярыми паллесками и эмигрантами при республике, что доля рантьерской группы во власти будет очень невелика, если Алессандро получит принципат. В записках Франческо старался втолковать папе свою точку зрения.

В чем же его взгляды, высказываемые теперь, отличались от тех, которые были изложены в «Discorso Loggogno» и в «Диалоге»? Ведь между теми и другими была эпохея осады Флоренции и радикальнейших по тому времени политических и социальных опытов республики. Отличия большие, хотя классовое существо взглядов Гвиччардини осталось то же. Господствовать должна его группа, но уже без всякого содействия со стороны lo universale, которому в прежних проектах оставлялся, хотя и с ограниченными правами, Большой совет. Теперь Гвиччардини говорит прямо и резко: «Правление должно быть таково, чтобы должности и выгоды (onori e utili) распределялись между друзьями, а тем, кто не сочувствует, хватит, что их не будут теснить несправедливо» (II, 363). Мало того: если бы не необходимость сохранять lo universale, чтобы не оставить город без промыслов и без доходов, стоило бы взгреть его как следует (batterlo gagliardamente, II, 363). Народу нужно предоставить возможность заниматься делами, но давать за это нужно ровно столько, чтобы в городе не прекратилась хозяйственная жизнь (II,

371). Устанавливать неограниченную власть в данный момент не следует. Ее время придет через пятьдесят или сто лет. Теперь такая крутая перемена может вызвать панику, а паника парализует хозяйственную предприимчивость (*serga la industria*), ибо не правится никому. Осуществлять эту перемену нужно постепенно, а не сразу (II, 373—374). Итак, «самое важное — создать партию, сторонничество людей лучших и наиболее достойных, которые таковыми считаются и таковыми являются, чтобы все говорили: партия Медичи — это знать (*la nobilità* — дворянство), противоположная правлению толпы и черни» (II, 375).

Что народ еще раз удостоился презрительной клички, неудивительно, — у Гвиччардини никогда не бывало по-другому. Удивительно — и симптоматично, — что, протестуя против немедленного учреждения неограниченной власти во Флоренции, он ту группу, которая будет поддерживать Медичи, называет знатью или дворянством, т. е. предвидит уже, что землевладение в новых условиях установившейся феодальной реакции будет главной основой медичейского принцата. Это именно то, чего так опасался Макиавелли.

Климент, как и следовало ожидать, не внял голосу Гвиччардини. Пока город «оздоравлился» путем террора, он предоставлял своим друзьям, бывшим эмигрантам, полную свободу. Он не имел ничего против того, чтобы ужас кровавого усмирения, казней, изгнаний, конфискаций пал на Баччо, Валори, решительного и буйного, но недалекого человека и на тех, кто разделял его власть. Сам он умывал руки с иезуитскими гримасами и со словами смирения.

Рантьерская группа приняла на себя горькую ответственность за террор, посорившую ее надолго с остальной частью буржуазии; но, когда она потребовала за это расплаты в виде доли во власти и в ее выгодах, Климент все с теми же мезунтскими ужимками и лицемерными словами дал им понять, что это невозможно и что его решение создать во Флоренции принципат неизменно. Кое-что он готов был дать каждому из руководящих деятелей реставрации, но — индивидуально. Считаться с ними, как с политической группой, стоявшей на пути его заветных планов, он не желал ни в каком случае. Настал ведь момент, когда он должен был если не для себя, то для своей династии вкусить плоды бесконечных унижений, бед и несчастий, которые он пережил. Как мог он позволить, чтобы какая-нибудь группа вырвала у него из рук эти плоды?

Он рассудил верно, что если уступить крупной буржуазии, то будет упущен момент, наиболее подходящий для установления принципата. Папа знал не хуже Гвиччардини, что когда обстоятельства благоприятствуют чему-нибудь, то медлить не следует, а нужно действовать круто и решительно. И понимал, что даже крупная буржуазия, не говоря уже о других группах флорентийского общества, сопротивляться ему не в состоянии. Обусловливалось это, конечно, тем, что Флоренция осталась совершенно без денежных ресурсов, и сам Франческо в письмах к Ланфредини раскрыл этот факт с непревзойденной убедительностью.

Мы видели, какие потери понесла флорентийская буржуазия в дни Коньякской Лиги и при разгроме Рима. Осада стоила еще дороже, ибо, если

даже не считать разрушений, произведенных самими гражданами в окрестностях города и имевших стратегические цели, и не принимать во внимание колоссальных прямых расходов на жалование войскам (оно во время блокады тратилось почти целиком в городе),— осада нанесла смертельный удар самому основному источнику флорентийского богатства: крупной промышленности. Пока она оставалась в неприкосновенности, пока не были уничтожены орудия производства, город мог быстро оправиться от любых денежных потерь. После осады это уже стало невозможным. Флоренция обеднела, а бедная Флоренция не могла сопротивляться наступлению принципата и защищать республиканский строй. Самые убедительные доводы Гвиччардини в глазах папы были не более как беллетристкой, интересной, но беспильной. Республика была осуждена, и самостоятельная политическая роль крупной буржуазии во Флоренции была кончена.

Когда это выяснилось окончательно, Франческо нечего стало делать во Флоренции. В июне 1531 года он отправился папским вице-легатом в Болонью: нужно было немного поправить расстроенные дела, *opori e utili* ставовились недоступны¹. В Болонье он оставался до смерти Климента (сентябрь 1534). За это время герцог Алессандро осуществил программу папы. Преобразование государственного строя Флоренции в направлении от коммуны к бюрократическому принципату, начатое при Лоренцо Урбинском Горо Гери, продолжалось с возрастающей энергией. Рантьерской буржуазии приходилось мириться с тем, что

¹ См. *A. Rossi*, указ. соч., I, 257 и 269—275.

уже нет у правительства «друзей» и «несочувствующих», что *onori e utili* не идут в дележку «друзьям» что на долю остальных приходится кое-что побольше, чем свобода от несправедливых — только несправедливых — угнетений. При помощи нового чиновничества — идея Горо Гери — секретарей и аудиторов власть добилась, что судопроизводство перестало быть откровенно партийным и появилась некоторая более беспристрастная линия в обложении. Чиновничество в отличие от прежнего не было связано с общественными группами и целиком зависело от герцога¹. Лоренцо в 1516 году еще нуждался в поддержке рантьерской буржуазии для осуществления своих планов. Алессандро обходился без нее.

Преемник Климента, Павел III Фарнезе, не был другом Гвиччардини; он дал ему понять, что курия не нуждается больше в его услугах. Франческо пришлось покинуть Болонью с некоторым скандалом. То, что он нашел во Флоренции, было совсем не похоже на то, что он проектировал в записках 1531 года. Наоборот, это было как раз то, против чего он предостерегал Климента. Но не в его правлах было протестовать и противодействовать. Он примирился, стал помогать Алессандро, получил ряд должностей доходных, но не влиятельных. И писал друзьям: «Меня удовлетворит всякая (форма правления), лишь бы она обеспечивала власть и величие Медичи. Многие из нас отныне зависят от них в такой мере, что было бы безумием, если бы кто не сумел воспользоваться этим счастьем»².

¹ См. *Anzilotti*, указ. соч., стр. 122—125.

² К Ланфредини, цит. у *Rossi*, II, 40.

Алессандро ценил Гвиччардини, как человека больших способностей и очень стоворчивого. Он осыпал его ласковыми словами и в самый трудный момент своей карьеры, когда ему пришлось оправдываться перед императором в обвинениях, выдвинутых против него эмигрантами — в Неаполе, в январе 1536 года, — он поручил написать свою защиту именно ему, и Франческо написал: умно и убедительно, как умел он один. Эмигранты тяжбу проиграли, и едва ли не в этом была главная причина ненависти, преследовавшей Гвиччардини в писаниях современников. Ибо защита Алессандро толковалась, как защита тирании и как новая измена родине.

Франческо понимал, что милости Алессандро — уже не прежние милости, которые добывались политической борьбой и победою партий, а самые настоящие подачки государя придворному. Это сознание должно было быть ему очень тягостно. Поэтому, когда год с небольшим спустя после неаполитанского судьбища Алессандро пал под кинжалом Лоренцино Медичи, Франческо, как и его друзья, воспрянул духом и решил, что можно еще повернуть конституционную эволюцию Флоренции на старые пути. Ему принадлежала мысль предложить наследие Алессандро юному Козимо Медичи, сыну Джованни, старого соратника времен Кошьякской Лиги. И на определенных условиях. Мысль была правильная. Ситуация ведь в 1537 году была совершенно иная, чем в 1530 году. Не было папы Медичи, воля которого решала тогда все. У Козимо не было никаких прав, ибо у Алессандро был прямой наследник. Все говорило, за то, что он должен был принять предлагавшуюся ему избирательную капитуляцию. И Ко-

Козимо принял: ведь престол свалился ему с неба. Он обещал все, чего от него требовали, лишь бы получить власть. Он не настаивал на герцогском титуле, которого не хотели ему давать. Он соглашался вернуть эмигрантов, в которых Гвиччардини правильно ожидал встретить поддержку своим конституционным замыслам. Он не противился удержанию во власти Флоренции крепостей, которые, согласно тайному договору между Карлом V и Алессандро, должны были быть переданы Испании в случае смерти герцога. Он даже готов был жениться на одной из многочисленных дочерей Гвиччардини. А когда власть оказалась в его руках, Козимо одним ловким ходом опрокинул всю хитроумную махинацию умнейшего из итальянских политиков. Он целиком оперся на императора, который тоже целиком стал на его сторону, так как видел в затеях старых политиков тенденцию ослабить зависимость от него Флоренции.

Картина мгновенно переменялась. Крепости остались в руках у испанцев. Эмигрантам было оказано в амнистии, а когда они попытались вернуться силою, их отряд был уничтожен при Монтемурло. Кто не погиб, был взят в плен; несколько дней спустя были обезглавлены Баччо Валорци, организатор белого террора в 1530 году, с сыном и тремя друзьями, а позднее умер в тюрьме Филиппо Строцци и едва ли собственной смертью. Герцогский титул Козимо получил. Конституционные ограничения так и не вошли в жизнь.

Одним из результатов этого поворота было то, что Гвиччардини попал в полную немилость. Не только не было уже вопроса, что Козимо женится на его

дочери, но положение создалось такое, что самое пребывание во Флоренции стало для Гвиччардини пестершимо. Он уехал в деревню, в свою виллу в Арчетри, и там почти безвыездно провел последние три года своей жизни. В мае 1540 года он умер, причем подозревали отравление.

XII

Нетрудно представить себе, в каком состоянии провел Франческо эти последние годы. Политические идеалы его рушились. Мечты разлетелись. Больше уже не за что было ухватиться. Ни во Флоренции, ни в Риме и нигде вообще в Италии места в общественной работе для него не было. Он был выбит из жизни, и на этот раз окончательно. Теперь было гораздо хуже, чем в 1529 году. Правда, теперь он был обеспеченным человеком, но обеспеченность была единственным из благ, которое ему удалось спасти. И оно казалось таким ничтожным по сравнению с тем, что было утрачено.

Франческо весь ушел в работу. Он думал о прошлом, о прожитой жизни, о первых успехах, о дворе Фердинанда Католика, о пышном генерал-губернаторстве в Романьи, о Копьякской Лиге, которую он создавал, о походах и о друзьях, с которыми вместе дрался за свободу и независимость Италии: о Джованни Медичи, погибшем в бою, о Инкколо Макнавелли, который умел зажигать его своим внутренним пламенем и своей энергией. Их было так немного, друзей И никого не осталось. Не у кого было зачерпнуть немного бодрости и хоть каплю веры в будущее. Все было темно, кругом и впереди.

И Франческо работал. Он писал «Историю Италии». Когда Монтэнь познакомился с этой огромной книгой, он записал свое впечатление¹: «Говоря о стольких людях и о стольких действиях, о стольких движениях и решениях (*conseils*), он (Гвиччардини) ни одного не относит на долю добродетели, веры и совести, как будто эти вещи исчезли со света. И как бы ни казались сами по себе прекрасны некоторые действия, причины их он ищет в какой-нибудь порочной случайности или в каком-нибудь утилитарном соображении. Невозможно представить себе, чтобы среди бесконечного количества поступков, которые он судит, не нашлось ни одного, в основе которого лежало бы хорошее побуждение (*la raison*). Никакое нравственное разложение не может охватить людей так безраздельно, чтобы хоть кто-нибудь не спасся от заразы. Все это заставляет меня думать, что в нем был какой-то изъян в его собственном вкусе (*qu'il y aye un peu du vice de son goust*) и что, быть может, он судил о других по самому себе».

Франческо был человеком вполне нормальным, и о других он не судил по себе: такой чести он человечеству не оказывал. Он просто был весь охвачен пессимизмом, самым мрачным и беспросветным. Только теперь по-настоящему переживал он горе от ума. Люди, не обладавшие его огромным умом, жили и не приходили в отчаяние, а он, который всю жизнь был уверен, что со своими правилами он пристанет к счастливому берегу, он, который так верил в силу рассудка, в чудеса жизненного опыта, в практичность, тонкость, уловчивость, такое потерпел крушение!

¹ «Essays», II, 10.

«История Италии» была мстью родные, его отвергшей, судьбе, ему изменившей, счастьем, от него отвернувшимся. В годы невольного сидения в Финоккетто в 1529 году, когда он писал последние свои «Ricordi»¹; он не потерял еще всех надежд, что-то еще светилось впереди. Теперь все погасло. И когда пессимистические мысли «Ricordi» стали распределяться по страницам «Истории Италии», ему уже казалось, что в них чересчур много идеализма и веры в людей. Поэтому, если извлечь из «Истории» все моральные афоризмы и вытянуть их в ряд, как в «Ricordi», то такое их дополненное издание будет еще более мрачным, чем то, которое мы знаем.

Пессимизм и ощущение безнадежности, в котором умер Франческо, были уделом не его одного. Они были уделом всей крупной итальянской буржуазии. Как был выбит из жизни Франческо, так была выбита она вся. Она, создавшая цветущие коммуны в Средние века, накопившая столько богатств, подарившая миру и человечеству неисчислимы сокровища культуры и творчества в эпоху Возрождения,— осталась не у дел и лишь в Венеции продолжала существовать приобретенным раньше. Феодальная реакция задушила ее, нанесла ей удар, от которого она так и не оправилась. Ибо там, где она сумела сохранить часть своих прежних капиталов, она должна была — Гвиччардини сказал это, мы знаем — превратиться в знать, т. е. в *сословие*, прикованное короткой цепью к трону государя, лишённое свободы жить, богатеть и биться за право политического властвования, которая принадлежала ей до тех пор.

¹ Те, которые идут первыми по порядку: 1—221.

Гвиччардини был самым блестящим ее представителем. Оттого так тяжело переживал он ее конец. И его собственное жизненное крушение было окутано в его глазах такой черной безнадежностью оттого, что он сознавал его, как эпизод крушения всего своего класса.

Только этим и можно объяснить те особенности «Истории Италии», которые так беспощадно верно отметил Монтэзи¹.

А. Дживелегов



¹ Перевод отрывков из «За сток» во вступительной статье и в тексте не вполне совпадает *только* потому, что автор статьи и переводчик работали одновременно, а приводить к единству цитаты *потом* потребовал бы очень большой и мало продуктивной работы. У читателя будут таким образом перед глазами небесполезные варианты:

ФРАНЧЕСКО ГВИЧАРДИНИ

**ЗАМЕТКИ О ДЕЛАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
И ГРАЖДАНСКИХ**



1. Если люди благочестивые говорят, что кто имеет веру творит великие дела; и если сказано в евангелии,— кто имеет веру, тот может двигать горы и т. д., то это потому, что вера дает упорство. Верить — значит не что иное, как иметь твердое мнение и даже уверенность в вещах вне разумных, а если вещи эти постигаются разумом, то верить в них с большей решительностью, чем разум в том убеждает. Итак, кто имеет веру, тот в ней упорен, он вступает на путь свой бесстрашно и решительно, презирает трудности и опасности и готов терпеть до последней крайности. Так как дела мира подвержены тысячам случайностей, то

благодаря долному течению времени, может прийти неожиданная помощь тому, кто упорствовал до конца; причиной этого упорства была вера, и потому справедливо говорится: кто имеет веру, творит дела великие. Пример этого в наши дни — величайшее упорство флорентийцев, которые, ожидая вопреки всякому рассудку, войны между императором и папой, без надежды на чью-нибудь помощь, разьединенные, среди тысячи трудностей, — семь месяцев выдержали за стенами натиск войск, когда никто бы не поверил, что они выдержат семь дней¹; если бы дела обернулись так; что флорентийцы победили бы, никто бы уже не удивился, а вначале все считали их погибшими; причиной упорства их была во многом вера в предсказание Фра Джироламо из Феррары, что они погибнуть не могут².

2. Некоторые князья, отправляя послов, полностью сообщают им свою тайну и желанную цель переговоров с другим князем, к которому послы направляются. Другие считают за лучшее открыть послам только то, в чем посол, по желанию их, должен убедить другого князя; если они хотят его обмануть, им кажется необходимым обмануть сперва собственного посла, который служит им средством и орудием как переговоров, так и убеждения другого князя. И то, и другое мнение по-своему справедливо. С одной стороны, послу, знающему, что его князь хочет обмануть другого, как будто трудно говорить с тем же жаром и твердостью, как если бы он верил, что переговоры ведутся иск-

ренне и без притворства,— не говоря уже о том, что он может по легкомыслию или лукавству открыть замыслы своего князя; если бы он ничего о них не знал, это было бы немислимо. С другой стороны, если сделка притворная, а посол верит, что она настоящая, он часто идет гораздо дальше, чем это нужно по делу. Когда посол верит, что его князь действительно хочет достигнуть известной цели, он часто пренебрегает в переговорах теми доводами и уступками, на которые он мог бы пойти, если бы знал действительную суть дела. Почти невозможно дать послам такие точные указания, которые вводили бы их во все подробности, и если осторожность не научит их приспособляться к цели, поставленной им вообще, то человек, которому не все известно, сделать этого не может, и таким образом ему легко тысячу раз ошибиться. Мое мнение, что князь, имеющий послов разумных и преданных, зависящих от него настолько, что им незачем зависеть от других, лучше сделает, если раскроет им свой замысел; если же князь не уверен, что послы вполне таковы, то менее опасно не всегда им открываться и поступать так, чтобы, убеждая в чем-либо других, начать с того, чтобы убедить в этом собственного посла.

3. Известно по опыту, что даже могучие князья испытывают великую нужду в хорошо подготовленных советниках; никто не станет этому удивляться, если это бывает с князьями, не настолько рассудительными, чтобы уметь распознавать людей, или настолько скупыми,

что не желают их вознаграждать. Но вполне можно удивляться, когда это случается с князьями, не имеющими этих двух недостатков; ибо все видят, как много людей всякого рода хотят им служить и как просто князьям этих людей благодетельствовать.

Все это, однако, не должно особенно удивлять того, кто посмотрит на дело глубже; ведь советник князя, — я говорю о тех, которые должны вершить большие дела, — должен отличаться необыкновенными способностями, а такие люди — величайшая редкость; кроме того, он должен быть человеком необычайной верности и честности, а это качество, может быть, еще реже, чем первое. Таким образом, если не легко находятся люди, наделенные одним из этих двух свойств, то насколько реже находятся люди, обладающие ими обоими. Князь, разумный и не ограничивающийся только будничными мыслями о необходимом, мог бы уменьшить эту трудность; зная все наперед, он выбирал бы советников, еще не вполне подготовленных, которые на опыте учились бы от случая к случаю, воспитывались бы на этом, привыкли бы таким образом к делам и целиком отдавали бы себя его службе; ведь трудно сразу найти людей того склада, о котором говорилось выше, но можно вполне надеяться, что со временем удастся их выработать.

Хорошо известно, что светские князья, когда они об этом должным образом постараются, скорее находят советников, чем папы; происхо-

дит это от большего уважения к светскому князю и от надежды, что на службе его можно пробыть долго, так как правление светского князя обычно продолжительнее, чем папское, а наследник его — это почти то же, что он сам; наследник может легко ввериться тем, кто работал или начал работать при его предшественнике. К тому же эти люди, как советники светского князя, как подданные его или по крайней мере взысканные его милостями, должны, чтобы существовать, всегда считаться с ним, бояться как самих князей, так и преемников их; этих причин при папском правлении не существует, так как папы властвуют, обычно, недолго и у них нехватает времени, чтобы выводить новых людей; нет здесь и тех причин, которые позволяют вверяться людям, окружавшим предшественника; советники пап — это выходцы из разных стран, не связанные с папским престолом; выгоды их от князя и преемников его не зависят; они не боятся нового первосвященника и не надеются продолжать при нем свою службу: таким образом, если подойдет опасность, можно опасаться, что они окажутся более неверными и менее приверженными к своему господину, чем люди, служащие светскому князю.

4. Если князя, когда им вздумается, не считаются с своими слугами и во имя самого мелкого интереса своего показывают им презрение или прогоняют их, то может ли гневаться или жаловаться господин, что слуги покидают его или выбирают себе то, что им

выгоднее, лишь бы они не изменяли долгу верности и чести.

5. Если бы люди были достаточно благоразумны и преданы, то господин должен был бы пользоваться всяким случаем, чтобы оказывать своим слугам всякое благодеяние, какое только возможно; однако опыт показывает, и я испытал это с моими слугами на себе, что когда все у них есть или когда господину не представляется случая делать им то же добро, что и прежде, они его бросают. Кто думает о своей выгоде, у того рука должна быть жесткой, и со слугами своими он должен быть скорее скуп, чем щедр, удерживая их больше надеждой, чем делами; надежда может обмануть, поэтому необходимо изредка щедро одарять кого-нибудь из них и этого довольно; надежда в людях от природы много сильнее страха; людей больше утешает и укрепляет пример одного облагодетельствованного, чем устрашает пример многих, с которыми обращаются дурно.

6. Великая ошибка говорить о делах человеческих, не делая ни различий, ни оговорок и рассуждая, так сказать, правилами; ведь почти во всех делах благодаря изменчивости условий существуют различия и исключения, так что нельзя мерить их одной и той же мерой; в книгах эти различия и исключения не записаны, но познанию их должна учить рассудительность³.

7. Будьте осторожны, чтобы не сказать в разговоре без нужды таких вещей, которые при передаче могут не понравиться другим; такие.

слова, часто не продуманные во-время и должным образом, сильно вредят вам же; говорю вам, будьте очень осторожны; ведь многие, даже мудрые люди, в этом ошибаются и трудно от этого удержаться; но чем трудности больше, тем богаче вознаграждается тот, кто знает, как поступать.

8. Если нужда или гнев заставит вас говорить оскорбительные вещи другому, остерегайтесь по крайней мере сказать что-нибудь обидное не только для него; например, если вы хотите оскорбить кого-нибудь, не говорите дурно о его земляках, семье и родных, ибо великое безумие оскорблять многих, когда хочешь обидеть одного.

9. Читайте *эти* заметки часто и обдумывайте их как следует, потому что познать и понять их легче, чем следовать им; это облегчается, если свыкнуться с ними настолько, чтобы они всегда свежи были в памяти.

10. Не полагайтесь всецело на природный ум и не убеждайте себя, что достаточно его одного без участия опыта; ведь всякий, кто только соприкасается с делами, будь он умнейший человек в мире, мог познать, что опытом достигается многое, к чему не могут привести одни только природные дары.

11. Пусть неблагодарность многих не отпугивает вас от того, чтобы делать людям добро; ведь помимо того, что благотворение само по себе и без всякой другой цели — дело благородное и почти божественное, но, делая добро, встречаешь иной раз в ком-нибудь одном столь-

ко благодарности, что это вознаграждает за всю неблагодарность других.

12. У всех народов встречаются почти те же или схожие пословицы, только сказанные другими словами; причина этого в том, что пословицы рождаются из опыта или из верного наблюдения вещей, которые всюду одинаковы или схожи.

13. Кто хочет узнать мысли тиранов, пусть читает у Корнелия Тацита рассказ о последних беседах умирающего Августа с Тиберием⁴.

14. Нет ничего драгоценнее друзей; не теряйте поэтому случая приобретать их, когда только можете; ибо встречаются люди часто, друзья полезны, а враги вредят там, где ты этого никогда бы не ждал, и в такие минуты, когда ты об этом и не думал.

15. Как все люди, я хотел почета и выгоды; много раз достигал я даже большего, чем хотел или рассчитывал, и все же удовлетворения в той мере, как я себе это представлял, я не нашел в этом никогда; подумайте — и вы поймете, что после этого нечего считаться с пустой человеческой алчностью.

16. Величия и почестей обычно желают все, ибо все, что есть в этом хорошего и привлекательного, предстает снаружи и бросается в глаза, а заботы, труды, тягости и опасности скрыты и незаметны; если бы они проявлялись, как проявляется добро, у нас не было бы никаких причин мечтать о величии, кроме одной, что чем больше окружены люди почестями, почитанием и поклонением, тем ближе они ка-

жуются к богу и становятся как бы с ним сходными, а кто же не хотел бы ему уподобиться⁵.

17. Не верьте людям, которые говорят, что они добровольно, из любви к покою, отказались от дел и мирского величия, так как почти всегда это произошло по их легкомыслию или по необходимости; на опыте видно, что почти все эти люди при первом намеке на возможность вернуться к прежней жизни, отказываются от прославленного покоя и бросаются вперед с яростью огня, пожирающего сухие и густо смазанные вещи.

18. Корнелий Тацит очень хорошо учит людей, живущих под управлением тирана, как им жить и как осторожно надо себя вести,—самых же тиранов он учит, как основывать тиранию.

19. Заговоры невозможны без участия других,—следовательно, это дело опаснейшее; люди большей частью неосторожны или злы, а потому слишком страшно окружать себя подобными лицами.

20. Для заговорщика, стремящегося к счастливому исходу своего дела, нет ничего более губельного, чем стремление к чрезмерной безопасности и слишком большой расчет на успех; ведь тот, кто захочет вести дело таким образом, должен вовлечь в него больше людей, употребить больше времени, искать удобного случая, а все это ведет к тому, что заговор раскроется. Вы видите, как страшны заговоры, потому что здесь опасно все, что в других случаях предохраняет людей; причина, как мне кажется,

в том, что судьба, столь могущественная в этих делах, гневается на тех, кто так старается укрыться от ее мощи.

21. Я не раз говорил и писал, что Медичи потому лишились власти в 1527 году, что во многих случаях пользовались приемами свободного правления; и допускал, что народ мог бы лишиться свободы, если бы он во многих случаях стал править, пользуясь приемами тирании⁶. Заключение эти строятся на том, что если Медичи, правление которых было ненавистно всему городу, хотели удержаться, они должны были опираться на друзей им преданных, т. е. на людей, которым их правление приносило бы достаточную выгоду, а люди эти, с другой стороны, должны были бы знать, что они пропали и не могут оставаться во Флоренции, если только Медичи будут изгнаны. Этого не могло получиться, так как Медичи щедро раздавали почести и выгодные места, не желая делать из этого признак особенного благоволения друзьям и родне и стараясь показывать, что они обходятся со всеми одинаково. Крайность в таких делах заслуживала бы сурового осуждения, но, даже избегая ее, Медичи не создали для своей власти опоры в лице преданных им друзей; если они даже нравились всем, этого было достаточно, ибо, с другой стороны, так крепко засело в сердцах людей желание вернуться ко временам Большого совета⁷, что вырвать его не могли никакая мягкость, никакая снисходительность, никакое угождение народу. О друзьях же можно сказать, что

если власть эта им нравилась, то все же не настолько, чтобы они согласились ради нее подвергаться опасностям; надеясь на то, что при разумном поведении можно будет спастись по примеру 1494 года⁸, они скорее готовы были предоставить вещам идти своим ходом, чем выдерживать бурю.

Совершенно обратно должна поступать власть народная. В общем ее во Флоренции любят, но это не машина, точно работающая по указанию одного или немногих, и она каждый день действует по-разному, вследствие многочисленности и невежества людей, участвующих в деле правления. Поэтому, если такая власть хочет удержаться, она должна быть приятной для всех и, насколько может, избегать раздоров между гражданами; если она не умеет или не в силах их заглушить, раздоры открывают дорогу переменам правления. Власть действительно должна соблюдать во всем справедливость и равенство; так создается безопасность, обеспечивается общая удовлетворенность и закладывается основа для сохранения народного правительства, опирающегося не на малочисленных приверженцев, с которыми оно не способно править, а на бесчисленных друзей; если народная власть начинает править как тиран, то удержать ее возможно, только превратив правление народа в другую форму власти; это не сохраняет свободу, а разрушает ее.

22. Сколько раз говорится: если бы было поступлено так или иначе, произошло бы то или другое; люди узнали бы, что подобные мне-

ния ложны, если бы можно было проверить их на деле.

23. Будущее так обманчиво и подвержено таким случайностям, что даже очень мудрые люди большей частью на этот счет ошибаются; если записать их суждения, в особенности суждения о подробностях, ибо общие черты событий схватываются чаще, окажется, что разница между ними и другими людьми, считающимися не столь мудрыми, очень мала. Поэтому упускать благо, которое у тебя в руках, из боязни будущего зла,— это большей частью безумие, если только зло не достоверно известно, или не близко, или по сравнению с благом не слишком велико; иначе ты очень часто теряешь возможное благо из страха, который потом оказывается пустым.

24. Нет ничего более преходящего, чем память об оказанных благодеяниях; поэтому рассчитывайте на тех, кто поставлен в такие условия, что не может отказать вам в благодарности, а не на тех, кого вы облагодетельствовали; ведь они часто или не помнят об этих благодеяниях, или считают, что благодеяния были не так велики, или думают, что они были оказаны по обязанности.

25. Остерегайтесь делать людям приятное, если для этого нужно в равной мере причинить неприятное другим; ведь обиженный не забывает,— напротив, он преувеличивает обиду; облагодетельствованный не помнит, и ему кажется, что он облагодетельствован меньше, чем на самом деле; поэтому, предполагая другие условия

равными, убыток оказывается гораздо больше прибыли.

26. Люди должны были бы считаться гораздо больше с существом и последствиями дела, чем с внешними формами, и тем не менее трудно поверить, до чего связывает каждое благосклонное или любезное слово; поэтому каждый считает себя достойным величайшего уважения и впадает в гнев, если ему кажется, что ты не отдаешь ему должное в той мере, в какой он, по убеждению своему, этого заслуживает.

27. Обезопасить себя по-настоящему от человека, в котором ты сомневаешься, можно лишь при таком положении вещей, чтобы он не мог тебе вредить, если бы даже и хотел; обманчива безопасность, которая зиждется на воле других, и это свидетельствует о том, как мало доброты и верности в людях.

28. Не знаю, кому больше, чем мне, противны честолюбие, жадность и изнеженная жизнь духовенства, как потому, что пороки эти отвратительны сами по себе, так и потому, что каждый из них в отдельности и все они вместе мало подходят к людям, жизнь которых, по словам их, отдана богу, и, наконец, потому, что все эти пороки до такой степени противоположны, что совмещаться они могут разве лишь в очень странном человеке. Тем не менее, высокое положение, которое я занимал при нескольких папах, заставило меня любить их величие ради моего собственного интереса; не будь этого, я любил бы Мартина Лютера как самого себя, не для того, чтобы избавиться от правил христи-

анской религии, как она обычно толкуется и понимается, а ради того, чтобы видеть, как скрутят эту шайку злодеев, т. е. как им придется или очиститься от пороков, или остаться без власти⁸.

29. Я много раз говорил, и это несомненнойшая правда, что флорентийцам труднее управляться с своими небольшими владениями, чем венецианцам с обширными; происходит это от того, что флорентийцы живут в стране, где все более проникнуто свободой и очень трудно искоренить этот дух; поэтому победа дается лишь с величайшими усилиями и не менее трудно удержать побежденных в покорности. Кроме того, с флорентийцами соседствует церковь, могучая и никогда не умирающая, и если ей иной раз приходится тяжело, она в конце концов идет к своей цели тверже, чем раньше. Венецианцам же достались земли, где все привыкли подчиняться, и не знают упорства ни в самозащите, ни в мятеже; к тому же соседями их были светские князья, которые не вечны ни сами по себе, ни в памяти людей.

30. Кто всматривается в вещи как следует, не может отрицать величайшего могущества судьбы в делах человеческих, ибо мы видим, что обстоятельства случайные ежечасно дают им сильнейшие толчки, и не во власти людей предупредить или избежать их; правда, осторожность и старания людей могут многое смягчить, но одного этого все же мало, необходимо еще и счастье.

31. Даже те, кто приписывает все мудрости и дарованиям человека и, насколько возможно исключает силу судьбы, должны сознаться, что очень важно попасть или родиться в такое время, когда высоко ценятся дарования или качества, которыми ты в себе дорожишь; это видно по примеру Фабия Максима, которому природная медлительность потому и создала такую славу, что качество это проявилось в войне, где горячность была губительна, а медленность полезна; в другое время, могло бы случиться обратное. Значит, счастье его было в том, что в его времена требовались именно те качества, какие в нем были; кто мог бы, однако, менять природу свою по условиям времени, т. е. сделать самое трудное и почти невозможное, тот был бы тем менее подвластен судьбе.

32. Нельзя осуждать честолюбие и порицать честолюбца, который жаждет достичь славы путями честными и достойными; напротив, все честолюбивы, кто творит дела великие и славные. У кого нет этого желания, тот человек духа холодного и склонен больше к праздности, чем к деятельности. Гадко то честолюбие, единственная цель которого — собственное величие, как обычно бывает у князей: создав себе этот кумир, они, ради приближения к цели, легко разделяются с совестью, честью, человечностью и всем прочим.

33. Есть пословица, что богатство несправедливое идет в прок только до третьего колена. Если это происходит оттого, что нечист источник богатства, казалось бы, еще менее должно бы

оно итти впрок тому, кто его несправедливо нажил. Еще отец мой говорил мне, что, по словам блаженного Августина, нет такого злодея, который не сделал бы какое-нибудь добро, а потому бог, не оставляющий никакого добра без вознаграждения и никакого зла без наказания, позволяет такому человеку в воздаяние за его добро наслаждаться в этом мире, с тем, чтобы в полной мере наказать его за зло в мире ином. Непонятно все же, почему богатство несправедливое должно быть искуплено и не сохраняться дальше третьего колена. Я отвечал отцу, что не знаю, верно ли это, ибо можно привести из опыта не мало случаев обратного; однако, если бы это даже было верно, можно найти здесь другую причину; ведь естественная изменчивость дел мира сего приводит к тому, что где богатство, там и бедность, и чаще бывает это у наследников, чем у хозяина, ибо чем больше проходит времени, тем легче такое превращение. Наконец, хозяин, т. е. тот, кто нажил богатство, больше его любит; раз он сумел его скопить, он знает, как его сохранять и, привыкнув жить на малое, не расточает его; у наследников же нет этой любви к тому, что досталось им дома без труда, они уже воспитаны в богатстве, не учились искусству копить, а потому что удивительного, если от расточительности или неумения вести дело они выпускают его из рук?

34. Все, что должно закончиться не одним ударом, а от истощения сил, длится гораздо дольше, чем человек обычно воображает. Посмотрите, например, на чахоточного, про кото-

рого думают, что он уже при последнем издыхании, а он живет еще даже не дни, а недели и месяцы; так же и в городе, доведенном до крайности осадой, каждый всегда обманывается насчет того, сколько осталось продовольствия.

35. Как отлична практика от теории! Как много людей, хорошо все понимающих, которые либо забывают, либо не умеют претворить в действие свое знание! Для таких людей ум их бесполезен; это все равно, что иметь в ларце клад и обязаться никогда его оттуда не вынимать.

36. Кто надеется приобрести расположение людей, пусть знает заранее, что никогда не следует прямо отказывать в просьбе, а надо отвечать общими словами; ведь тому, кто просит часто, уже не нужны твои услуги, а кроме того являются препятствия, которые всегда тебя оправдают. Кроме того, люди так просты и так легко позволяют убаюкивать себя словами, что, даже не делая ничего для себя неудобного или невозможного, ты часто, благодаря одной только ловкости ответа, вполне удовлетворишь того, кто всегда остался бы тобой недоволен, если бы сразу получил отказ.

37. Отрицай всегда то, что по-твоему не должно быть известно, и утверждай то, чему люди по-твоему должны верить; пусть многое тебя изобличает, пусть будет против тебя почти достоверность, но смелое утверждение или отрицание часто привлекает ум слушателя на твою сторону.

38. Могущественнейшему дому Медичи с его двукратным папством много труднее удержать власть над Флоренцией, чем это было простому гражданину Козимо; помимо его необычайного могущества, этому способствовали и условия времени, так как Козимо приходилось бороться за власть с могуществом немногих, не вызывая противодействия народа, не ведавшего свободы⁹; наоборот, при всех распрях между знатными и при всех переменам выдвигались люди среднего и даже самого низкого состояния. Теперь же, когда люди узнали, что такое Большой совет, речь идет не о том, чтобы взять или удержать власть, захваченную четырьмя, шестью, десятью или двадцатью гражданами, а о правлении всего народа, который так стремится к свободе, что никакая мягкость, никакое угождение, никакое превознесение народа со стороны Медичи или других властителей не позволяет надеяться, что он о ней забудет.

39. У нашего отца были такие удачные сыновья, что он в свое время считался всеми самым счастливым отцом во Флоренции, и все же я много раз говорил себе, что отец, если принять в расчет все, получил от нас больше огорчений, чем радостей; подумайте только, что происходит, когда дети безумны, злы или подлы.

40. Великое дело иметь власть над другими. Кто умеет хорошо ею пользоваться, устрашает этим людей еще больше, чем своей силой; подданный, не зная, как велики эти силы, должен скорее решиться уступить, чем испытывать, можешь ты исполнить свои угрозы или нет.

41. Если бы люди были добры и разумны, то человек, поставленный над другими, должен был бы по справедливости применять мягкость, а не суровость, но так как они большей частью и не очень добры, и не очень разумны, то приходится больше полагаться на суровость, и тот, кто думает иначе, обманывает себя сам. Охотно признаю, что, если бы кто-нибудь мог соединить как следует то и другое и смешать их вместе, он создал бы то удивительное созвучие и ту гармонию, нежнее которой нет ничего на свете; однако, это такая милость, которую небеса даруют немногим, а, может быть, и никому.

42. Не дорожи приятною людей больше, чем славой. Когда исчезает слава, исчезает и человеческое доброжелательство, а вместо этого тебя начинают презирать; наоборот, у человека, слава которого премит, никогда не будет недостатка в друзьях, в приятни и доброжелательстве людей.

43. Во время своего управления я заметил, что, когда мне хотелось довести до конца такое дело, как мирные договоры, гражданские соглашения и т. п., то раньше, чем вмешаться в них самому, полезно было предоставить другим долго их обсуждать и вообще надо было действовать не торопясь; в конце концов партии, утомившись, начинают просить тебя уладить дело; когда тебя уже просят, то при влиятельности и бескорыстии ты можешь вести дело, за которое напрасно взялся бы вначале.

44. Делайте все, чтобы казаться добрыми,— это полезно в самых разнообразных случаях;

но ложные мнения непрочны, и вам будет трудно надолго прослыть добрым, если вы в самом деле не добры; об этом напоминал мне еще мой отец.

45. Он же, восхваляя бережливость, обыкновенно говорил, что один дукат в кошельке делает тебе больше чести, чем десять из него истраченных.

46. Во время моих наместничеств мне всегда были не по душе жестокость и слишком строгие наказания, да они и ненужны; ведь, помимо отдельных случаев, когда надо показать пример, достаточно для устрашения наказывать за проступки, считая, так сказать, пятнадцать солиди за лиру, но должно быть правило, что проступки наказываются все без изъятий.

47. Если ум слаб, то наука его не украшает, а, может быть, даже портит, но если она случайно встречает природу благодарную, то делает людей совершенными и почти божественными.

48. Нельзя править государствами по совести; если вдуматься в их происхождение, окажется, что все они порождены насилем,— свободны от насилия только республики, да и то лишь в пределах родного города и не дальше. Я не делаю из этого правила исключения для императора, а еще менее для духовенства, которое творит двойное насилие, так как принуждает и светским, и духовным оружием¹⁰.

49. Не говори никому о вещах, которые хочешь скрыть, ибо причины, побуждающие людей болтать, разнообразны; один поступает так по глупости, другой — из-за выгоды, третий —

из тщеславия, чтобы казаться всезнающим; и если ты без нужды сообщил другому свою тайну, не удивляйся, что тот, кто дорожит ее знанием меньше, чем ты, поступит точно так же.

50. Не добивайтесь перемен, если при этом меняются не порядки, которые тебе не нравятся, а одни только люди; такие перемены не дают удовлетворения; например, какой прок в том, чтоб устранить мессера Джованни да Поппи, если место его займет мессер Бернардо да Сан Миниато, человек того же положения.

51. Кто стремится во Флоренции к перемене правления и поступает так не по необходимости, а только потому, что ему запало в голову стать во главе правительства, поступает неразумно: ведь, если дело не удастся, он подвергает опасности себя и все, что у него есть; при успехе он получит разве малую долю того, на что надеялся. И какое безумие затевать игру, в которой можно неизмеримо больше проиграть, чем выиграть! Пожалуй, не менее важно и то, что перемена правления заставляет тебя вечно терзаться страхом новых изменений.

52. Известно по опыту, что все, кто помогал другому возвыситься, почти никогда не бывают очень приближены к новому властителю. Причина, как говорят, в том, что новый князь, знающий себе цену, боится, как бы у него в один прекрасный день не отняли то, что ему было дано. Однако здесь возможно и другое, не менее важное — именно, человек, которому кажется, что он заслужил многое, хочет боль-

шего, чем ему полагается; не получая этого, он становится недовольным; отсюда возникают между ним и князем злоба и подозрительность.

53. Если ты был виновником моего возвышения или помог мне стать князем, то ты сам уничтожаешь оказанную услугу, если хочешь, чтобы я правил по-твоему или согласился бы на такие вещи, которые умаляют мою власть, ибо ты стараешься целиком или частью отнять у меня плоды того, что сам помог мне приобрести.

54. Тот, кому приходится защищать города, должен поставить себе главной целью затянуть защиту насколько возможно, ибо, как говорит пословица,— у кого время, у того и жизнь; оттяжка приносит неисчислимыя выгоды, на которые вначале никто не надеялся и даже не думал о них.

55. Не траться в расчете на будущие доходы, потому что часто их не бывает или они оказываются меньше, чем ты рассчитывал; расходы, напротив, всегда растут, и ошибка, которая губит многих купцов, состоит именно в том, что они берут деньги у ростовщиков в расчете на большие барыши, а, когда их не получается или они запаздывают, купцам этим грозит опасность разорения из-за процентов; проценты же никогда не приостанавливаются и не уменьшаются, а только нарастают и съедают все.

56. Разумность хозяйства состоит не столько в умении воздержаться от расходов, потому что расходы часто необходимы, сколько в уме-

нии тратить выгодно, т. е. купить на прощ пятак.

57. Насколько астрологи счастливее других людей. Солгав сто раз, они раз скажут правду и приобретают такое доверие, что все верят их вздору; обыкновенный человек, солгавший один раз на сто, теряет доверие настолько, что никто не верит его правде. Происходит это от любопытства людей, которым хочется знать будущее, но средств для этого у них нет, и они готовы бежать вслед за всяким, кто обещает им его открыть.

58. Как хорошо говорит философ: *De futuris contingentibus non est determinata veritas!* Как ни вертись, а ты должен будешь признать, что вернее не скажешь.

59. Я говорил как-то папе Клименту, который пугался всякой опасности, что лучшее средство не бояться попустому — это помнить, сколько раз он в подобных случаях пугался напрасно; я вовсе не хочу, чтобы эти слова совсем отучили людей бояться, а только чтобы они приучили их не бояться постоянно.

60. Ум выше среднего дается людям на горе и муку; он оказывает им только ту услугу, что наполняет их жизнь тягостью и заботами, которых не знают люди более положительные.

61. Характеры людей разнообразны: одни так крепко надеются, что заранее уверены в том, чего у них нет; другие так боятся, что не надеются никогда, пока желанное еще не у них в руках. Я приближаюсь скорее ко вторым, чем к первым, и скажу, что люди с таким ха-

рактором обманываются реже, но живут мучительнее.

62. Народ и все неопытные люди обычно скорее дают увлечь себя, когда им дают надежду приобрести, чем когда показывают им опасность потерять; в действительности должно бы происходить обратное, так как более естественно стремление сохранить, чем приобрести. Причина этой ошибки в том, что надежда в людях обычно много сильнее страха; поэтому они часто не боятся там, где бояться нужно, и надеются там, где надеяться нечего.

63. Известно, что старики скупее молодых, а должно бы быть как раз обратное; ведь жить им осталось меньше, так что с них довольно и малого. Говорят, что причина этого в их робости; не думаю, чтобы это было верно; я видел многих стариков, которые были жесточе и развратнее если не по делам, то по желаниям, и больше мучились мыслью о смерти, чем люди молодые; причина этого, думается мне, в том, что чем дольше люди живут, тем больше к этому привыкают и сильнее привержены к делам мира сего; поэтому у них больше волнений и беспокойства.

64. До 1494 года войны тянулись долго, битвы были не кровавы, завоевания были делом медленным и трудным; правда, пушки уже были в ходу, но с ними обращались так неумело, что большого вреда они не причиняли; таким образом, если кто владел государством, то лишиться его было почти невозможно. Но пришли в Италию французы и внесли в войну

столько жара, что до 1521 года¹¹ кто проигрывал поход, тот лишался и государства; при защите Милана синьор Просперо¹² первый показал, как надо отбивать приступы, и пример его вернул властителям государств безопасность, которой они наслаждались до 1494 года, но по другим причинам; тогда она вытекала из того, что люди плохо владели искусством нападать, теперь она вытекает из того, что они хорошо владеют искусством защищаться.

65. Кто называл обозы «препятствием», не мог сказать лучше. Кто придумал поговорку: ему труднее сняться с лагеря, чем сделать то-то, сказал превосходно. Ибо собрать в одном лагере столько всего, чтобы он сдвинулся с места,— дело почти бесконечное.

66. Не верьте тем, кто так горячо проповедует свободу, ибо почти все они, а может быть вообще все, думают при этом о частных интересах; опыт же часто показывает, и это безусловно так, что если бы они надеялись найти для себя лучшие условия в самовластном государстве, они помчались бы туда на почтовых.

67. Нет в мире занятия или должности, для которой требовалось бы больше таланта, чем это нужно начальнику войск как по важности дела, так и по бесконечному разнообразию вещей, которые он должен обдумать и наладить; он должен предвидеть задолго и уметь исправлять сейчас же.

68. Невмешательство в войну хорошо для князя могучего, которому не надо бояться бу-

душего победителя; он сохраняет свои силы, не растрчивает их и может надеяться, что он выиграет от распрей между другими: вне этого, невмешательство легкомысленно и вредно, потому что отдает князя на добычу как победителя, так и побежденного. Хуже всего невмешательство, которое происходит не от обдуманного решения, а от нерешительности, т. е. когда ты сам не знаешь, хочешь ты остаться нейтральным или нет, и ведешь себя так, что не удовлетворяешь даже того, кто довольствовался бы тем, что ты обеспечил ему свой нейтралитет. Невмешательство этого рода свойственно больше республикам, чем князьям, так как оно часто происходит оттого, что нет согласия между людьми, которые должны решать; этот советует одно, тот — другое, и они никогда не могут сговориться настолько, чтобы дать одному мнению перевес над другим. Так обстояло дело в 1512 году¹³.

69. Если вы всмотритесь как следует, то увидите, что от поколения к поколению меняются не только привычки людей, обороты речи, слова, покрой платья, характер построек, культуры и тому подобных вещей; более того, меняются вкусы, так что блюда, очень любимые одним поколением, часто не признаются другим.

70. Настоящий пробный камень для испытания людей — это неожиданно нагрянувшая опасность; кто устоит перед ней, а таких совсем мало, может действительно назвать себя твердым и неустрашимым.

71. Если вы увидите начало упадка города, перемену правительства, появление новой власти и другие подобные вещи, которые иногда можно предвидеть почти наверняка, смотрите как бы не обмануться вам насчет сроков, ибо движение дел человеческих по природе своей и вследствие разных препятствий идет гораздо медленнее, чем люди воображают; ошибка может тебе страшно навредить, а потому знай, что люди часто в этом месте спотыкаются. Так бывает и в делах частных и личных, но гораздо чаще в общественных и всенародных; размах их по природе своей больше, движение медленнее, и поэтому они подвержены большим случайностям.

72. Нет в этом мире для людей ничего более желанного и торжественного, как видеть врага своего поверженным в прах и отданным тебе во власть; однако удваивает это торжество тот, кто пользуется им хорошо, т. е. милует и довольствуется победой.

73. Ни Александр Великий, ни Цезарь, ни другие прославленные люди никогда не миловали врагов, если знали, что это испортит или подвергнет опасности последствия победы, так что милость скорее походила бы на безумие; они прощали только в тех случаях, когда знали, что милость не грозила их безопасности, а заставляла других еще больше им поклоняться.

74. Мечь не всегда коренится в ненависти или в дурной природе, но она иногда нужна, чтобы люди на этом примере научились не

вредить тебе; очень хорошо, когда человек мстит и не имеет при этом злобы на того, кому он мстит.

75. Паша Лев рассказывал, что отец его, Лоренцо Медичи, обыкновенно говорил: знайте, что кто говорит о нас дурно, тот нам добра не желает.

76. Все, что было в прошлом и существует в настоящем, предстоит еще в будущем; меняются лишь названия и видимость вещей, а человек недостаточно зоркий этого не распознает и не умеет вывести из этого наблюдения правила или суждения.

77. Когда я был посланником в Испании, я заметил, что Король Католический, дон Феррандо Арагонский, могущественнейший и мудрейший князь, собираясь идти в новый поход или принять важное решение, часто поступал таким образом, что еще раньше чем замысел его становился известным, весь двор и народ желали того же и громко требовали, чтобы король сделал то-то; таким образом, решение его открывалось в такую минуту, когда все его желали и славил, и трудно поверить, сколько одобрений и сколько любви снискивал он этим способом у своих подданных и в своем королевстве.

78. Дела, затеянные во-время, удаются легко, почти сами собой, и те же дела, затеянные до времени, не только не удаются, но при этом часто затрудняется их осуществление, когда приходил настоящий момент. Поэтому не гонитесь за ними так рьяно, не торопитесь, вы-

ждайте, пока дело созреет и ему настанет срок.

79. Пословица — «мудрый должен пользоваться благом времени», понятая плохо, была бы опасной. Когда желанное само к тебе идет, стоит человеку раз пропустить случай, и он больше его не дождется, так что во многих делах необходимо решать и действовать быстро; однако, в делах трудных и тяжелых, тани и выждидай, сколько можешь, ибо время часто просвещает тебя или освобождает тебя. Если так применять эту пословицу, она всегда спасительна; понятая иначе, она часто была бы губельной.

80. Счастливы по-настоящему люди, в жизни которых один и тот же случай повторяется не раз, ибо первый раз даже разумный человек может его упустить или дурно им воспользоваться; кто во второй раз не сумеет его распознать или воспользоваться им, тот неразумен безнадежно.

81. Никогда не полагайтесь всецело на будущее, и, как бы вы ни были уверены в исходе дела, непременно оставьте себе что-нибудь про запас на случай неудачи, если вы можете это сделать, не портя себе игры; опыт показывает, насколько разумно так поступать, потому что успех слишком часто приходит наперекор общему мнению.

82. Маленькие и едва заметные вещи часто бывают причиной великих бедствий или большого счастья; поэтому самое разумное — обдумать и хорошо взвесить все обстоятельства, даже самые ничтожные.

83. Я думал прежде, что вещи, которые я не представляю себе сразу, останутся для меня непостижимы вообще; размышляя об этом, я в действительности увидел обратное и в себе, и в других; чем больше и лучше думаешь о вещах, тем лучше их постигаешь и знаешь, как поступить.

84. Если хотите быть у дел, не позволяйте себя отстранять, потому что к ним нельзя вернуться по своей воле; когда же ты вошел в дела, они приходят одно за другим без всяких твоих стараний и хлопот.

85. Жребий человеческий различен не только для разных людей, но и для одного и того же человека, который может быть счастлив в одном деле и несчастлив в другом. Сам я был счастлив в делах, для которых не нужно ничего, кроме собственного искусства, и несчастлив в других. Мне трудно давалось все, чего я добивался, а когда я ничего не добивался, все бежало мне вслед.

86. Кто заправляет большими делами или стремится к величию, должен всегда скрывать то, что ему не на руку, и раздувать все, что ему благоприятствует. Это известный вид обмана, очень противный моей природе, но так как игра наша чаще зависит от людских мнений, чем от сущности вещей, то слава постоянной удачи для тебя полезна, а обратное тебе вредит.

87. Когда родные или друзья оказывают тебе услуги, которых ни ты, ни они не замечают, это гораздо важнее услуг, оказываемых ими сознательно: прибегать к их помощи тебе при-

ходится редко, а случаи, когда ты считаешь для себя возможным пользоваться их услугами по-своему, бывают каждый день.

88. Князь или всякий, кому приходится вершить большие дела, не только должен хранить в тайне все, что другим не следует знать, но обязан приучить себя и своих советников молчать даже о самых маленьких и по видимости неважных вещах, кроме тех, которые полезно разгласить. Когда дела твои неведомы, таким образом, ни приближенным, ни подданным, люди всегда напряженно и почти в ужасе ждут и следят за малейшим движением и за каждым шагом твоим.

89. Новостям правдоподобным я верю с трудом, пока точно не знаю, кто их распространяет; такие новости бродят в умах, и поэтому легко найдется человек, готовый их выдумать; не так просто выдумать новости неправдоподобные или неожиданные; поэтому, когда я слышу этого рода новости и не знаю точно, от кого они исходят, я отношусь к ним внимательнее, чем к другим.

90. Кто зависит от благосклонности князей, следит, не спуская глаз, за каждым движением, за малейшим их знаком и готов прибежать по первому зову; это людям часто приносит великий вред. Никогда не нужно терять головы, не вскакивать с легкостью на коня по их приказу и не двигаться, если нет особенно важного дела.

91. Мне всегда было трудно понять, каким образом божественная справедливость допускает,

чтобы сыновья Лодовико Сфорца могли пользоваться властью в герцогстве Миланском, которое он приобрел злодейством и стал через это приобретение виновником всеобщей разрухи ¹⁴.

92. Не надо говорить: бог помог такому-то, потому что это был человек честный, а такому-то ничто не удалось, потому что он был человек дурной; ведь мы часто видим обратное. Мы не должны из-за этого говорить, что нет божественной справедливости, ибо замыслы божии столь глубоки, что о них верно говорят — *abyssus multa*.

93. Частный человек грешит против князя и совершает преступление *lesae majestatis*, когда он хочет сделать что-нибудь относящееся к власти князя; точно так же грешит и совершает преступление *lesi populi* князь, когда делает вещи, относящиеся по праву к народу и частным людям; потому заслуживает величайшего осуждения герцог феррарский, занимающийся торговлей, монополиями и другими промыслами, т. е. делом частных людей.

94. Кто живет при дворе князей и жаждет служить, должен по возможности быть у них на глазах, так как часто случаются дела, которые князь поручит тебе, если ты здесь и он о тебе вспомнит; если же он тебя не видит, он поручит их другому.

95. Кто идет на опасность очертя голову, не зная о ней,— просто грубое животное; храбр тот, кто сознает опасность, но не боится ее больше, чем следует.

96. Есть старинная пословица, что все мудрецы робки, ибо знают все опасности и потому боятся их; я считаю эту пословицу ложной, так как не может называться мудрым человек, который считает, что опасность больше, чем она есть. Я назову мудрым того, кто знает меру опасности и боится ее ровно настолько это нужно. Поэтому смелого человека скорее можно назвать мудрым, чем робкого; если оба они видят достаточно хорошо, между ними начнется спор, так как робкий выставляет все опасности, которые, по его мнению, могут быть, и предполагает всегда самое худшее; смелый тоже сознает все опасности, но, зная, как много их может быть избегнуто благодаря человеческой изобретательности, как много устраняется случайно, он не смущается, а берется за дело с уверенностью и надеждой, что не все, что может случиться, действительно случится.

97. Маркиз Пескара¹⁵ говорил мне после избрания Климента папой, что он, кажется, никогда не видел успеха дела, которого бы желали все. Причина этого, вероятно, в том, что дела мирские вершатся немногими, цели которых почти всегда отличны от целей большинства; поэтому и последствия получаются не те, каких большинство желает.

98. Тиран разумный любит робких мудрецов, но и смелые ему не неприятны, если только он знает, что это люди спокойные, и он готов их удовлетворить. Больше всего не нравятся ему смелые и беспокойные; он не может предполагать, что ему удастся их удовлетворить, а по-

тому вынужден думать о том, как их уничтожить.

99. Если бы мне пришлось иметь дело с разумным тираном и я не был бы ему врагом, то я скорее предпочел бы слыть смелым и беспокойным, чем робким; таких людей он старается удовлетворить, а с другими чувствует себя увереннее.

100. Живя под властью тирана, лучше быть его другом до известного предела, чем принадлежать к числу самых близких; если ты человек уважаемый, то величие его полезно и тебе, иногда даже более, чем людям, с которыми он чувствует себя увереннее; а при падении его, у тебя есть надежда спастись.

101. Нет способа и средства спастись от тирана зверского и жестокого, разве только средство, предписываемое во время чумы: бежать как можно дальше и как можно скорее.

102. Осажденный, который ждет помощи, всегда распространяет слух, что его положение много хуже, чем в действительности; кто помощи не ждет, тому остается только утомлять противника, чтобы отнять у него всякую надежду; он всегда скрывает свое положение и распространяет слух, что дела его не так плохи.

103. Тиран делает все возможное, чтобы раскрыть твои тайные мысли, он действует для этого лаской, долгими беседами, приставляет к тебе людей, которые должны наблюдать за тобой, сближаться с тобой по его приказу, и трудно вышутаться из всех этих сетей; поэтому, если ты видишь, что он тебя не понимает,

будь осторожен, берегись всего, что может тебя выдать, и употреби столько же сил на то, чтобы не дать себя разгадать, сколько он тратит на то, чтобы тебя раскрыть.

104. Люди считают похвальным, да и каждому приятно иметь характер открытый и прямой, или, как говорят во Флоренции, чистый. С другой стороны, осуждают и ненавидят притворство. Но притворство гораздо полезнее тебе самому; прямота же скорее другим, чем тебе. Нельзя отрицать, что она прекрасна, и я восхвалял бы всякого, кто вел бы обычно жизнь человека искреннего и чистого, прибегая к притворству лишь в некоторых очень важных случаях, которые бывают редко. Этим путем ты мог бы приобрести славу человека откровенного и прямого и снискать благоволение, выпадающее на долю людей, которым молва приписывает такой характер; однако в делах, самых для тебя важных, ты мог бы извлечь выгоду из притворства, тем более что молва говорит о тебе, как о человеке, которому притворство чуждо, а потому люди легче верили бы твоим измышлениям.

105. Даже когда человек известен, как лицемер и обманщик, люди иногда попадаются на его обманы и верят ему. Странно сказать, но это святая истина, и я вспоминаю, что подобной славой больше чем кто-либо пользовался Король Католический; при всех своих ухищрениях он всегда встречал людей, веривших ему выше меры; это должно происходить от простоты или алчности человеческой: одни хотят легко верить желанному, другие не умеют распознать правду.

106. В нашем гражданском строе самое трудное дело — прилично выдать замуж своих дочерей; происходит это оттого, что люди вообще о себе более высокого мнения, чем другие о них, и надеются сразу добратся до мест, совсем для них недоступных. Я видел, как многие отцы отклоняли предложения, которые они с благодарностью приняли бы потом, когда их как следует надули.

Необходимо поэтому хорошо соразмерять положение свое и чужое и не обольщаться самомнением больше, чем следует: это мне хорошо известно; не знаю, сумею ли я применить свой опыт и не впасть в ошибку, общую почти всем, требовать большего, чем мне полагается; однако эти слова не должны побуждать никого настолько унижаться, чтобы, как Франческо Веттори¹⁶, отдавать дочь первому встречному.

107. Надо желать себе вообще не родиться подданным; однако, раз это случилось, лучше быть подданным князя, чем республики; республика унижает всех подданных и приобщает к своему величию только собственных граждан; князь же в большей мере властвует над всеми, и подданными его одинаково состоят те и другие; поэтому каждый может надеяться, что князь его облагодетельствует и применит к делу.

108. Нет такого мудреца, который никогда бы не ошибался, однако, счастливый жребий людей состоит в том, чтобы умудриться делать ошибки легкие или в делах неважных.

109. Плоды свободы и цель ее не в том, чтобы каждый правил государством, ибо править дол-

жен лишь тот, кто способен и этого заслуживает, а в том, чтобы соблюдались хорошие законы и установления; в свободном строе законы охраняются строже, чем под властью одного или немногих. Заблуждение, от которого так сильно страдает наш город, в том и состоит, что людям мало одной свободы и безопасности и они не успокаиваются, если не участвуют в правлении.

110. Как ошибаются те, кто при каждом слове ссылается на римлян. Нужно было бы жить в городе, находящемся в таких же условиях, как Рим, а потом уже управлять по этому примеру; при разности условий это так же несообразно, как требовать лошадиного бега от осла.

111. Простой народ упрекает юристов за разнообразие мнений в их среде и не обращает внимания на то, что вина здесь не в людях, а в существе дела; невозможно охватить общими правилами все отдельные случаи, и часто бывает, что эти случаи законом не разрешаются; часто приходится нащупывать решение сообразно мнениям людей, а мнения не все бывают на один лад. Мы видим то же самое у врачей, философов, торговых судей, в рассуждениях людей, правящих государством, и разногласия среди них не меньше, чем среди законоведов.

112. Мессер Антонио да Венафро говаривал и говаривал верно: посадите рядом шесть или восемь мудрецов, получится столько же сумасшедших; они не могут сговориться и больше спорят, чем решают.

113. Ошибается тот, кто думает, что закон когда бы то ни было оставляет дело на решение, т. е. на свободную волю судьи, ибо закон никогда не облакает судью властью дарить или отнимать; есть, однако, случаи, которые закон точным правилом определить не может, и такие случаи он отдает на решение судьи; это значит, что судья, разобрав все обстоятельства и свойства дела, постановляет по голосу совести. Поэтому судья, правда, не может отвечать за свое решение перед судилищем людей, но он предстанет перед судом господ, который знает, судил судья или дарил.

114. Наблюдая совершающееся на их глазах, некоторые люди пишут о будущем рассуждения, которые кажутся читателю прекрасными, если только написаны умело; однако рассуждения эти — самый опасный обман; ведь каждое заключение вытекает из предшествующего, и, если не хватает даже одного звена, остальные выводы делаются впустую; малейшая изменившаяся частность может изменить все заключение, а потому нельзя судить о делах мира сего издалека, а надо судить о них и решать их изо дня в день.

115. В старых записях, сделанных до 1457 года, я нашел изречение одного мудрого гражданина: Флоренция избавится от долгов, или долги задушат Флоренцию. Мне представляется, что самое лучшее — это или отнять у Monte¹⁷ всякое влияние, или настолько умножить займы, чтобы управлять ими сделалось невозможным. Однако, раньше чем неустройство обнаружилось, учреждение это было более жи-

зненным и вообще дело шло медленнее, чем это казалось нашему гражданину.

116. Правитель государства пусть не страшится опасностей, хотя бы они казались грозными, близкими и как бы уже наступившими; как говорит пословица, не так страшен чорт, как его малюют. Опасности часто устраняются благодаря разным случайностям, а когда бедствия действительно подступают, находятся такие средства и способы облегчения, о которых раньше не думали. Если как следует вдумаетесь в эти слова, увидите, что они каждый день оправдываются на деле.

117. Самое ложное суждение — это суждение по примерам; ведь если они не сходны во всем, то не годятся вовсе; при этом малейшее различие подробностей может быть причиной огромнейшей разницы в последствиях, а чтобы распознать эти различия, если они невелики, требуется верный и проницательный глаз¹⁸.

118. Человеку, который дорожит честью, удается все; его не удержат ни заботы, ни опасности, ни расходы. Я испытал это сам, а потому могу об этом говорить и писать; мертвы и пусты все поступки людей, которыми не двигает эта могучая сила.

119. Документы редко подделываются сразу; это происходит постепенно, с течением времени и зависит от случая или необходимости; поэтому для защиты себя полезно, как только договор или документ составлен, сейчас же снять с него точную копию, чтобы всегда иметь ее при себе.

120. Большая часть зла, творимого в управляемых землях, происходит от подозрительности. Люди не верят друг другу, и это вынуждает их принимать меры заранее; поэтому главная забота правителя всячески эти подозрения устранять.

121. Не поднимайте восстания в надежде, что за вами пойдет народ, ибо полагаться на это опасно, а народ, не склонный идти за тобой, часто мечтает о совершенно других вещах, чем ты думаешь. Посмотрите на пример убийц Цезаря, Брута и Кассия, за которыми народ не только не пошел, как они это предполагали, но, из страха перед тем же народом, им пришлось скрыться в Капитолий.

122. Посмотрите, как люди сами себя обманывают; чужие грехи каждый объявляет тяжкими, а свои собственные считает легкими; такова часто мера добра и зла, а вовсе не познание достоинств и качеств вещей.

123. Я охотно верю, что люди во все времена считали чудом многое, к чему они не решались близко подойти; несомненно, однако, что каждая религия знала свои чудеса, и таким образом, чудо — слабое доказательство истинности одной веры перед другой. Возможно, что чудеса хорошо показывают могущество божие, но это так же верно для бога язычников, как и для бога христиан; может быть, не погрешит тот, кто скажет, что чудеса, как и древние прорицания, — это тайна природы, до которой не могут подняться человеческие умы.

124. Я заметил, что каждый народ и почти каждый город чтит своих святых, и последствия

бывают от этого одни и те же: во Флоренции делает дождь и хорошую погоду святая Мария в Импрунетте, в других местностях я видел, что такой же силой обладает дева Мария или святые; это явный знак, что милость божия почивает на каждом; возможно, что все эти вещи создаются скорее человеческим мнением, а не тем, что происходит в действительности.

125. Философы, богословы и прочие, пишущие о вещах сверхприродных или невидимых, говорят тысячи безрассудств; ведь по-настоящему люди о вещах ничего не знают, и разыскания их служили и служат больше упражнению умов, чем открытию истины.

126. Было бы желательно вести дела с таким расчетом, чтобы в них никогда не было ни малейшего беспорядка или повода для сомнений; однако достигнуть этого трудно; итак, было бы ошибкой слишком из-за этого убиваться, потому что, пока ты тратишь время, стараясь все точно рассчитать, от тебя часто ускользает удобный случай; когда же подумаешь, что дело у тебя, наконец, налажено твердо, часто замечаешь, что это вовсе не так, ибо, по самой природе дел человеческих, почти немислимо, чтобы где-нибудь не оказалось беспорядка или неурядицы. Приходится, поэтому, брать вещи, как они есть, и считать меньшее злом за добро.

127. Я очень часто видел на войне, как приходили известия, по которым надо было думать, что дело идет плохо, потом вдруг приходили другие новости, которые как будто обещали тебе

победу, и так одно сменялось противоположным; такие примеры бывали постоянно; поэтому хороший полководец нелегко падает духом или приходит в восторг.

128. В делах государственных надо обращать внимание не столько на то, как должен был бы князь поступать по указаниям разума, но на то, как он, вероятно, поступит по природе и привычкам своим; ведь князья часто делают не то, что должны, а то, что им кажется нужным; кто думает о них иначе, может жестоко ошибиться.

129. Если дело, само по себе злодейское или несправедливое, не совершается, не следует говорить, что это добро или благодеяние; ведь, это только середина между притеснением и благодеянием, между делами добрыми и злыми, подобно воздержанию от зла или воздержанию от притеснений; пусть люди поэтому не говорят: я не сделал или я не сказал, ибо настоящая хвала в том, что человек может сказать: я сделал, я сказал.

130. Князья да остерегаются всего больше людей, которые по самой природе своей всегда недовольны, потому что их нельзя ни облагодетельствовать, ни удовлетворить настолько, чтобы себя обеспечить.

131. Большая разница иметь подданными людей недовольных или людей, пришедших в отчаяние. Человек недовольный, даже желая тебе повредить, не легко идет на опасность, но выжидает случая, который может никогда не представиться; человек, пришедший в отчаяние, сам

выискивает случай и стремится к опасности в надежде на новое; поэтому одних надо остерегаться редко, а других — всегда.

132. Я от природы человек прямой и враг всяких ухищрений; поэтому со мной всегда было легко вести переговоры; однако я познал, что высшая польза всегда в том, чтобы уметь тянуть и выжидать; настоящее искусство при этом состоит в том, чтобы не сразу открывать последние решения, а, начавши издалека, обнаруживать их шаг за шагом и неохотно; кто поступает так, очень часто достигает большего, чем он удовольствовался бы раньше; кто ведет переговоры, как я, добивается всегда только таких вещей, без которых соглашения не было бы совсем.

133. Величайшее правило благоразумия, плохо соблюдаемое многими, требует, чтобы ты умел скрыть недоброжелательство свое к другим, если только в этом нет для тебя вреда или бесчестья; ведь, часто случается, что в будущем человек еще может тебе пригодиться. А использовать его помощь тебе не удастся, если он уже знает, что ты к нему недоброжелателен. Мне очень часто приходилось обращаться к людям, к которым я относился как нельзя хуже; они же были уверены в обратном, или, по крайней мере, не представляли себе этого, и потому служили мне с величайшей готовностью.

134. Все люди от природы больше склонны к добру, чем к злу; нет человека, который не делал бы охотнее добро, чем зло, если другие

соображения не побуждают его к обратному; однако природа человеческая так хрупка, а соблазны зла в мире настолько часты, что люди легко от добра уклоняются. Поэтому-то мудрые законодатели изобрели награды и наказания, означавшие только желание укрепить людей в их природной склонности надеждой и страхом.

135. Если отыщется кто-нибудь, более склонный от природы к злу, чем к добру, говорите с уверенностью, что это не человек, а зверь или чудовище, ибо ему нехватает склонности, естественно присущей всем людям.

136. Случается иногда, что безумцы творят более великие дела, чем мудрецы; происходит это оттого, что мудрый, которого не гнетет необходимость, крепко полагается на разум и слабо на судьбу; дела же, которыми вершит судьба, часто кончаются образом непостижимым. Флорентийские мудрецы уступили бы буре, разразившейся сейчас, а безумцы решили бороться с ней наперекор всякому рассудку, и никто бы не поверил, что наш город способен на подвиги, которые они до сих пор совершили. Это и говорит пословица: *Audaces fortuna juvat*¹⁹.

137. Если бы вред от дурного управления обнаруживался от случая к случаю, то человек малоопытный или сумел бы научиться, или добровольно предоставил бы управлять тому, кто больше в этом деле понимает; зло в том, что люди, а больше всего народы, не постигая по невежеству своему причин неустройств, приписывают их не тем ошибкам, какие на деле к этому привели; они не сознают, какое страш-

ное бедствие жить под властью человека, не умеющего властвовать, и упорствуют в своей ошибке, т. е. сами берутся за вещи, которые делать не умеют, или предоставляют управлять людям неопытным; это часто приводит к окончательной гибели города.

138. Ни безумцы, ни мудрецы не могут в конце концов противиться тому, что должно произойти; я никогда не читал ничего, что было бы, как мне кажется, лучше сказано, чем изречение: *Ducunt volentes fata, nolentes trahunt*²⁰.

139. Государства действительно так же смертны, как и люди; однако здесь есть различие: вещество человеческое тленно, и люди все равно погибают, даже если они никогда не затевали бы смут; государство погибает не от недостатка в материале, который всегда обновляется, а от рока или от дурного управления, т. е. от неразумных решений правителей. Гибель от рока — вещь редчайшая, потому что государство — тело крепкое, хорошо сопротивляющееся, и чтобы сокрушить его, нужна сила необычайная и яростная. Поэтому причиной крушения государств почти всегда бывают ошибки правителей; если бы государство всегда управлялось хорошо, оно, возможно, было бы вечным, или по крайней мере жизнь его была бы несравненно более долгой, чем теперь.

140. Кто говорит «народ», хочет в действительности сказать — безумный зверь, в котором все ложь и смута, и нет в нем ни вкуса, ни обаяния, ни устойчивости.

141. Не удивляйтесь, что люди не знают ни прошлого, ни того, что творится в отдаленных областях или местностях; посмотрите внимательно — и вы увидите, что люди не имеют верного понятия о делах настоящего, или о том, что ежедневно творится в их собственном городе; между дворцом и площадью часто стоит такой густой туман или такая толстая стена, что людской глаз внутрь проникнуть не может, и народ столько же знает о поступках правителей или о причинах этих поступков, как о том, что делается в Индии; вот почему в мире легко преобладают мнения ложные и пустые.

142. Одна из самых больших удач, какая может выпасть на долю человека, — это иметь случай показать, что поступки людей, совершаемые для собственного интереса, делались ради общественного блага. Это прославило предприятия Короля Католического: они совершались всегда во имя собственной безопасности и величия, а часто казалось, что они совершены ради вящего прославления христианской веры или ради защиты церкви.

143. Мне кажется, что все историки без исключения ошибались в одном: они не писали о разных в то время известных вещах, именно потому, что предполагали их известными. Отсюда получалось, что в истории римлян, греков и всех других народов нам хотелось бы теперь знания о многом, например, о власти и различии магистратов, о правительственных учреждениях, о родах войска, о величии городов и о других подобных вещах, которые во

времена тех писателей были известны всем и каждому и потому ими пропущены. Если бы они подумали, что с долгим течением времени погибают государства и пропадает память о делах, что история пишется именно для того, чтобы сохранить дела эти навеки, они тщательнее писали бы ее, так, чтобы все совершившееся во времена отдаленные, стояло бы перед нашим взором с той же ясностью, как и дела настоящего, а ведь это и есть истинная цель истории.

144. Когда в Испании было получено известие о союзе, заключенном венецианцами с королем Франции против Короля Католического, секретарь этого короля, Альмасано, передавал мне кастильскую пословицу; означавшую на нашем языке, что нитка рвется со слабого конца; он хотел сказать, что события в конце концов всегда обрушиваются на более слабых, ибо они измеряются не разумом и не благоразумием, но каждый ищет своей выгоды, а потому люди сходятся на том, что пострадать должен тот, кто слабее, так как с ним считаются меньше; поэтому, если кому-нибудь придется вести переговоры с более могучими, чем он, пусть он всегда помнит эту пословицу, которая каждый час исполняется на деле.

145. Будьте уверены, что хотя жизнь людей коротка, но времени всегда будет достаточно у того, кто умеет его беречь и не тратит попустому; ведь, природа человека даровита, и раз он упорен и смел, то необычайно преуспевает в делах.

146. Какое несчастье, что человек не может обрести добро, не изведав сначала зла.

147. Ошибается тот, кто думает, что удача задуманного дела зависит от справедливости или несправедливости его, ибо мы каждый день видим обратное,— а именно, что не правота, а благоразумие, сила и счастье дают предприятию успех. Конечно, в человеке правом пробуждается известная уверенность, основанная на мнении, что бог дарует победу справедливому делу; уверенность эта придает людям горячность и твердость, а эти два условия часто ведут к победе. Таким образом, правота дела косвенно может помочь, но неверно, чтобы она помогала прямо.

148. Кто хочет закончить войну слишком скоро, часто ее затягивает; не считая нужным ждать, пока подвезут необходимые запасы или пока созреет замысел, он делает трудным то, что само по себе легко; таким образом, на каждый день, который он стремился выиграть, он часто теряет больше месяца; не говорю уже о том, что это может привести к еще худшему беспорядку.

149. Кто хочет во время войны тратить меньше, тот тратит больше; ничто не требует таких денег и такой безудержной их траты, как война; чем обильнее запасы, тем скорее кончаются походы; кто не считается с этим ради сбережения денег, тот затягивает дело и тратит несравненно больше. Поэтому опаснее всего начинать войну, когда крупных денег нет, и отпускать средства время от времени; это способ не кончать войну, а питать ее.

150. Доверяя или поручая что-нибудь людям, которых вы оскорбили, отнюдь не считайте, что вы себя обезопасили, если внушили им сознание, что это же дело, проведенное как следует, принесло бы им пользу и честь; в некоторых людях память обиды, по природе их, так сильна, что она побуждает их мстить вопреки собственной пользе; может быть, они дорожат радостью мести или страсть ослепляет их настолько, что они не различают больше собственной пользы и чести. Запомните мои слова, потому что многие в этом случае ошибаются.

151. Как сказано было выше о князьях, думайте всегда не столько о том, как должны были бы по разуму поступить люди, с которыми вам надо вести переговоры, сколько о том, как они, вероятно, поступят, имея в виду их природу и обычаи.

152. Если вы замышляете новые предприятия или дела, будьте чрезвычайно осторожны, потому что стоит только начать и потом уже надо по необходимости идти вперед. Поэтому людям часто приходится одолевать такие трудности, что они убежали бы за тысячи миль, если бы только во-время представили себе хотя малую долю всех препятствий; однако не во власти их отступить, когда они уже втянулись в дело. Причина здесь чаще всего — вражда, дразги партий, войны. В этих, да и во всех других случаях, пока решение не принято, никакая осторожность, никакое старание не могут быть чрезмерными.

153. Кажется, что послы часто берут сторону того князя, при котором они состоят; это навлекает на них подозрение в продажности, в желании получить награду или по крайней мере в том, что они поддались на ласковое и любезное обхождение князя. Между тем, здесь возможно и другое: наблюдая постоянно дела князя, при котором они состоят, и не так пристально следя за всем остальным, послы считают дела эти важнее, чем они в действительности есть; однако такой довод неубедителен для их собственного князя, который также знает все; он легко вскрывает ложные шаги своего посла и часто приписывает коварству вещи, совершенные скорее по неосторожности; поэтому, кто идет послом, пусть хорошо обдумает все заранее, так как это дело очень важное.

154. Бесчисленны тайны князя, бесчисленны дела, которые он должен обдумать; поэтому безрассудно судить о его действиях с налета, ибо ты часто приписываешь какой-нибудь поступок одной причине, а на деле причина его совсем иная; то, что по-твоему сделано случайно или неосмотрительно, оказывается искусством и образцом осторожности.

155. Говорят, что человек, не знающий хорошо всех подробностей дела, не может о нем верно судить; тем не менее я много раз замечал, что люди, не обладающие очень острым умом, судят лучше, если имеют только общее понятие о деле, чем если им известны все его подробности; в общих чертах такой человек часто мо-

жет представить себе верное решение, но он сбивается, когда вникает во все подробности.

156. Я от природы был очень решителен и тверд в своих действиях; тем не менее со мной часто случалось, что после принятого важного решения меня охватывало как бы некоторое раскаяние; происходило это не от мысли, что если бы мне пришлось решать заново, я бы поступил иначе, а оттого, что, пока решения еще не было, я лучше видел трудности того или другого исхода; потом, когда все было кончено и мне не надо было уже бояться трудностей, которые я своим решением устранил, мне представлялись только те препятствия, которые надо было преодолевать, и, взятые сами по себе, они казались больше, чем раньше, когда приходилось сравнивать их с другими; отсюда следует, что для избавления себя от этих терзаний, надо тщательно представить себе и другие затруднения, которые ты отложил в сторону.

157. Не хорошо прослыть подозрительным и недоверчивым, и все же человек так лукав, так коварен, он действует такими окольными и скрытыми путями, он так непасытен, когда дело идет о его интересах, и так мало считается с интересами других, что не ошибется тот, кто мало верит другим и мало на них полагается.

158. Выгоды, которые приносят тебе доброе имя и добрая слава, ежечасно у всех на глазах; однако они малы рядом с теми, которых никто не видит, которые приходят сами собой, неведомо откуда и приносятся добрым о тебе

мнением; потому и сказаны мудрейшие слова, что доброе имя дороже великих богатств.

159. Не осуждаю ни постов, ни молитв, ни других подобных благих дел, установленных церковью или проповедуемых монахами; однако благо из благ, в сравнении с которым все остальные неважны,— это не вредить никому и быть полезным каждому, насколько ты можешь.

160. Великое дело, конечно, чтобы все мы знали, что нам предстоит умереть, а между тем все мы живем так, словно мы уверены, что будем жить всегда; причина этого, как мне думается, не в том, что происходящее у нас на глазах и осязаемое волнует нас больше, чем отдаленное и невидное; ведь смерть близка, и можно сказать по ежедневному опыту, что она является нам ежечасно. Думается мне, что природа хотела для нас жизни, сообразной с требованиями движения или истинного строя этой мировой машины; не желая, чтобы она застыла как мертвая и лишённая смысла, природа дала нам способность не думать о смерти, потому что, если бы мы о ней думали, мир пребывал бы в неподвижности и оцепенении.

161. Когда я думаю о том, каким случайностям, какому бесконечному ряду опасностей от немощи, случая, насилия подвержена жизнь человека, или о том, сколь много событий должны в течение года совпасть, чтобы получился хороший урожай, то нет вещи, которой я удивлялся бы больше, чем виду старого человека или урожайному году.

162. На войне и во многих других важных случаях я часто видел, что люди не заботились о запасах, считая, что уже слишком поздно; однако впоследствии оказывалось, что они пришли бы как раз во-время, и это упущение принесло величайший вред; ведь движение вещей совершается обычно гораздо медленнее, чем мы предполагаем, и часто за три или четыре месяца не происходит того, что, по твоему мнению, должно было совершаться в один. Заметка эта важна и должна служить предупреждением.

163. Как точно было изречение древних: *Magistratus virum ostendit*²¹. Ничто так не вскрывает качеств человека, как поручение ему дела или передача власти. Сколько людей говорят хорошо, а сделать ничего не могут; сколько многие кажутся замечательными людьми, пока они рассуждают в советах или на площадях, а, если посмотреть их на деле, они просто тени.

164. Счастье людей часто оказывается их величайшим врагом, так как оно часто делает их злыми, легкомысленными и заносчивыми; поэтому самое большое испытание для человека — устоять не столько против неудач, сколько против счастья.

165. С одной стороны, кажется, что князь или хозяин должен лучше всех знать своих подданных и слуг; ведь сама необходимость так часто заставляет их идти к нему со своими замыслами и делами; с другой стороны, верно как раз обратное: со всяким другим они говорят откровеннее, а с князьями все старания, все

искусство их направлено на то, чтобы скрыть свою природу и свои думы.

166. Не думайте, что всякий нападающий на других, например, вступивший на чужую землю, может предвидеть все способы защиты противника; опытный истец, вообще говоря, знает обычные приемы защиты ответчика, но опасность и нужда открывают средства особенные, до которых не может додуматься тот, кто этой необходимости не знает.

167. Не думаю, чтобы было в мире что-нибудь хуже легкомыслия, потому что легкомысленные люди способны на всякое решение, как бы оно ни было дурно, опасно и губительно; поэтому берегитесь их как огня.

168. Какое мне дело до того, что мой обидчик поступил так по неведению, а не по злобе,—наоборот, это часто гораздо хуже, ибо злоба имеет свои определенные цели, она действует по своим правилам и потому не всегда оскорбляет так жестоко, как могла бы. Неведение же не знает ни цели, ни правил, ни меры,—оно действует яростно и сыплет слепые удары.

169. Положите себе за правило до последней возможности прикрашивать все ваши намерения, все равно, живете ли вы в свободном городе, в олигархическом государстве или под властью князя. Поэтому, когда вам не отдадут должного, не гневайтесь и не начинайте ссоры, если только участь ваша такова, что ею можно удовлетвориться; поступаая иначе, вы вредите себе, иногда вредите государству и в конце концов почти всегда ухудшаете свое положение.

170. Великое счастье князей в том, что они легко перекладывают на чужие плечи те неприятные дела, которыми должны заниматься сами; поэтому почти всегда бывает так, что ошибка обиды, ими чинимые, приписываются советам или подстрекательству огружающих. Происходит это, как мне кажется, не столько оттого, что князья стараются распространить такое мнение, сколько оттого, что люди охотно обращают свою ненависть и клеветы на тех, кто не так от них далек и на кого они скорее надеются найти управу.

171. Герцог Лодовико Сфорца говаривал, что князья познаются по тем же правилам, по которым испытывается крепость самострела. Хорош самострел или нет, познается по полету стрелы; точно так же и сила князя познается по его послам. Можно теперь судить, каково же было правительство Флоренции, которое в одно и то же время имело послами Кардуччи²² во Франции, Гвальтеротто²³ в Венеции, мессера Бардо²⁴ в Сиене и мессера Галеотто Джуньи в Ферраре.

172. Князья были поставлены не во имя их собственного интереса, а для блага общего, им даны были доходы и богатства, чтобы они распределяли их для сохранения своих владений и для блага подданных; поэтому скупость в князе более противна, чем в частном человеке; накопля больше, чем должно, он присвоивает себе одному богатства, которые даны ему, собственно говоря, не как хозяину, а как управителю и распорядителю на благо многих.

173. Расточительство в князе противнее и гибельнее скупости, ибо оно немислимо без того, чтобы не отнимать у многих, а отнимать у поданных более оскорбительно, чем не давать им; тем не менее народам, повидимому, больше правится князь расточительный, чем скупой²⁵. Причина здесь в том, что хотя людей, которых расточитель одаряет, очень немного по сравнению с теми, у кого он отнимает, каковых, естественно, много, но, как уже говорилось, надежда в людях настолько сильнее страха, что всякий надеется скорее быть в числе немногих, кому даётся, чем в числе многих, у кого отнимается.

174. Сделайте все, чтобы быть в ладу с князьями и властями предержащими; вы можете быть ни в чем не виноваты, жить спокойно и размеренно, не желать ни во что вмешиваться, и все же постоянно бывает так, что вы поневоле оказываетесь в руках правящих; кроме того, вам бесконечно вредит уже одно мнение о вас, как о человеке неприятном.

175. Правитель или судья должен, насколько может, стараться не показывать ненависти к кому бы то ни было и не мстить за личные обиды; ему было бы слишком обременительно пользоваться силой государства против своих обидчиков; пусть он запасется терпением и выжидает время, ибо не может быть, чтобы ему не представился случай достигнуть тех же целей путем справедливым, без всякого намека на злопамятство.

176. Молите бога, чтобы вы были всегда в лагере победителей, потому что тогда вас вос-

хваляют за дела, в которых вы никакого участия не принимали; наоборот, человеку, который оказывается в лагере побежденных, приписывается бесконечное множество дел, в которых он менее всего виновен.

177. Во Флоренции, по ничтожеству людей, почти всегда бывает так, что если кто-нибудь учинит всенародно какое-нибудь бесчинство с насилием, то его не карают, а наперерыв стараются обеспечить ему безнаказанность, лишь бы он сложил оружие и не начинал снова; этими способами нельзя наказать зазнавшихся гордецов, но можно сделать львов из ягнят.

178. Хороши те способы обогащения, о пригодности которых еще не все догадались; когда все об этом узнают, они становятся негодными, потому что к ним прибегают многие и конкуренция делает их уже менее выгодными: вот почему во всех делах великое преимущество в том, чтобы начать рано.

179. Я юношей посмеивался над умением играть, танцовать, петь и над прочими светскими забавами,—над красивым слогом, над искусством ездить верхом, хорошо одеваться и вообще над всем, что как будто является украшением людей, а не сущностью их; однако впоследствии я хотел бы обратного; ведь, если юношам непристойно терять на такие вещи слишком много времени, потому что они вообще могут на этом свихнуться, я все же видел по опыту, что такого рода украшения и вообще светская ловкость придают даже способным людям достоинство и известность; можно сказать,

что, если у человека этих украшений нет, ему чего-то нехватает; не говоря уже о том, что обилие этих светских талантов открывает дорогу к княжескому благоволению, они приносят иногда людям великие выгоды и бываюг причиной их возвышения, так как свет и князья устроены, как они есть, а не так, как было бы должно.

180. Когда начавший войну считает ее выигранной, это всего опаснее; войны, по видимости своей самые легкие и обеспеченные, подвержены тысячам случайностей, и все приходит в полное расстройство, когда эти несчастия застают человека слабым и неподготовленным духом; он был бы во всеоружии, если бы с самого начала считал войну трудной и привел бы все внутренние дела в порядок.

181. Я одиннадцать лет сряду служил церкви, и таково было расположение ко мне властей и народов, что служба эта могла бы продолжаться долго, если бы не наступили события 1527 года в Риме и во Флоренции²⁶; я поступал всегда так, точно совсем не забочусь о том, чтобы оставаться на службе, и этот образ действий всего сильнее меня укреплял; стоя на такой основе, я делал, ни с чем не считаясь и ничему не подчиняясь, то, чего требовала моя должность, и это давало мне влияние, которое помогало мне больше и с большим достоинством, чем всякое искательство, связи и старания, к которым я мог бы прибегнуть.

182. Я видел почти всегда, что люди понастоящему умные, когда им приходится разрешать какое-нибудь важное дело, действуют

при этом очень осмотрительно, разбирая два или три случая, которые с вероятностью могут произойти, и основывают на этом свое решение, как будто непременно должен произойти именно один из этих случаев. Предупреждаю вас, что это опасно, так как часто, а, может быть, и преимущественно, наступает третье или четвертое событие, о котором не думали и к которому решение твое не приспособлено; старайтесь поэтому обеспечить себя, насколько возможно, знайте, что легко может случиться что-нибудь неожиданное, и никогда не ограничивайте своего суждения, если только этого не требует необходимость.

183. Плох тот полководец, который дает бой, если его не побуждают к этому необходимость или знание, что на его стороне большое преимущество; все здесь слишком подчинено счастью, и слишком страшна неудача.

184. Я совсем не хочу избегать общих разговоров с людьми и готов беседовать с ними с приятной и любезной обходительностью; однако я утверждаю, что благоразумие в том, чтобы не говорить с ними без нужды о своих собственных делах; когда же приходится говорить, то сообщайте не больше, чем это нужно для разговора или для ваших намерений в данную минуту, про себя же храните все, что может быть сделано без слов; поступать иначе приятнее, поступать так полезнее.

185. Люди всегда восхваляют в других широкую щедрость, благородство и великолепие поступков, сами же для себя придерживаются

обратного; соразмеряйте, поэтому дела свои с возможностью, с честной и разумной пользой; не позволяйте сбить себя с толку, продолжайте поступать иначе, чем хочет толпа, и не думайте, что вы можете добиться похвал и уважения тех, кто в сущности хвалит в других только то, чего не находит в себе.

186. Невозможно поступать в жизни всегда по одному твердому и безусловному правилу. Очень часто бывает бесполезно распространяться даже в разговорах с друзьями о вещах, которые должны храниться в тайне; с другой стороны, поступать с друзьями так, чтобы они заметили твою сдержанность с ними,— это верный путь к тому, что они точно так же поступят с тобой; ничто не заставит другого довериться тебе, если он не предполагает, что ты доверишься ему; таким образом, скрывая что-то от других, ты отнимаешь у себя возможность что-нибудь от них узнать. Итак, в этом и во многих других случаях надо действовать, различая свойства людей, обстоятельств и времени; для этого необходимо чутье, но если его нет от природы, то научиться ему по опыту можно лишь очень редко, по книгам же — никогда.

187. Знайте, что, кто правит от случая к случаю, кончит так же случайно; если хотите поступать правильно, обдумывайте, изучайте, рассматривайте внимательно даже самое маленькое дело; исполняйте все это, и все же вам будет трудно вести дела хорошо; подумайте, как же они идут у правителя, который только плывет по течению.

188. Чем более удаляешься ты от правила избегать крайностей, тем вернее впадаешь в крайность, которой ты боишься, или в другую, одинаково дурную; чем страстнее желание вкушать от плодов выгодного дела, тем скорее кончается наслаждение и плоды исчезают,— например, чем больше народ, наслаждающийся свободой, стремится ею воспользоваться, тем менее он ею наслаждается и тем скорее впадает или в тиранию, или в такой строй, который не лучше тирании.

189. Все города, все государства, все царства смертны; все когда-нибудь кончается, естественно или насильственно; поэтому, когда гражданин живет в последние времена своего отечества, ему приходится не столько скорбеть о его несчастьях и жаловаться на судьбу, сколько горевать о себе, потому что с отечеством случилось только неизбежное, а беда обрушилась на того, кому довелось родиться в годину подобного несчастья.

190. Можно сказать в назидание и утешение людям, которые не достигли желанного положения: смотрите назад, а не вперед, и вы увидите, что людей, чья участь еще хуже вашей, несравненно больше, чем таких, кому живется лучше, чем вам. Это глубокая истина, и она должна была бы убедить людей довольствоваться тем, что им дано, но сделать это трудно, ибо природа так устроила наше зрение, что, не насилуя себя, мы можем смотреть только вперед.

191. Цельзя осуждать людей, которые не скоро решаются; есть, конечно, такие случаи, когда

необходимо решать быстро, но человек скорый в решениях обыкновенно ошибается больше того, кто решает медленно; зато надо беспощадно осуждать медленность в исполнении, когда все уже решено: она, можно сказать, вредит всегда, а полезной бывает только случайно; говорю это вам в предупреждение, так как многие в этом заблуждаются, по лени, по желанию избавиться от хлопот или по иной причине.

192. В делах примите себе за правило: недостаточно дать делу начало, направление, толчок; необходимо следить за ним и никогда до конца его не бросать. Даже тот, кто всегда при делах, еще очень далек от умения вести их в совершенстве. Тот же, кто поступает иначе, считает иногда переговоры законченными, когда они только что начались или натолкнулись на трудности; таковы — небрежность, малодушие, испорченность людей, и так трудны дела по самой их природе. Воспользуйтесь этим правилом; верность ему приносила мне иногда великую честь, а пренебрежение им приводит к столь же великому сраму.

193. Кто руководит переговорами, направленными против какого-нибудь государства, должен прежде всего знать, что никогда не надо писать писем, так как письма часто перехватываются и становятся тогда свидетельством, которое невозможно отрицать; правда, теперь известно много способов тайного письма, но искусство читать его также в полном расцвете. Гораздо вернее пользоваться для этих целей не письмами, а подходящими людьми, но именно поэтому

слишком трудно и опасно для частных людей втягиваться в такие дела; людей, которым можно это поручить, у них недостаточно, а на тех немногих, которые есть, нельзя особенно полагаться, так как обмануть частного человека в угоду князьям слишком выгодно и почти беспротышно.

194. Начиная дело, необходимо хорошо его обдумать, но все же не надо предполагать в нем трудностей, непреодолимых для человека с хорошей головой; надо помнить, что чем дальше продвинуто дело, тем оно становится легче, и трудности развязываются сами собой. Это чистейшая правда, и всякий, кто ведет переговоры, убеждается в ней на деле; если бы об этом помнил папа Климент, он часто вел бы свои дела больше ко времени и с большим для себя успехом.

195. Люди, близкие к князьям и желающие добиться от них милостей или знаков благоволения для себя или для друзей, должны, насколько можно, умудриться сделать так, чтобы им не приходилось часто прямо просить; надо искать или выжидать удобный случай, искусно представить и ввести своих друзей и, когда случай подойдет, схватывать его сейчас же и не пропускать. Поступающий так ведет дела свои с гораздо большей легкостью и утомляет князя гораздо меньше; добившись своего в первый раз, он свободнее и решительнее добьется успеха в дальнейшем.

196. Если люди видят, что нужда заставляет тебя идти у них на поводу, они перестают счи-

таться с тобой и ни в грош тебя не ставят; забота о своем интересе или собственная злая природа в них обычно сильнее, чем сознание твоей правоты и заслуг, обязательств их перед тобой или памяти о том, что ты, может быть, попал в беду из-за них или ради того, чтобы им угодить; поэтому старайтесь не доходить до такой жизни и бойтесь ее как огня. Если бы слова эти жили в душах людей, многие из них теперь не были бы изгнанниками; не важно, были ли они изгнаны за преданность тому или другому князю, а страшно, что князь, видя их в изгнании, скажет: без меня эти люди не могут ничего, и, не стесняясь, обращается с ними, как ему вздумается.

197. Тот, кому приходится защищать перед гражданами трудные или противоречивые дела, пусть постарается, если возможно, их разделить и не говорить о втором, пока не закончено первое; возможно, что противники одного дела не станут тогда возражать против другого; если же соединить все вместе, то каждый, кому не нравится какая-нибудь частность, должен будет возражать против всего. Если бы Пьеро Содерини сумел так повести дело, когда хотел изменить законы о верховном суде²⁷, он бы этого добился и, может быть, упрочил бы правление народа. Совет не заставляя людей проглатывать горькое блюдо в один прием — часто не менее полезен в частных делах, чем в общественных.

198. Верьте, что во всех делах, как общественных, так и частных, существенно умение

повернуть их в противоположном направлении; поэтому, если вы хотите вести дело, но не доводить его до конца, ведите его так, чтобы можно было всегда повернуть на другую дорогу.

199. Если вы хотите притворяться с другими или скрыть какую-нибудь свою склонность, старайтесь уверить их самыми сильными и убедительными доводами, что вы держитесь противоположного мнения, ибо, когда люди считают, что вы пришли к этому по требованию благоразумия, они легко убеждаются, что решения ваши согласны с голосом разума.

200. Один из способов найти покровительство для ваших замыслов у человека, который иначе остался бы им чужд,— это поставить его во главе их, сделать его, так сказать, их автором. Этим путем привлекаются, главным образом, люди легкомысленные, в которых тщеславие так сильно, что они думают больше о нем, чем о той существенной осторожности, которая в делах необходима.

201. Может показаться, что во мне говорит злоба или подозрительность, но дай боже, чтобы слова мои были неверны: дурных людей на свете больше, чем хороших; это особенно верно, когда дело идет об имуществе или об интересах государства; поэтому не ошибется тот, кто во время переговоров острым глазом следит за всеми, исключая только немногих, о которых по опыту или по сообщениям, вполне достойным доверия, известно, что это люди хорошие. Ловкость здесь как раз в том, чтобы не про-

слыть подозрительным человеком; если вы увидите, что это невозможно, то самое важное — вообще никому не доверяться.

202. Когда мстят так, что жертва не замечает, от кого идет зло, можно сказать лишь одно: что это делается ради удовлетворения ненависти и злобы; великодушнее мести открытая, дабы каждый знал, откуда она идет; тогда можно сказать, что человек поступил так не столько ради ненависти или жажды мщения, сколько во имя своей чести, т. е. чтобы о нем стало известно, что он неспособен молча сносить обиды.

203. Пусть знают князя, что не надо допускать подданных до состояния, близкого к свободе; ведь люди от природы хотят быть свободными, и естественное свойство каждого не довольствоваться тем, что у него есть, а всегда стремиться к лучшему; эти стремления сильнее памяти о любезном обхождении князя и о дарованных им милостях.

204. Невозможно помешать чиновникам грабить; сам я был совершенно чист, но под начальством моим были губернаторы и другие чиновники, и, несмотря на все мои усилия и собственный пример, я не мог по-настоящему бороться с воровством. Причина здесь в том, что деньги годятся на все, а в нынешней жизни богатого уважают больше, чем порядочного; все это еще поощряется невежеством и неблагодарностью князей, которые терпят около себя скверных людей и обходятся с хорошими слугами не лучше, чем с дурными.

205. Я был два раза во главе войск во время важнейших походов, располагал огромной властью и пришел к следующему: если верно то, что пишется о древнем войске,— а я думаю, что это большей частью так,— то по сравнению с ним нынешние войска — только тень. У современных начальников нет ни доблести, ни умения; они воюют без всякого искусства, без военных хитростей, точно расхаживают медленными шагами по главной улице; поэтому когда синьор Просперо Колонна, главнокомандующий во время первого похода, говорил мне, что я еще никогда не был на войне, я не без основания ответил ему, что, как это ни прискорбно, я и в этой войне не научился ничему.

206. Не стану спорить о том, полезнее ли для нашего тела обращаться к врачам или обходиться без них, как это долгое время делали римляне; я утверждаю только одно: потому ли, что дело это само по себе трудно, или по небрежности врачей, которым следовало бы быть внимательнейшими людьми и наблюдать за малейшими признаками болезни, но врачи наших дней умеют лечить только обычные заболевания, и науки их хватает самое большое на лечение двух припадков лихорадки; когда же в болезни встречается что-нибудь необычное, они лечат втемную и случайно; не говорю уже о том, что врачи, по самолюбию своему и по соперничеству друг с другом,— худшего вида животные, без совести и чести; вполне уверенные, что ошибки их трудно проверить, они ежедневно калечат наши тела, заботясь только о том, что-

бы превознести самих себя или унижить товарищей.

207. Безумно говорить об астрологии, т. е. о знании будущего; или сама наука эта не истинна, или нельзя знать все, что для нее необходимо, или способностей человека на это нехватает, а приходится признать, что надеяться достигнуть таким путем знания о будущем — бред. Астрологи не знают, что говорят, и догадываются о правде только случайно; таким образом, возьмешь ли ты предсказания астролога или любого человека, каждое из них может оправдаться не хуже другого.

208. Наука о законах сведена в наше время к тому, что если при решении какого-нибудь дела сталкиваются с одной стороны доказательство, взятое из жизни, а с другой — мнение ученого, который об этом писал, то надо ожидать, что мнение это возьмет верх; поэтому даже ученые, ведущие дела, вынуждены знакомиться со всем, что написано; таким образом, время, которое могло уйти на размышление, тратится на чтение книг, утомляющее душу и тело и похожее скорее на труд носильщиков, чем ученых.

209. Я думаю, что суд у турок, решения которого скоры и почти случайны, приносит меньше зла, чем судебные порядки, обычно принятые у христиан; судебная волокита стоит так дорого и так расстраивает дела тяжущихся, что вред от этого, пожалуй, не меньше, чем если бы решение было вынесено в первый же день; кроме того, если мы думаем, что решения у турок выносятся втемную, то, сопоставляя их

с нашими, надо сказать, что правда находится посредине, и, наконец, решения их едва ли менее справедливы, чем наши, выносимые по невежеству или пристрастию судей.

210. Коротко и верно говорит пословица: кто говорит или пишет о многом, непременно нагородит вздору; зато мысли о немногих вещах могут быть все хорошо продуманы и выражены сжато; поэтому было бы, может быть, лучше выбрать из этих заметок один цветок, чем накоплять столько всякой всячины.

211. Я, кажется, могу утверждать, что духи существуют; говорю о том, что мы называем духами, т. е. о тех воздушных существах, которые попросту говорят с людьми, ибо у меня был опыт, который кажется мне совершенно достоверным. Но что такое духи и каковы они, это, я думаю, так же мало известно человеку, убеждающему себя в том, что он это знает, как и тому, кто ничего об этом не думает. Знание духов, как и предсказание будущего, которому человек вверяется иной раз с искусством или вдохновением,— все это скрытая мощь природы или действительно той высшей силы, которая движет всем; она открыта ей и скрыта от нас так глубоко, что умы человеческие этого не постигнут.

212. Из трех образов правления,— власти одного, немногих или большинства,— самым худшим для Флоренции было бы по-моему правление оптиматов, так как оно неестественно и с ним так же нельзя примириться, как с тиранией. Своим самолюбием и взаимными распрями

оптиматы сделали бы все зло, на которое способна тирания, и, может быть, еще скоро разъединили бы город, а из всего благого, что делает тиран, они не сделали бы ничего ²⁸.

213. Человек в своих решениях и поступках всегда сталкивается с одной трудностью, именно: с правдой противоположного; нет столь совершенного порядка, в котором не скрывался бы беспорядок, нет зла, в котором не было бы добра, нет добра, в котором не заключалось бы зла; отсюда нерешительность многих людей, которых смущает всякое маленькое затруднение; людей с таким характером называют оглядывающимися, потому что они оглядываются на все. Не следует так поступать, надо взвесить неудобства каждого решения, остановиться на том, где их меньше, и помнить, что не может быть решения безукоризненного и совершенного со всех сторон.

214. У каждого человека есть недостатки, у одного их больше, у другого меньше; не может поэтому быть долгой дружбы, подчинения, товарищества там, где один не приспособляется к другому. Надо знать друг друга и помнить, что, меняя людей, не избежишь всех их недостатков, а встретишь или те же самые, или еще большие; поэтому нужно научиться приспособлению, лишь бы дело шло о вещах выносимых или не очень важных.

215. Как часто слышится осуждение тому или другому поступку, но, если бы он в свое время не совершился и люди могли бы знать, каковы будут последствия, поступок этот вызвал бы

только похвалу; наоборот, сколько восхваляемых дел подверглось бы тогда осуждению. Не спешите поэтому одобрять или упрекать, судя по внешности вещей; все, что является вам, надо рассматривать изнутри, если вы хотите, чтобы суждение ваше было верным и взвешенным.

216. Нельзя выбирать в этом мире ни среды, в которой должен родиться человек, ни обстановки, в которой ему приходится жить. Поэтому, когда вы хвалите или упрекаете людей, смотрите не на условия, в которые они поставлены судьбой, а на то, как они с этими условиями справляются. Ведь, похвала или осуждение будут зависеть от того, как люди себя ведут, а не от положения, в котором они находятся, как это бывает в комедии или трагедии. В маске господина или короля человек стоит не больше, чем в маске раба; все дело только в том, кто лучше умеет ее носить.

217. Нельзя пренебрегать исполнением долга из одного только страха нажить себе врагов или кому-нибудь не понравиться; исполнение долга дает человеку славу, польза от которой больше, чем вред от возможного врага. В этом мире надо или быть мертвецом, или решиться иной раз обидеть другого; но то же искусство, которое учит нас устраивать все к общему удовольствию, проявляется и в том, чтобы знать, когда нужно идти людям наперекор; делать это надо с толком, во-время, умеренно, по достойному поводу и достойными средствами.

218. Хорошо ведут дела свои в этом мире люди, всегда имеющие в виду собственный интерес и соразмеряющие с этой целью все свои поступки, но обманываются те, кто не знает как следует, в чем его интерес, и думает, что он всегда состоит больше в денежной выгоде, чем в чести и в умении сохранить свою славу и доброе имя.

219. Если человек принял решение или высказал какой-нибудь взгляд и вдруг изменит свое мнение по какому-нибудь признаку раньше, чем увидит исход дела, то сознаться в этом открыто будет простодушием; если он уже не может или не во власти его поправить дело, он лучше поддержит свое влияние, отстаивая первоначальное мнение; отказ от своих слов может только подорвать его значение, так как случится всегда обратное тому, что он говорил в начале или перед концом; настаивая же на своем первоначальном мнении, он будет иметь более верный успех в случае, если оно оправдается, а это еще может случиться.

220. Когда отечество попадает во власть тиранов, то хороший гражданин по-моему должен искать сближения с ними, чтобы внушать им стремление к добру и ненависть к злу; прямая польза города в том, чтобы люди благородные были в такое время влиятельны, и, хотя флорентийские невежды и слепцы всегда утверждали иное, они сами заметили бы, какой чумой было бы правление Медичи, если бы их окружали только безумцы или злодеи.

221. Если враги, объединившиеся против тебя, сцепляются друг с другом, то напасть на одного

из них, чтобы раздавить их поодиночке, часто значит сплотить их вновь. Поэтому надо тщательно рассмотреть природу ненависти, возникшей между ними, а также другие условия и обстоятельства, чтобы ты мог верно решить, лучше ли напасть на одного из врагов или предоставить им драться между собой.

Заметки, писанные до 1525 года в других тетрадях, но внесенные сюда в начале 1528 года во время долгого моего досуга, вместе с большей частью заметок, заключающихся в этой тетради

222. Праздность, сама по себе, причуд не создает, но без праздности их не бывает вовсе.

223. Граждане, стремящиеся к почестям и славе, полезны и достойны хвалы, лишь бы они не шли путем захватов и партий, а умели бы создать себе славу хороших и разумных людей и служить отечеству благими делами; дай бог, чтобы наша республика была проникнута таким честолюбием. Опасны люди, поставившие себе целью собственное величие, потому что человека, создавшего себе этот кумир, не остановит ничто,— ни справедливость, ни честность,— и он готов все сравнять с землей, лишь бы дойти до цели.

224. Дурной гражданин не может надолго сохранить доброе имя; поэтому люди, желающие скорее казаться, а не быть хорошими гражданами, должны поневоле заставить себя ими быть,

иначе они в конце концов перестают ими казаться.

225. Человек от природы склонен к добру, и добро нравится всем больше, чем зло, если только зло не приносит наслаждения или выгоды; однако природа человеческая хрупка, соблазны же зла бесконечны, и люди легко отступают от природной склонности ради интереса. Поэтому не ради насилия, а для удержания людей в верности их природе изыскали мудрые законодатели для них шпоры и узду, т. е. награду и наказание; если к ним не прибегают, то хорошие граждане встречаются в республике только как величайшая редкость. Мы видим это во Флоренции по опыту каждого дня.

226. Если мы слышим или читаем о ком-нибудь, кто, без всякой выгоды или интереса для себя, предпочитает зло добру, его надо назвать зверем, а не человеком, ибо у него нет стремления, общего от природы всем людям.

227. Велики недостатки и неурейства правления народного, и тем не менее в нашем городе мудрые и добрые граждане одобряют его как меньшее зло.

228. Отсюда можно заключить, что во Флоренции мудрый человек в то же время хороший гражданин, ибо, не будь он хорошим гражданином, он бы не был мудр.

229. То великодушие, которое нравится толпе, лишь крайне редко встречается у людей действительно мудрых; поэтому достоин хвалы не столько тот, кто кажется великодушным, сколько тот, кто действительно достиг зрелости ума.

230. Народ любит в республике того, кто творит справедливость; к мудрому он чувствует скорее почтение, чем любовь.

231. О боже! Насколько больше доказательств близкого упадка нашей республики, чем ее утверждения на долгое время.

232. Человек здравого суждения стоит больше человека большого таланта; это гораздо вернее обратного.

233. Не противно равенству в правлении народном, когда один гражданин пользуется большим влиянием, чем другой, лишь бы это было данью всеобщей любви и почтения и вместе с тем народ имел бы возможность сменить его, когда захочет; напротив, без таких столпов республикам держаться трудно; благо было бы нашему городу, если бы флорентийские глупцы это понимали.

234. Кому приходится приказывать другим, тот не должен быть чересчур скромнен и стесняться повелевать. Я не говорю, что такой человек должен быть совсем свободен от этих качеств, но в большой степени они вредны.

235. Очень полезно вести дела свои в тайне, но еще полезнее не показывать этого друзьям; многие из них, видя в этом недостаточное уважение к себе, впадают в гнев, когда чувствуют, что их не хотят посвящать в свои дела.

236. Три вещи хотел бы я видеть перед смертью, но я сильно сомневаюсь, что увижу хотя бы одну, даже если бы мне довелось прожить долго: это хорошо устроенную республику в нашем городе, Италию, освобожденную от всех

варваров²⁹, и мир, избавленный от тирании этих злодеев попов.

237. Тот, чья безопасность не обеспечена договорами или сознанием могущества, при котором вообще нечего бояться, тот поступает безумно, оставаясь нейтральным во время войн между другими, ибо он не удовлетворяет побежденного и делается добычей победителя; кто не верит голосу разума, пусть посмотрит на пример нашего города и на то, что получилось из нейтралитета во время войны, которую папа Юлий и католический король Арагонии вели с Людовиком, королем Франции.

238. Если хочешь оставаться нейтральным, условься по крайней мере о нейтралитете с той стороной, которая его желает, ибо это один из способов присоединиться к ней; если эта сторона победит, ей будет, может быть, несколько неловко или совестно тебя притеснять.

239. Сдерживать целомудренно свои желания — это гораздо большее удовлетворение, чем давать им волю, ибо одно преходяще и идет от тела, другое же, если только страсти немного остынут, прочно и идет от души и совести.

240. Чести и известности надо желать больше, чем богатства, — но так как в наши дни влияние без богатства сохранить трудно, то люди выдающиеся должны стараться иметь его, но не в безмерном количестве, а в том, какое нужно для цели, именно для того, чтобы достигнуть или сохранить влияние и власть.

241. Народ во Флоренции в общем беден, а по свойству нашего образа жизни каждый

жаждет богатств; такой народ не годится для защиты свободы города, потому что стремление к богатству побуждает человека добиваться своей частной пользы, не думая о чести и славе государства и нисколько с этим не считаясь.

242. Известь, скрепляющая здание государства тирана,—это кровь граждан; каждый должен был бы употребить все свои силы на то, чтобы в его городе не пришлось строить такие дворцы.

243. Если в городе установлен терпимый строй, хотя бы и с некоторыми недостатками, то пусть граждане, живущие в республиках, не стараются изменить его ради лучшего, потому что за этим почти всегда наступает ухудшение; не во власти человека, изменившего прежний порядок, устроить новое правление, которое бы точно совпало с его намерениями и мыслями.

244. Зло, творимое властью имущими в городе, делается большей частью из-за подозрительности; поэтому, если кто-нибудь возвысился, город не может быть благодарен людям, возбуждающим его на новый порядок без достаточных оснований, ибо это увеличивает подозрительность, а вместе с ней и все зло тирании.

245. У бедных злоба легко может явиться случайно, у богатых она чаще идет от природы; поэтому в человеке богатом она заслуживает более строгого осуждения, чем в бедном.

246. Если князь или частный человек хочет при помощи своего посла или через другое лицо заставить кого-нибудь поверить неправде,

он должен сперва обмануть самого посла, потому что тот действует и творит с большей силой, когда думает, что замысел князя ему известен, и он не стал бы так стараться, если бы знал, что это только притворство.

247. Важнейшие дела часто зависят от вещей, кажущихся ничтожными, поэтому надо быть осторожным и вдумчивым даже в малых делах.

248. Легко испортить свое благополучие, но трудно его добиться; поэтому тот, кто дошел до высокого положения, должен сделать все усилия, чтобы оно не выскользнуло у него из рук.

249. Безумно гневаться на людей, стоящих так высоко, что ты не можешь надеяться им отомстить; поэтому, если ты чувствуешь себя оскорбленным ими, надо терпеть и притворяться.

250. На войне все меняется с каждым часом, поэтому не надо слишком воодушевляться от новых успехов и отчаиваться от неудач; перемены происходят часто; пусть это научит человека не пропускать на войне счастливые случайности, ибо время их не длится долго.

251. Торговцы кончают большей частью несостоятельностью, мореплаватели — кораблекрушением, так же несчастно кончает тот, кто долго управлял землями церкви.

252. Маркиз Пескара говорил мне однажды, что редко удается дело, успеха которого желают все; если это верно, то потому, что дела

обычно вершатся немногими, а цели немногих почти всегда противоположны целям и стремлениям большинства.

253. Не боритесь никогда с религией и вообще с вещами, зависящими, повидимому, от бога, ибо слишком сильна власть этого слова над умами глушцов.

254. Справедливо было сказано, что слишком большое благочестие калечит мир, так как оно размягчает души, вовлекает людей в тысячи заблуждений и отвращает их от дел благородных и мужественных; я не хочу этим выразить неуважение к вере христианской и богопочитанию,—наоборот, я хочу только подтвердить и усилить его, различая между излишним и достаточным и побуждая умы верно различать вещи, с которыми должно считаться, от тех, которыми можно пренебречь.

255. Всякое обеспечение, которое можно получить от врага, хорошо, будь то клятвы, слово друзей, обещания или иные ручательства. Однако, ввиду дурного склада людей и изменчивости времен, не существует лучшего и более крепкого обеспечения, чем такое устройство дел, чтобы безопасность твоя основывалась больше на том, что враг не может тебя притеснять, чем на том, что он этого не хочет.

256. По образу жизни мирской не может быть большего счастья, чем видеть врага своего поверженным и отданным тебе во власть; для такой цели нельзя упускать ничего. В этом великое счастье, но человек прославится еще больше, если воспользуется таким счастьем как

подобает, т. е. будет милостив и простит; таково свойство душ благородных и высоких.

257. Заметки эти — правила, которые можно написать в книгах, но бывают случаи особые, которые по причине иной их природы должны разрешаться по-другому, и писать о них можно разве только в книге человеческой мудрости.

258. Древние любили пословицу: *Magistratus virum ostendit*; она позволяет распознать человека не только по месту, которое ему отведено, но она важна также потому, что могущество и несдержанность раскрывают склонности души, т. е. самую природу человека, знайте, что чем выше стоит человек, тем меньше он себя обуздывает и больше дает воли тому, что составляет его природные качества.

259. Умейте не ссориться с властями отечества своего; не доверяйтесь надежде, что, по образу жизни вашей, вам никогда не случится попасть к ним в руки, ибо возникает бесконечно много неожиданных случаев, когда приходится к ним обращаться; и, наоборот, если власти хотят тебя покарать или отмстить тебе, пусть не делают этого поспешно, а выждут время и случай; они, конечно, почувствуют его еще издали и смогут исполнить свое желание целиком или частью, не обнаруживая ни злобы, ни страсти.

260. Если тот, кто правит городами или народами, хочет, чтобы подвластные ему держались спокойно, он должен быть строгим и карать за все проступки, но может показать милосердие в выборе наказания; ведь помимо

случаев безобразных или таких, когда надо показать пример, обычно вполне достаточно наказывать за простушки, считая по пятнадцати сольди за лиру.

261. Если бы слуги были умелы или благодарны, то для хозяина было бы долгом чести оказывать им всяческие благодеяния, но так как по большей части это люди иной природы, которые бросают или изводят тебя, как только получают все, что им нужно, то полезнее подходить к ним с стиснутой рукой; лаская их надеждой, надо давать ровно столько, чтобы они не отчаивались.

262. Слова эти надо применять так, чтобы слава человека, скупого на благодеяния, не отгоняла от тебя людей, и избежать этого легко, если осчастливить кого-нибудь не в пример прочим; дело в том, что власть надежды над людьми обычно так велика, что пример одного благодетельствованного тобой приносит тебе больше пользы и действует на других обычно сильнее, чем пример сотни людей, не получивших от тебя никакой награды.

263. Люди больше хранят в памяти своей обиды, чем благодеяния; наоборот, вспоминая о благодеянии, они его преуменьшают, ибо убеждены, что заслуживают большего, чем в действительности; обратное происходит с обидами, боль от которых в каждом человеке сильнее, чем это было бы разумно; поэтому, когда прочие условия равны, остерегайтесь делать кому-нибудь приятное, если это должно быть в той же мере неприятно другому, ибо по причине,

указанной выше, проигрыш от этого в общем больше, чем выигрыш.

264. Вы можете скорее положиться на того, кто в вас нуждается или имеет в данном деле общий с вами интерес, чем на того, кто вами благодетельствован, ибо люди обычно неблагодарны; если не хотите обмануться, соизмеряйте с этим ваши расчеты.

265. Я написал предыдущие заметки для того, чтобы научить жить и знать настоящую цену вещей, а не для того, чтобы отвратить вас от благодеяний; ведь, помимо того, что это вещь благородная и проистекающая из прекрасной души, мы видим, как благодеяние иногда вознаграждается, и так щедро, что это оплачивает многих; возможно, что власти, которая выше людей, угодны благородные поступки и она не хочет, чтобы они всегда оставались бесплодными.

266. Устройтесь так, чтобы иметь друзей, ибо они хороши в такие времена и в таких случаях, о которых ты бы не подумал; мысль эта простая, но глубину ее не может понять тот, кому не пришлось в каком-нибудь важном деле испытать ее на опыте.

267. Всем нравятся люди от природы правдивые и открытые; быть таким, конечно, благородно, но иногда это тебе вредит; с другой стороны, злая природа людей делает притворство полезным и часто даже необходимым, но оно внушает ненависть и есть в нем нечто отталкивающее; каков должен быть выбор, я не знаю; хотелось бы думать, что в обычной жизни

можно идти по первому пути, не отказываясь в то же время от второго; это значит, что в делах простых и в жизни обыденной надо быть правдивым, чтобы прослыть человеком прямым, и все же в некоторых важных и редких случаях следует прибегать к притворству, которое будет тем полезнее и тем лучше удастся, что тебе поверят легче, так как ты сльвешь иным.

268. По причинам, о которых сказано выше, не одобряю того, кто живет всегда притворством и хитростью, но извиняю того, кто иногда к этому прибегает.

269. Если хочешь скрыть то, что ты сделал или пытался сделать, знай, что всегда лучше это отрицать, даже если поступок твой совершен почти открыто и на виду у всех; упорное отрицание, конечно, не убедит того, у кого есть улика или кто верит противоположному, но оно, по крайней мере, склоняет к тебе его мысли.

270. Трудно поверить, как важно для правителя, чтобы все касающееся его хранилось в тайне; дело не только в том, что замыслы твои могут быть предупреждены или разрушены, если о них узнают, но одно неведение твоих мыслей заставляет людей внимательно и настороженно следить за твоими поступками, так что малейшее твое движение перетолковывается на все лады; имя твое становится известным повсюду. Поэтому тот, кто находится в таком положении, должен был бы приучить себя и своих сотрудников молчать не только о тех делах, о которых знать не следует, но и о всех тех, о которых не полезно объявить всенародно.

271. Заметка моя о том, что не следует сообщать свои тайны, если тебя не заставляет необходимость, пригодна для всех, ибо каждый, кто сообщил другому тайну, становится его рабом, не говоря уже о всех других несчастиях, к которым знание тайны может привести; если же необходимость заставит вас рассказать что-нибудь, делайте это как можно позже, ибо время рождает тысячи дурных мыслей.

272. Обнаруживать свою радость или неудовольствие очень приятно, но вредно, а потому мудрость в том, чтобы сдерживать себя, хотя это и очень трудно.

273. Когда я был послом в Испании при доне Феррандо, короле Арагонии, князе мудром и славном, я заметил, что, затевая новый поход или другое важное дело, он не объявлял о нем сразу, с тем чтобы оправдывать его потом, но поступал совершенно обратно; он действовал так искусно, что еще раньше, чем замыслы его открывались, все уже говорили, что король по таким-то причинам должен сделать именно это; когда же впоследствии объявлялась всенародно воля короля сделать то, что уже раньше казалось каждому справедливым и необходимым, трудно поверить, с каким сочувствием и с какой хвалой встречались его решения.

274. Даже те, кто умудряется забывать о судьбе, приписывая все благоразумию и таланту, не могут отрицать, что величайшая милость судьбы проявляется хотя бы в том, что тебе вовремя представляются случаи, когда твои таланты могли бы проявиться всего ярче. Мы,

знаем по опыту, что одни и те же таланты ценятся в одни времена больше, чем в другие, и дело, благодарное в одно время, будет неблагодарным в другое.

275. Я не хочу упрекать тех, кто в порыве любви к родине готов подвергнуть себя опасности ради восстановления ее свободы; однако я утверждаю, что люди, желающие изменить в нашем городе государственный строй ради своих интересов, неблагоприятны, так как это дело опасное. Мы видим по опыту, что заговоры удаются лишь в редчайших случаях. Даже при успехе тебе почти никогда не удастся сохранить надолго изменения, о которых ты мечтал, но, кроме того, ты обречен на постоянные терзания, так как всегда приходится опасаться, как бы не вернулись и не погубили тебя изгнанные тобой.

276. Не надрывайте своих сил, добиваясь перемен, которые ничего, кроме видимости, в людях не меняют; какая польза для тебя, если зло и обиду, которые наносил тебе Петр, будет наносить Мартин; например, какая радость для тебя, что уйдет мессер Горо, если на его место придет другой, ему подобный.

277. Кто приступает к переговорам, пусть помнит, что нет ничего более губительного для них, чем желание получить слишком много; на это уходит больше времени, в дело вовлекается больше людей, смешиваются разные вещи, и таким образом подобные затеи легко можно раскрыть; кроме того, надо думать, что судьба, от которой эти вещи зависят, гневается на человека, желающего в такой мере освободиться

от ее могущества и обеспечить себя; итак, я заключаю, что вернее идти даже на известный риск, чем добиваться, чтобы все было обеспечено до конца.

278. Не рассчитывайте на то, чего у вас нет, не тратьте за счет будущих доходов, потому что они очень часто вовсе не получаются. Мы видим, что крупные купцы всего чаще делаются несостоятельными потому, что, в надежде на большие доходы в будущем, они берут деньги под проценты, нарастающие точно и в определенные сроки; будущие же доходы часто или вовсе не приходят, или оттягиваются дольше, чем вы думали, и таким образом дело, которое было для вас в начале полезным, оказывается самым разорительным.

279. Не верьте тем, кто уверяет, будто любовь к покою и усталость от честолюбия заставили их уйти от дел, ибо в душе эти люди почти всегда таят противоположное; если они отстранились от жизни, то по злобе, необходимости или безумию. Примеры этого мы видим каждый день, и стоит только сделать таким людям намек на возвышение их, как они забывают о своем хваленном покое и бросаются в самую гущу борьбы с неудержимостью огня, охватившего сухое или промасленное дерево.

280. Если вы согрешили против закона, обдумайте и взвесьте все раньше, чем попадете в тюрьму; как бы дело ни было запутано, нельзя поверить, на что способен судья, усердный и желающий его раскрыть; малейшего просвета достаточно ему, чтобы осветить все.

281. Я, как и другие люди, хотел чести и пользы; до сих пор, по милости божией и по счастливому жребию, все удавалось мне даже свыше желаний; однако впоследствии я ни в чем не нашел удовлетворенности, о которой мечтал; для того, кто вдумается как следует в мои слова, их будет, мне кажется, достаточно, чтобы угасить в людях эту жажду.

282. Величия власти желают все, потому что добро, в нем заключающееся, выступает наружу, а зло остается скрытым внутри; если бы было видно и оно, власть, может быть, меньше прельщала бы людей, ибо величие, без сомнения, полно опасностей, забот и мук. Но то, что делает его желанным даже для людей чистой души,— это стремление каждого человека к превосходству над другими, а более всего то, что одно лишь величие власти может уподобить нас богу.

283. Все непреднамеренное меняется несравнимо больше, чем предвиденное; поэтому я называю человеком великой и непреклонной души лишь того правителя, который не страшится внезапных опасностей и случайностей; насколько я могу судить, это качество редчайшее.

284. Люди, восхваляющие или осуждающие какой-нибудь поступок, судили бы о нем совсем иначе, если бы могли заранее знать, что произойдет, если этот поступок не совершится.

285. Нет сомнения, что чем старше становится человек, тем сильнее делается в нем скудость; обычно говорят, что это происходит в

нем от измельчания души; однако такое рассуждение меня не слишком убеждает; очень уж невежественен тот старец, который не знает, что с годами человеку нужно все меньше. Кроме того, я вижу, как во многих стариках часто растет сладострастие, т. е. желание,— а не силы,— жестокость, и другие пороки; думаю поэтому, что, может быть, причина здесь в том, что чем дольше живет человек, тем больше привыкает он к благам, а значит, и больше их любит.

286. По той же причине, чем старше становится человек, тем тяжелее кажется ему смерть, и он всегда живет такими делами и мыслями, как будто уверен, что жизнь его продлится вечно.

287. Обычно думают, а часто видят по опыту, что богатство, приобретенное дурно, держится не дольше, чем до третьего поколения. Блаженный Августин говорит, что бог позволяет приобретателю его насладиться им в награду за добро, какое он сделал в жизни, но дальше оно редко передается, потому что так положено богом для имущества, дурно приобретенного. Я уже говорил моему отцу, что мне видится здесь другая причина: тот, кто наживает богатство, обычно воспитан в бедности и знает искусство его сохранения, но сыновья и внуки его воспитаны в богатстве, они не знают, что такое накапливать добро, и, не умея хранить его, легко его расточают.

288. Нельзя осуждать стремление иметь детей, ибо оно естественно, но я утверждаю,

что не иметь их — это особого вида счастье, потому что даже тот, чьи дети добры и умны, видит от них, конечно, больше горя, чем утешения. Пример этому — мой отец, который считался в свое время во Флоренции образцом отца, которому посланы хорошие дети; подумайте теперь, что же будет с человеком, кому в этом не повезет.

289. Не будем вовсе осуждать гражданский суд турок, который скорее поспешен, чем упрощен; ведь тот, кто судит, закрыв глаза, вероятно, решает справедливо хотя бы половину дел и избавляет стороны от расходов и потери времени; наши же судьи действуют так, что для правой стороны часто было бы лучше, если бы решение в первый же день было вынесено против нее, чем добиваться своего с такими тратами и муками; кроме того, по злобе и невежеству судей, а также по темноте законов, мы часто делаем белое черным.

290. Ошибается тот, кто думает, что случаи, переданные законом на решение судьи, предоставлены его воле и благоусмотрению; закон не хотел облечь судью властью карать и миловать, но, так как ввиду различия обстоятельств нельзя дать во всех отдельных случаях точное определение, он, по необходимости, полагается на решение судьи, т. е. на его чуткость и совесть, которые заставляют судью разобрать все и сделать то, что ему кажется более справедливым. Такая широта закона освобождает судью от отчета, так как для него всегда найдется оправдание в том, что данный случай в

законе не определен; однако судье вовсе не предоставлено раздавать чужое имущество.

291. Известно, по опыту, что хозяева не дорожат слугами и, не стесняясь, прогоняют или перегоняют их с места на место ради интереса или прихоти; поэтому умны те слуги, которые поступают так же со своими хозяевами, храня, однако, верность и честь.

292. Пусть юноши верят, что опыт учит многому и что для крупных умов он важнее, чем для мелких; кто подумал бы об этом, легко открыл бы причину.

293. Нельзя, даже при самой совершенной природе, верно понимать и постигать некоторые особые вещи, которым учит только опыт; эту мысль лучше поймет тот, кто долго был у дел, потому что тот же опыт научил его знать цену опыту.

294. Князь расточительный правится, конечно, больше, чем скупой; в действительности должно бы быть обратное, так как расточительный вынужден вымогать и грабить, а скупой ни у кого ничего не берет; страдающих от преследований расточителя больше, чем пользующихся плодами его щедрости. Причина, думаю мне, в том, что надежда в человеке сильнее страха и людей, которые надеются что-нибудь получить от князя, больше, чем тех, кто боится вымогательства.

295. Согласие с братьями и родителями приносит тебе бесконечные выгоды, которых ты даже не сознаешь, потому что они не обнаруживаются одна за другой, а помогают тебе в

бесчисленных случаях и обеспечивают тебе уважение. Поэтому ты должен сохранить эту любовь даже ценой некоторого для себя неудобства. Люди в этом часто заблуждаются; они возмущены мелкими внешними стеснениями и не думают о том, как велики блага, остающиеся невидимыми.

296. Человек, облеченный властью над другими, может позволить себе многое и расширить ее даже свыше сил своих, ибо подданные не видят и не соразмеряют, что ты можешь и чего не можешь; наоборот, воображая, что мощь твоя больше, чем она есть, они часто сами делают уступки, к которым ты не мог бы их принудить.

297. Я был прежде того мнения, что непонятное сразу останется для меня непостижимым, сколько бы я об этом ни думал; однако я познал на опыте, что мнение это вполне ложно; можете посмеяться над тем, кто говорит иное. Чем дело глубже продумано, тем лучше ты его поймешь и выполнишь.

298. Когда приходит желанный случай, схватывай его, не теряя времени, ибо все в мире изменяется так часто, что, пока вещь не в руке, нельзя говорить, что ты ее получил. По той же причине, когда тебе предлагают что-нибудь неприятное, старайся оттянуть это как можно дальше, ибо мы видим ежечасно, как время несет с собой неожиданности, избавляющие тебя от этой трудности; так и надо понимать пословицу, которая, как говорят, не сходит с уст мудрецов: должно пользоваться благом времени.

299. Одни люди легко поддаются надежде получить желанное, другие никогда этому не верят, пока не убедятся вполне; лучше, без сомнения, надеяться меньше, так как чрезмерная надежда ослабляет твою настойчивость и причиняет тебе больше огорчений при неудаче.

300. Если хочешь узнать мысли тиранов, читай у Корнелия Тацита рассказ о последних беседах Августа с Тиберием.

301. Тот же Корнелий Тацит, если хорошо его понимать, учит по преимуществу о том, как должен вести себя человек, живущий под властью тиранов.

302. Как хорошо сказано: *Ducunt volentes fata, nolentes trahunt!* Каждый день дает этому столько примеров, что по-моему лучше этого никто еще ничего не сказал.

303. Тиран прилагает все усилия, чтобы раскрыть твою душу, т. е. узнать, доволен ли ты его властью; он следит за каждым твоим движением, старается узнать об этом от тех, кто у тебя бывает, говорит с тобой о разных вещах, предлагает тебе решения и спрашивает, что ты о них думаешь. Поэтому, если ты не хочешь, чтобы он тебя разгадал, остерегайся с величайшей тщательностью приемов, употребляемых им, и сам не произноси слов, которые могут внушить ему подозрение, следи за своими беседами даже с самыми близкими людьми, говори и отвечай ему так, чтобы он ничего не мог из тебя извлечь; это удастся тебе, если ты накрепко запомнишь в душе своей, что

тиран охаживает тебя насколько можно, чтобы раскрыть твои мысли.

304. Человеку, известному у себя на родине и живущему под властью тирана кровожадного и зверского, можно дать лишь очень мало добрых советов, разве только уйти в изгнание. Когда же тиран из осторожности, по необходимости или по общему складу жизни в его государстве ведет себя с оглядкой, то человек, заметный среди других, должен стараться прослыть смелым, но спокойным и не склонным изменять свое поведение, если его к этому не вынудят; в таком случае тиран старается тебя обласкать и не давать тебе повода думать о переменах. Но он не поступал бы так, если бы знал тебя как человека беспокойного; в этом случае, считая, что ты никоим образом не можешь сидеть смиренно, он вынужден будет всегда искать способ тебя уничтожить.

305. В случае, о котором говорится выше, лучше не быть в числе людей, особенно близких тирану, потому что он не только тебя ласкает, но меньше рассчитывает на тебя, чем на своих приближенных. Таким образом ты пользуешься его величием, а гибель его вознесет тебя еще больше. Однако для человека, малоизвестного у себя на родине, замечка эта не годится.

306. Есть разница между подданными, доведенными до отчаяния, и подданными недовольными, потому что они не думают ни о чем, кроме перемен, и ищут их даже с опасностью для себя, а другие, даже если и же-

дают нового, не вызывают случая, а выжидают его.

307. Нельзя хорошо управлять подданными без строгости, ибо этого требует злобность людей, но суровость надо совмещать с осторожностью и всячески это показывать, дабы люди верили, что жестокость тебе не по сердцу, но что прибегаешь ты к ней по необходимости и во имя спасения общественного.

308. Надо обращать внимание на действие, а не на видимость и внешность вещей; однако трудно поверить, как сильно можно расположить к себе людей лаской и приветливым словом; причина этого, как мне кажется, в том, что каждый считает свои заслуги большими, чем они есть, и поэтому впадает в гнев, когда видит, что ты не отдаешь ему должное в той мере, в какой это, по мнению его, следует.

309. Человеку делает честь, если он не дает обещаний, когда не намерен их сдерживать; обычно, однако, всякий, кому ты отказываешь, бывает недоволен, ибо люди не слушаются голоса разума. Обратное бывает с теми, кто обещает много, ибо часто случаются неожиданности, благодаря которым не приходится проверять твои обещания на опыте, и таким образом ты удовлетворишь людей ничем; когда доходит до дела, всегда найдется предлог, чтобы от этого уклониться, а большинство столь простодушно, что позволяет дурачить себя словами. Однако нарушать слово так отвратительно, что надо держаться обратного, и это важнее всякой пользы; поэтому человек должен умуд-

ряться отделяваться, когда может, общими словами и по возможности избегать точных обещаний.

310. Берегитесь всего, что может повредить, а не пойти вам на пользу; поэтому ни в отсутствии, ни в присутствии других никогда не говорите ничего для них неприятного, если в этом нет выгоды или необходимости, ибо безумно без нужды создавать себе врагов; напоминаю вам об этом, потому что почти всякий повинен в таком легкомыслии.

311. Кто идет на опасность без должной осмотрительности, того надо назвать грубым животным; мужествен тот, кто, зная опасность, смело идет ей навстречу по необходимости или ради достойного дела.

312. Многие думают, что мудрый не может быть храбрым, так как он видит все опасности; я держусь обратного мнения,— что робкий не может быть мудрым, ибо уже тот судит слабо, кто расценивает опасность выше, чем должно. Чтобы разъяснить это темное место, я скажу, что не все опасности страшны на деле; одних человек избегает благодаря своей бдительности, искусству или смелости, выход из других указывают случай и тысяча неожиданностей. Поэтому тот, кто знает опасности, не должен считать, что все они несомненны, но, обдумав разумно, в чем он может надеяться на помощь и где ему может благоприятствовать случай, он должен быть мужественным, не отказываться от смелых и почетных предприятий из страха перед всеми опасностями, которые ему предстоят.

313. Ошибается тот, кто говорит, что образованность портит человеческие головы, хотя для людей ума слабого это, может быть, и верно; хорошую голову образованность делает совершенной, потому что дар природный в соединении с даром привходящим образует самый благородный состав.

314. Не для собственной пользы были посажены князья, ибо никто не пошел бы в рабство даром,— но во имя интересов народов, чтобы дать им хорошее управление; поэтому, когда князь перестает считаться с народом, он уже не князь, а тиран.

315. Скупость в князе несравнимо гаже, чем в частном человеке, и не только потому, что князь, который может давать больше, тем большего лишает людей, но и потому, что имущество частного человека принадлежит ему целиком, существует только для него и нельзя им распоряжаться, не вызывая справедливых жалоб; достоинство же князя дано ему для пользы и выгоды других, а потому, удерживая его для себя, он обманно лишает людей того, что должен им отдать.

316. Я говорю, что герцог феррарский³⁰, занимающийся торговлей, не только срамит себя, но что он тиран, так как берется за дело своих подданных, а не за свое; он также грешен перед народом, как был бы грешен народ перед ним, если бы вмешался в дела, которые должен ведать один только князь.

317. Все государства, если как следует рассмотреть их происхождение, строятся на на-

силы; нет власти законной, кроме республики, в пределах родного города и только там; незаконна и власть императора, основанная на власти римлян, которая была большим захватом, чем какая-либо другая; не исключая из этого правила и власть духовенства, насильственную вдвойне, ибо для подчинения людей оно пользуется оружием светским и духовным.

318. Дела мирские так разнообразны и зависят от стольких случайностей, что о будущем судить трудно; мы видим по опыту, что предположения людей мудрых почти всегда бывают ложны; не одобряю поэтому совета тех, кто упускает в настоящем даже малое благо из боязни будущих бед, хотя бы и больших, если они не подошли вплотную или не вполне достоверны; ведь то, чего ты боишься, часто вовсе не случается, и тогда оказывается, что ты лишился желанного из-за пустого страха; поэтому мудра пословица: из вещи родится вещь.

319. Я часто видел, как ошибаются люди, когда судят о власти; обыкновенно говорят о том, как должен был бы поступить тот или другой князь в силу разума, а не о том, как он поступит, следуя своей природе и уму; поэтому, желая судить хотя бы о том, что сделает король Франции, надо больше думать о природе и обычаях француза, чем о том, как поступил бы мудрый человек.

320. Я говорил много раз и снова повторяю, что человек одаренный и умеющий пользоваться временем не должен жаловаться на краткость жизни; он может осуществить без конца всякие

вещи и выигрывает время, потому что умеет тратить его с пользой.

321. Кто хочет действовать, пусть не позволяет отстранять себя от дел; они всегда идут одно за другим, как потому, что первое прокладывает путь второму, так и потому, что участие в предприятии создает тебе имя; и здесь точно так же можно применить пословицу: вещь рождает вещь.

322. Нелегко додуматься до этих мыслей, но еще труднее их осуществить; человек часто знает, но не действует; если хотите воспользоваться ими, пересильте природу — и вы приобретете хорошую привычку, которая поможет вам сделать не только то, что здесь написано, но исполнить без труда все, что вам прикажет разум.

323. Не удивится рабскому духу наших граждан тот, кто прочтет у Корнелия Тацита, что римляне, привыкшие к господству над миром и столь великой славе, так рабски служили императорам, что Тиберия, человека тиранического и надменного, тошнило от подобного ничтожества.

324. Если вы кем-нибудь недовольны, старайтесь, насколько можете, чтобы он этого не заметил, потому что он тогда совсем отшатнется от вас; часто представляются потом случаи, в которых он может быть вам полезен и был бы действительно полезен, если бы вы не испортили игру, обнаружив свою неприязнь к этому человеку. Я с пользой для себя видел на опыте, что если я когда-нибудь дурно отно-

сился к человеку, а он этого не замечал, то он потом во многих случаях служил мне верно и стал мне добрым другом.

325. То, что должно пасть не от одного удара, а от истощения сил, живет гораздо дольше, чем думалось вначале; происходит это оттого, что движение идет медленнее, чем можно было бы думать, и оттого, что люди, решившись терпеть, делают и выносят гораздо больше, чем этому можно было бы поверить; действительно, мы видим, что какая-нибудь война, которая должна была бы закончиться из-за голода, трудных условий, недостатка денег и тому подобных обстоятельств, тянулась дольше, чем это казалось возможным. Так, жизнь чахоточного всегда длится, вопреки мнению врачей и окружающих, так и торговец, загубленный процентами, раньше, чем стать банкротом, держится дольше, чем думали.

326. Кто общается с сильными мира, пусть не льстит себя ласковыми словами и поверхностными любезностями, которыми они обычно пользуются, чтобы вертеть людьми как угодно и кружить им головы своим благоволением; чем труднее от этого защититься, тем больше ты должен взять себя в руки, твердо владеть своей головой и не поддаваться легкомысленно.

327. Величайшая сила — это память о чести, потому что, кто помнит о ней, не боится опасностей и никогда не сделает подлости; знайте это твердо, и можно сказать почти наверно, что все вам удастся: *expertus loquor*.

328. Высмеивайте проповедников свободы: говорю это не обо всех, но исключая немногих; если бы эти люди надеялись, что им будет лучше в государстве, где властвует олигархия, они побежали бы туда, не останавливаясь по дороге; ведь почти во всех преобладает собственный интерес, и лишь редчайшие люди знают цену славе и чести.

329. Мне всегда было трудно поверить, что бог позволит сыновьям герцога Лодовико пользоваться властью в Милане не столько потому, что он злодейски ее захватил, сколько потому, что через это он стал причиной порабощения и гибели всей Италии и мук, терзающих весь христианский мир³¹.

330. Утверждаю, что хороший гражданин, любящий родину, должен общаться с тираном не только ради собственного спокойствия, ибо опасно навлечь на себя подозрение, но и для блага родины, потому что, поступая таким образом, он может при случае способствовать делом и советом многому добру и отвратить многое зло; те, кто осуждает его, безумны, потому что плохо было бы городу и им самим, если бы тирана окружали одни только злодеи.

331. Нам выгодно, чтобы в Сиене было разумное правительство, раз мы сами в таком состоянии, что не можем надеяться ее покорить; умный правитель всегда охотно с нами сговорится и никогда не захочет начать в Тоскане войну, так как он больше слушается голоса разума, чем увлекается природной ненавистью к нам. Теперь же, когда мы идем с

папами, нам выгоднее, чтобы в Сиене было правительство расшатанное, потому что она досталась бы нам гораздо легче.

332. Кто же не знает, что если папа овладеет Феррарой³², то целью будущих пап всегда будет господство над Тосканой. Попытка овладеть королевством неаполитанским слишком трудна, так как оно находится в сильных руках.

333. В государстве народном для таких семей, как наша, выгодно сохранение старинных знатных родов; они ненавистны народу, и поэтому мы пользуемся расположением всех; если бы эти роды исчезли, ненависть народа к ним обратилась бы на такие семьи, как наша.

334. Прекрасен был совет, данный отцом моим Пьеро Содерини, чтобы мы сами восстановили Медичи, как простых граждан; этим прекращалось их изгнание, которое было для государства всего опаснее, а у Медичи отнималось влияние как в городе, так и во-вне. Оно исчезло бы в городе, потому что Медичи, вернувшись и оказавшись наравне с другими, сами жили бы в нем неохотно; оно исчезло бы во-вне, потому что князья, уверенные раньше, что за Медичи стоит большая партия, перестали бы с ними считаться, увидав, что Медичи вернулись и не у власти; однако этот совет не мог иметь успеха, так как на месте Пьеро Содерини не оказалось гонимого более предприимчивого и смелого³³.

335. Народы, как и люди, по природе своей всегда стремятся иметь больше, чем у них есть; поэтому благоразумно сперва отклонять их домогательства, так как уступками с ними не

поладить; наоборот, это побуждает их просить больше и настойчивее прежнего, ибо чем больше им дают пить, тем острее становится жажда.

336. Дела прошлого освещают будущее, ибо мир был всегда один и тот же; все, что есть и будет, уже было в другое время, а бывшее возвращается, только под другими названиями и в другой окраске; но узнает его не всякий, а лишь мудрый, который тщательно его наблюдает и обдумывает.

337. Человек положительный, без сомнения, преуспевает в мире лучше, живет дольше и в известном смысле счастливее умов возвышенных, потому что ум благородный служит обладателю своему скорее на горе и муку; однако этот положительный человек больше сродни грубому животному, а возвышенный ум переходит за пределы человеческие и приближается к существам небесным.

338. Если вы внимательно посмотрите кругом, то увидите, что от поколения к поколению меняются не только слова, покрой одежды и нравы, а то, что гораздо важнее, т. е. вкусы и склонности души; разница эта заметна в различных странах, даже у людей одного возраста. Говорю не о нравах, потому что различие в них может происходить от различия учреждений, а о вкусах, пище и разнообразных стремлениях людей.

339. Те же предприятия, которые оказываются бесконечно трудными или невозможными, когда затеяны не во-время, удаются шутя, когда им сопутствует время или случай; кто пытается

выполнить их в неподходящее время, не только не имеет успеха, но возникает опасность, как бы эта попытка не испортила дела даже для того времени, когда оно удалось бы легко: потому-то считаются мудрыми люди терпеливые.

340. Во время своих наместничеств я заметил, что, когда до меня доходило дело, которое я по каким-нибудь причинам желал кончить соглашением сторон, то я о соглашении не говорил, а разными отсрочками и оттяжками достигал того, что сами стороны начинали его добиваться. Таким образом, предложение, которое было бы отвергнуто, если бы я заговорил о нем сразу, получало такой вид, что, когда наступало время, меня же просили быть посредником.

341. Невеликое дело, когда правитель, часто прибегающий к жестокости и суровым примерам, заставит себя бояться, потому что подвластные легко испытывают страх перед тем, кто может насильничать и разорять и легко переходит к расправе. Однако я хвалю тех правителей, которые редко прибегают к карам и расправам, но умеют приобрести и сохранить имя грозных.

342. Я не говорю, что правитель государства не бывает иной раз вынужден окунуть руку в кровь, но я утверждаю, что без великой необходимости делать этого нельзя, и что большей частью здесь скорее теряешь, а не выигрываешь; ведь ты оскорбил не одних пострадавших, но вызвал неприязнь во многих; если тебе даже

удастся сокрушить одно препятствие или устранить одного врага, семья же его не истребится, то на место его приходят другие, и часто случается, подобно рассказам о гидре, что на каждого убитого врага их вырастает семь³⁴.

343. Помните сказанное в другом месте, что заметки эти нельзя применять без разбора; в некоторых особенных случаях они по разным причинам непригодны, а каковы эти случаи, нельзя понять ни по каким правилам, и нег книги, которая этому учит, а необходимо, чтобы тебя просветила сначала природа, а потом опыт.

344. Я считаю несомненным, что ни одно дело и никакая власть не требуют большего ума и более высоких качеств, чем это нужно для полководца; ведь нет предела вещам, о которых он должен подумать и распорядиться, нет конца неожиданностям и случайностям, с которыми ему каждый час приходится встречаться, так что глаза его поистине должны быть зорче, чем у Аргуса; не только по важности дела, но и по благоразумию, которое здесь потребно, это такое бремя, что по сравнению с ним всякое другое по-моему будет легко.

345. Кто говорит слово «народ», хочет в действительности сказать «сумасшедший», ибо народ — это чудовище, в уме которого все смутно и ложно, а пустые мнения его так же далеки от истины, как далека по Птоломею Испания от Индии.

346. Я всегда естественно желал разрушения папского государства, а по воле судьбы два-

жды появлялись на престоле папы, величия которых я был вынужден желать и ради него трудиться; если бы не это, я любил бы Мартина Лютера больше самого себя, так как надеялся бы, что его секта могла бы разрушить или по крайней мере подрезать крылья этой преступной тирании попов.

347. Не одно и то же быть безрассудно смелым и не бежать от опасности во имя чести. И тот, и другой понимают опасность, но один уверен, что сможет защититься, и, если бы не эта уверенность, он не стал бы выжидать; другой боится, может быть, больше, чем следует, но держится крепко не потому, что свободен от страха, а потому, что готов скорее перенести несчастье, чем позор.

348. В нашем городе постоянно случается, что человек, который был главным пособником возвышения другого, быстро становится его врагом. Причины, как говорят, в том, что такие люди, обычно высокопоставленные и одаренные, могут бояться, как бы властитель не начал их подозревать. Можно прибавить к этому и другое: считая, что они заслужили многое, люди эти часто хотят большего, чем им следует, и негодуют, когда их требования не исполняются; отсюда возникают взаимная вражда и подозрительность.

349. Человек, который помог другому подняться высоко, но вздумает потом руководить им по-своему, уничтожает этим оказанную услугу, так как хочет пользоваться сам властью, которая его же усилиями вручена другому; если

тот не стерпит, он будет прав, и нельзя называть его за это неблагодарным.

350. Не хвалите человека за те или другие поступки или за воздержание от них, когда при других условиях вы бы его за то же самое осудили.

351. Кастильская пословица говорит: «нитка рвется с самого слабого конца». Когда доходит до соперничества или сравнения с более сильным или более важным, всегда страдает слабейший, несмотря на то, что разум, честность или благодарность требовали бы обратного; ведь, люди обычно больше думают о своих интересах, чем о долге.

352. Не могу и не умею гордиться и создавать себе имя делами, которые этого не стоят, а было бы полезно поступать обратно; трудно поверить, до чего помогает тебе известность и уверенность людей в твоём величии; только при такой молве люди бегут за тобой, и тебе не приходится проявлять себя на деле.

353. Я всегда говорил, что если флорентийцы приобрели те небольшие владения, какие у них есть, это гораздо удивительнее, чем крупные завоевания венецианцев или любого другого князя в Италии; ведь, в каждом маленьком уголке Тосканы так укоренилась свобода, что все были врагами величия Флоренции. Иное дело, когда город окружен народами, привыкшими к рабству, для которых угнетение тем или другим не настолько важно, чтобы они оказали упорное или постоянное сопротивление. Кроме того, величайшим препятствием было для нас сосед-

ство церкви; она так окрепла, что всячески мешала росту нашего господства.

354. Все заключают, что правление одного властителя, когда он хорош, лучше, чем даже хорошее правление немногих или большинства; причины здесь очевидны. Точно так же считается, что власть одного всего легче превращается из хорошей в дурную, а когда эта власть дурна, она хуже всех, тем более, что она передается по наследству; ведь лишь редко случается, чтобы хорошему и мудрому отцу наследовал подобный же сын. Поэтому мне бы хотелось, чтобы эти политики, обдумав все условия и опасности, объяснили бы мне, чего надо больше желать для нарождающегося государства — власти одного, немногих или большинства.

355. Хуже всех знает своих слуг хозяин, и в такой же мере не знает начальник подчиненных; перед ним они совсем не те, что перед другими; наоборот, они стараются закрыться от него и показаться ему совсем другими, чем они есть.

356. Если состоишь при дворе или в свите кого-нибудь из великих этого мира и хочешь, чтобы он приобщил тебя к делам, старайся быть у него всегда на глазах, ибо ежечасно возникают дела, поручаемые им тому, кого он часто видит, или тому, кто к нему ближе; он не поручил бы их тебе, если бы для этого нужно было тебя разыскивать; кто не умеет начать хотя бы с малого дела, для того часто закрывается доступ к большому.

357. Безумными кажутся мне монахи, проповедующие предопределение и трудные догматы

веры; лучше не давать людям повода задумываться о вещах, усваиваемых с трудом, чем будить в умах их сомнение, которое приходится потом успокаивать словами: так говорит наша вера, так надобно верить.

358. Ты можешь быть хорошим гражданином и не захватчиком, но, связывая себя во Флоренции с властью, подобной власти Медичи, ты приобретаешь дурную славу и впадаешь в немилость у народа, а этого при всех случаях, насколько возможно, надо избегать. Однако я думаю, что ты не должен из-за этого от них отделяться и терять блага, которые даются подобной близостью; ведь, если ты не прослышешь грабителем или не оскорбишь какого-нибудь влиятельного человека или многих, то впоследствии, когда правление изменится и у народа не будет причин тебя ненавидеть, грехи тебе отпускаются, опала в конце концов снимается и проходит время отверженности и унижения; конечно, все это тяжело, а иной раз обманчиво, но все же нельзя отрицать, что проиграть на этом трудно и что сохраняет себя тот, кто ведет большую игру.

359. Повторяю вам снова: хозяева не считаются со слугами и ради малейшего своего удобства они могут трепать их без всякой пощады; поэтому разумны слуги, воздающие хозяевам тем же, но не делающие ничего, противного верности и чести.

360. Кто знает, что ему сопутствует счастье, может бодро идти на любое дело; однако его надо предостеречь, что счастье может изменять

не только от времени до времени, но даже в одно время человеку может везти по-разному; кто хорошо наблюдает, увидит, что тот же самый человек счастлив в одном и несчастлив в другом. Я, в частности, до сего дня, 3 февраля 1523 года, был во многом счастливейшим человеком, но в делах торговых и в почестях, которых я хотел, мне невезло. И отличия, которых я вовсе не искал, шли ко мне сами, а те, которых я искал, как будто отдалялись.

361. Нет у человека большего врага, чем он сам, ибо почти все беды, опасности и ненужные терзания происходят не от чего иного, как от чрезмерной его алчности.

362. Ничто в мире не стоит на месте; наоборот, все идет вперед по пути, на котором вещам, согласно природе их, положено иметь начало и конец, но ход этот медленнее, чем мы думаем; ведь мерим все нашей короткой жизнью, а не долгим временем, положенным вещам; поэтому шаги его медленнее наших и даже так медленны от природы, что мы часто не замечаем его движений, даже когда они есть; вот отчего суждения наши часто бывают ложны.

363. Стремление к богатству истекало бы из души низкого или дурного склада, если бы мы желали его только для наслаждения; но тот, кто хочет создать себе имя в мире испорченном, как он есть, тот вынужден желать себе богатства, ибо когда оно есть, то сверкают и ценятся таланты, которые в бедном человеке мало уважаются и мало заметны.

364. Не знаю, надо ли считать баловнями судьбы людей, которым раз в жизни представляется счастливый случай; ведь человек не очень большого ума не умеет воспользоваться им как следует; однако нет сомнения, что настоящие счастливицы — это люди, которым такой случай представляется дважды, потому что во второй раз редко кто его пропускает; здесь ты целиком обязан судьбе, тогда как в первый раз многое зависит от ума.

365. Свобода в республиках — это служанка справедливости, ибо она установлена не для иной цели, как для защиты одного от притеснения другим; если бы мы были уверены, что при власти одного или немногих справедливость будет соблюдена, не было бы причин особенно желать свободы. Вот почему древние мудрецы и философы ставили свободные правительства не выше других и предпочитали правление, при котором лучше обеспечена охрана законов и справедливости.

366. Когда новости сообщаются неизвестно кем и притом правдоподобны и ожидаются давно, я верю им мало, потому что люди легко выдумывают вести, которых ждут или которым хочется верить. Я буду вслушиваться внимательнее, если это новости странные или неожиданные, так как людям незачем выдумывать или убеждать себя в том, о чем никто не сомневается; я много раз убеждался в этом на опыте.

367. Счастлив жребий астрологов, хотя все в них суета, по несовершенству ли искусства

или их самих; одно верное предсказание больше укрепляет веру в них, чем сто ложных предсказаний ее ослабляют. Если обыкновенного человека хотя бы только раз уличили во лжи, вся правда, которую он может сказать, делается подозрительной. Происходит это от великого желания людей знать будущее; не имея для этого других средств, они легко верят тем, кто заявляет, что может их этому научить, как больной верит врачу, который обещает ему спасение.

368. Молите бога, чтобы вам не пришлось быть на стороне побежденного, потому что вас всегда будут винить, даже если вы ни в чем не виноваты; нельзя всегда оправдываться на всех площадях и подмостках; зато сторонник победившей стороны слышит одни похвалы, даже если он их не заслуживает.

369. Всякий знает, что в частных отношениях дело надежное быть владельцем вещи, хотя бы способы доказательства не менялись, а порядок суда и иска оставался обычным и твердым; это неизмеримо менее надежно в делах, зависящих от политических случайностей или от воли властвующих; так как здесь нельзя бороться неизменными доказательствами и нет устойчивых судов, то каждый день возникают тысячи дел, которые охотно возбуждаются теми, кто может притязать на твою собственность.

370. Кто хочет быть любимым людьми, занимающими высокое положение, должен оказывать им почет и уважение и быть в этом скорее расточительным, чем скупым; ничто так

не оскорбляет начальствующего, как мысль, что ему не оказали того почета или уважения, которые ему, по мнению его, полагаются.

371. Приказ сиракузян, упоминаемый Ливием и предписывающий убить всех дочерей тиранов, был жесток, но не вовсе бессмыслен; когда тирана больше нет, люди, которым хорошо жилось под его властью, провозгласили бы другого, если бы только могли, но создать имя новому человеку не так просто, и потому они собираются вокруг потомков умершего. Таким образом, город, только что освободившийся от тирании, никогда не обеспечит своей свободы, если не истребит всю породу и потомство тиранов. Я безусловно утверждаю это о мужчинах, а насчет женщин надо различать, смотря по условиям, по особенностям их и по состоянию города.

372. Я уже говорил, что государства не обеспечивают себя тем, что рубят головы, ибо тем скорее множатся враги, как это сказано о гидре; есть, однако, много случаев, когда государства скрепляются кровью, как стены скрепляются известкой. Нет правила, которое научило бы различать эти противоположности; это дело ума и чутья того, кому приходится различать их в жизни.

373. Никто не властен выбирать себе по собственной воле чины и дела, но часто приходится брать то, что уготовано тебе судьбой, и соответственно состоянию, в котором ты родился; поэтому высшая хвала в том, чтобы хорошо и толково исполнять свое дело. Так и в комедии

не меньше хвалят актера, хорошо играющего раба, чем того, кто играет царей; действительно, каждый может на месте своем добиться славы и чести.

374. Каждый делает в этом мире ошибки, вред от которых бывает больше или меньше, смотря по тому, какие последуют за этим дела и события; счастливы люди, которым случается ошибаться в делах неважных, так что беспорядок от этого не слишком велик.

375. Великое счастье жить так, чтобы не терпеть обид и самому не обижать других; однако тот, кто доведен до того, что вынужден давить или терпеть, должен взять то, что ему выгодно; ведь защищаться, чтобы оградить себя от обиды, так же справедливо, как и защищаться от обиды уже нанесенной. Конечно, здесь надо хорошо различать обстановку, не воображая себе от излишнего страха, что ты должен предупреждать намерения другого, и не оправдывая насилия, творимого тобой из алчности и злобы, ссылкой на этот страх, когда в действительности у тебя ни на кого подозрений нет.

376. Дому Медичи при всем его величии труднее сейчас сохранить власть над Флоренцией, чем было его предкам, простым гражданам, эту власть приобрести. Причина здесь в том, что город в те времена еще не изведal свободы и народного строя; наоборот, он был всегда в руках немногих, и поэтому тот, кто правил государством, не возбуждал к себе вражды всех граждан и народа; ведь им было почти все равно, принадлежит ли власть тем

или другим. Однако память о народном строе, который держался с 1494 до 1512 года, настолько крепка, что, кроме очень немногих, рассчитывающих на то, что при олигархии они могут угнетать других, все остальные — враги властителю, так как они лишились власти, принадлежавшей, по их мнению, им самим.

377. Пусть никто во Флоренции не надеется стать во главе государства, если он не принадлежит к роду Козимо, да и тот не может держаться без помощи пап. Ни у кого другого, кто бы он ни был, нет таких корней или стольких сторонников, чтобы он мог об этом помышлять, если только его не выносит наверх народное движение, которому нужны вожди; так было с Пьеро Содерини; поэтому, кто мечтает о таких высотах, не принадлежа к роду Медичи, должен любить строй народный.

378. Склонности и решения народов столь обманчивы и так часто вдохновлены случайностью, а не разумом, что тот, кто строит свою жизнь, опираясь только на надежду возвыситься с помощью народа, в том мало здравого суждения; он рассчитывает больше на случай, чем на разум.

379. У кого нет данных для того, чтобы стать во Флоренции главой государства, тот безумен, если связывает себя с какой-нибудь партией так тесно, что судьба партии решает и его судьбу; на этом проигрываешь несравненно больше, чем выгадываешь; пусть не вздумается никому подвергнуться опасности изгнания; мы не вожди партий, как Адорни и Фрегози в Генуе, и никому нет охоты нас поддерживать,

так что мы остаемся на чужбине неизвестными и бездомными людьми, которым приходится вести нищенскую жизнь. Кто помнит Бернардо Ручеллаи³⁵, для того это пример более чем достаточный; по той же причине должно советовать держаться осторожно и оставаться в ладу с главой государства, так как не следует иметь его врагом или быть у него на подозрении.

380. Я был бы готов стремиться к переменам в правлении, которое мне не нравится, если бы я мог надеяться произвести эти перемены один; когда же я вспомню, что надо соединяться с другими людьми, большей частью безумцами или злодеями, не умеющими ни молчать, ни делать дело, то нет другой вещи, о которой я думал бы с таким отвращением.

381. Было двое пап, по характеру совершенно противоположных друг другу, Юлий³⁶ и Климент³⁷; один, человек большой, может быть даже огромной, смелости, нетерпеливый, бурный, прямой и открытый; другой — осторожный, может быть даже робкий, терпеливый до крайности, умеренный, скрытный. И все же, как ни противоположны они по характеру, можно ожидать от их великих дел одних и тех же последствий. Дело в том, что у великих мастеров терпение и натиск одинаково способны творить великое, так как один действует тем, что толкает людей и навязывает свою волю событиям, а другой берет их измором и побеждает с помощью времени и случая. Поэтому вредное в одном — полезно в другом и обратно; кто мог бы соединить их свойства и во-время ими пользоваться,

тот был бы существом божественным, но, так как это почти невозможно, я думаю, что, *omnibus computatis*, можно больше сделать терпением и умеренностью, чем натиском и стремительностью.

382. Будущее настолько смутно, что, даже когда люди решают что-нибудь, хорошо это обдумав, последствия часто бывают обратными. Тем не менее нельзя, подобно зверю, отдаваться на волю судьбы, а надо, как подобает человеку, действовать разумом; мудрый же должен быть более удовлетворен, если поступит обдуманно, хотя бы это привело к плохим последствиям, чем если бы получил хороший результат от дурного совета.

383. Кто хочет жить во Флоренции, пользуясь расположением народа, должен бояться славы честолюбца и ничем не обнаруживать, что он хотя бы в мелочах или повседневной жизни хочет казаться важнее, пышнее или утонченнее других; в городе, где все основано на равенстве и насыщено завистью, неизбежно становится ненавистным всякий, о котором думают, что он не хочет быть как другие или выделяется из общего строя жизни.

384. Главное в хозяйстве не допускать никаких излишних расходов,—но искусство, как мне кажется, в том, чтобы одни и те же расходы приносили тебе больше выгоды, чем другим, или, говоря попросту, в умении купить на грош пятаков.

385. Знайте, что тот, кто наживает, может, конечно, тратить больше, чем тот, кто не на-

живает ничего, но все же безумно, не составив себе сначала хорошего состояния, сыпать деньгами, рассчитывая только на наживу; ведь случаи нажить бывают не всегда. Если их даже много, тебе от этого не лучше, потому что, когда пройдет эта пора, ты оказываешься потом беден, как прежде, и только потерял время и честь; в конце концов все считают простакон человека, не сумевшего как следует воспользоваться удобным случаем; помните хорошенько эту заметку, потому что я видел в свое время, как много в этих делах было ошибок.

386. Отец мой говаривал, что каждый дукат в твоём кошельке делает тебе больше чести, чем десять из него истраченных; слова эти надо заметить как следует, не для того, чтобы стать скрягой или не тратиться на дела почетные и разумные, а для того, чтобы они были тебе уздой и удерживали тебя от расходов излишних.

387. Очень редко бывает, чтобы договоры подделывались с самого начала; однако впоследствии, когда люди начинают хитрить или замечают по ходу дела, что им было бы нужно, они стараются заставить бумагу заговорить, как человеку этого бы хотелось; поэтому, когда бумаги по делам важным для вас заготовлены, заведите себе обычай снять с них копию сейчас же и хранить ее у себя дома в форме, требуемой законом.

388. Иметь во Флоренции дочерей — страшная тягость, так как хорошо выдать их замуж можно только с величайшими трудностями, и, чтобы

не ошибиться в выборе, надо очень точно знать удельный вес — свой собственный и окружающих обстоятельств. Это уменьшило бы затруднения, которые часто только разрастаются оттого, что человек слишком высокого мнения о себе или плохо расценивает обстоятельства. Я много раз видел, как мудрые отцы отказывались вначале от предложений, о которых позднее тщетно мечтали; конечно, человек не должен из-за этого унижаться и предлагать себя, наподобие Франческо Веттори, первому, кто пожелает. Во всем этом требуется, помимо счастья, еще великое благоразумие, и я лучше знаю, как следовало бы поступить, но не знаю, как поступлю, когда дойдет до дела.

389. Известно, что услуги, оказанные гражданам и народу, не ценятся наравне с услугами, оказанными в частной жизни, потому что, раз дело касается общества, никто не считает, что услуга относится и к нему самому; поэтому тот, кто трудится для граждан и народа, пусть не надеется, что они потрудятся для него в минуту опасности или нужды, или что они, помня услугу, откажутся от какого-нибудь своего удобства. Тем не менее, не презирайте настолько пользу народную, чтобы пропустить случай сделать во имя ее что-нибудь хорошее; это создает тебе доброе имя и доброе о тебе мнение, и такая награда достаточна за твой труд. Кроме того, память об этом иногда бывает для тебя полезна, и облагодетельствованный может зашевелиться, правда, не с таким жаром, как он сделал бы это ради личной услуги,

но по крайней мере он тебе не портит; так много людей затронуто этим легким впечатлением, что, если сложить в одно целое благодарность, испытываемую всеми, это всегда бывает заметно.

390. Не всегда видишь плоды дела похвального, ибо часто тот, кто не довольствуется добром ради него самого, перестает его делать, считая, что он теряет время; кто так думает, впадает в ошибку не малую, ибо поступок, достойный хвалы, если даже и не приносит тебе плодов очевидных, зато распространяет о тебе добрую славу и доброе мнение, которое во многие времена приносит тебе пользу несказанную.

391. Правитель города, который ждет нападения или осады, должен позаботиться обо всем, что только можно достать; если в нем даже нет твердой надежды, он должен дорожить всем, что отнимает у врага хотя бы малую долю времени; ведь часто лишний день, лишний час приносят какую-нибудь неожиданность, которая тебя освобождает.

392. Если по поводу какого-нибудь события попросить человека мудрого предсказать последствия и записать его суждения, а потом с течением времени к нему вернуться, то окажется, что его предсказания оправдались не больше, чем гадания астрологов на новый год; все дело в том, что слишком разнообразны дела этого мира.

393. Не может здраво судить о важных делах тот, кто не знает хорошо всех подробностей, потому что какое-нибудь одно обстоятельство, даже самое мелкое, часто меняет все; однако я

часто видел, что человек, знающий дело только в общих чертах, судит о нем хорошо, и он же судит хуже, когда узнает частности; происходит это оттого, что ум, не вполне совершенный и не вполне свободный от страстей, погружаясь в подробности, легко смущается или сбивается с пути.

Дополнение, начатое в апреле 1528 года

394. В рассуждениях о будущем опасны различения, вроде того, что произойдет то или другое, и если сбудется первое, я поступлю так-то, если второе — вот так; часто случается третье или четвертое событие, совсем не похожее на то, что ты предполагал, и ты обманут во всем, потому что решение твое не имело основы.

395. Когда приближается беда, особенно на войне, не пренебрегайте средствами борьбы, не упускайте их только потому, что они, по вашему мнению, уже не успеют во-время; события, как по природе своей, так и в силу различных препятствий, движутся часто медленнее, чем мы думали, и средство, которое ты упустил, считая его запоздалым, было бы часто вполне своевременным; я не раз видел это на опыте.

396. Не упускайте случая сделать что-нибудь создающее вам известность, если вы хотите кого-нибудь удовлетворить или приобрести себе друзей; друзья и знаки благоволения сами идут к человеку, молва о котором держится или растет,

но того, кто этим пренебрегает, уважают мало. Если у человека нет имени, то нет у него ни друзей, ни благоволения.

397. Не умея держаться середины, ты впадаешь в крайность, которой стремишься избежать, тем скорее, чем больше ударяешься ради этого в крайность противоположную; поэтому народные правления тем легче впадают в тиранию, чем больше они стремятся ее избежать и переходят ради этого в распущенность; однако наши флорентийцы этой грамоты не понимают.

398. Когда мы хотим избавиться от какого-нибудь закона или учреждения, которое нам не нравится, мы по нашей старинной привычке ищем спасения в том, что устанавливаем прямо противоположное; потом, когда обнаружатся другие недостатки, ибо крайности все порочны, приходится нам снова менять законы и учреждения; в этом одна из причин того, что мы каждый день издаем новые законы, ибо мы больше стремимся убежать от надвигающегося зла, чем найти от него средство.

399. Как ложно обычное рассуждение людей, повторяемое ими каждый день: если бы случилось одно, а не другое, были бы такие-то последствия; если бы мы могли знать правду, последствия оказались бы большей частью одни и те же, хотя бы события, которые, по нашему предположению, могли их изменить, были бы совсем иного рода.

400. Когда правят злодеи и невежды, не приходится удивляться тому, что не ценят доблести

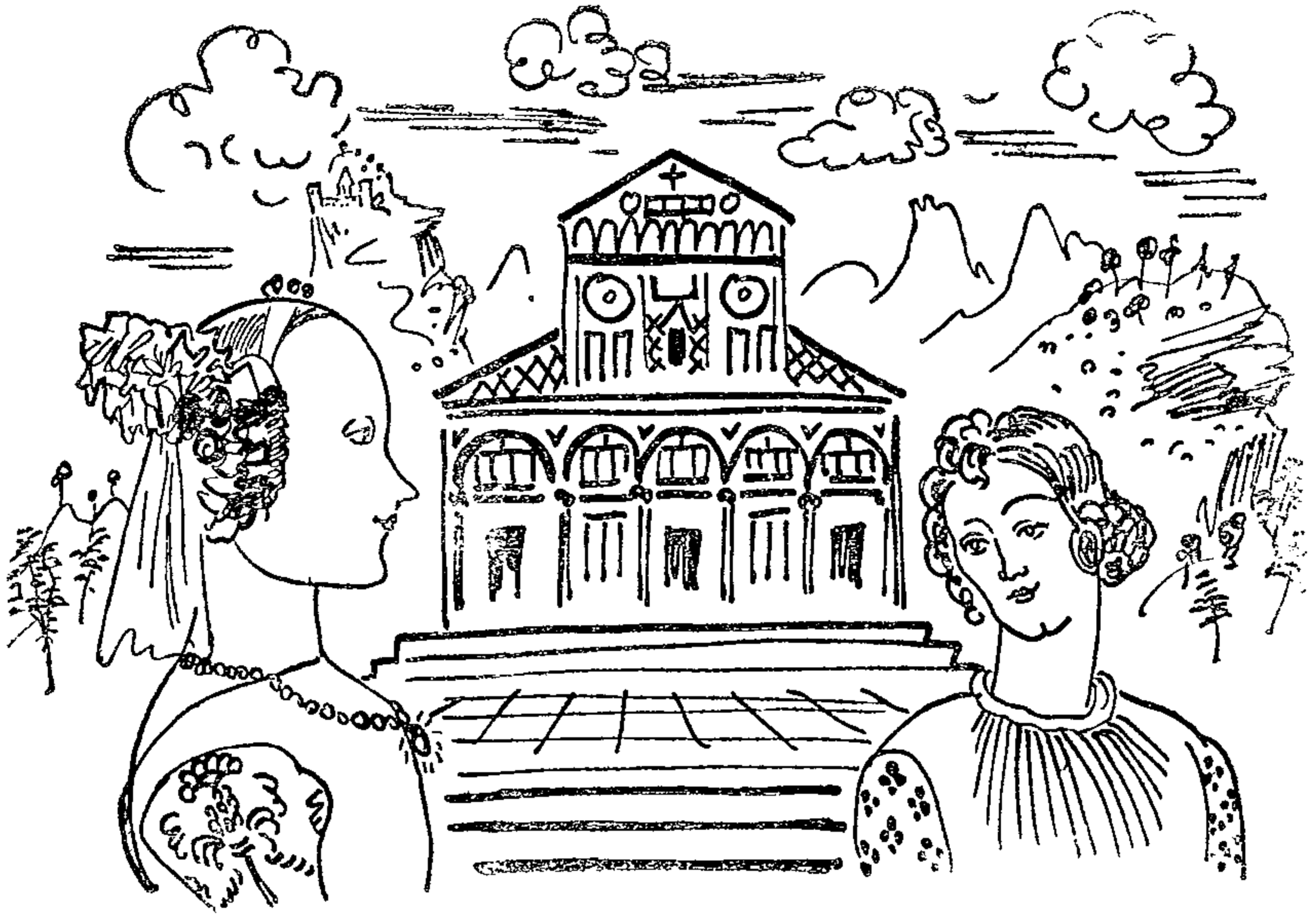
и доброты; первые ее ненавидят, а вторые ее не знают.

401. Достаточно хорош гражданин, если он ревностно трудится на благо родины и чуждается всего, что вредит другим, лишь бы он только не презирал религию и добрые нравы. Излишняя доброта наших братьев из Сан Марко часто бывает лицемерием, а когда она не притворна, то хотя она и не лишняя для христианина, но для блага города не дает ничего.

402. Медичи поступают неправильно, если пожелают править своим государством посредством учреждений, созданных для свободы, например, допуская широкие круги к избранию жребием, предоставляя должности каждому и т. п. Ибо олигархию во Флоренции отныне возможно удерживать лишь при горячей поддержке немногих, и приемы Медичи не создадут им ни дружбы народа, ни приверженности немногих. Свободный народ поступит неправильно, если захочет во многих случаях править, как олигархи, особенно если он отстранит одну из городских партий, ибо свобода может держаться не иначе, как удовлетворенностью всех; народное правление не может во всем подражать олигархии, и безумно подражать ей в том, что делает ее ненавистной, а не в том, что создает ее силу.

403. *O ingenia, magis acris quam natura,* сказал Петрарка, и слова эти справедливы для флорентийских умов, ибо их природное свойство скорее живость и острота, чем зрелость и глубина.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА



Во имя бога всемогущего и прославленной матери его, святой девы Марии, святого Иоанна Крестителя, заступника и покровителя сего благороднейшего города, святого Франциска, святого Фомы Аквинского, моих особых заступников и покровителей, и во имя всего сонма небесного.

В книге этой, написанной мною, Франческо Гвиччардини, доктором прав, сыном Пьеро Гвиччардини, будут заключаться воспоминания о некоторых вещах, касающихся меня, начиная со дня моего рождения и далее; книгу эту начал я писать в день 13 апреля 1508 года во Флоренции.

В ней же содержатся воспоминания о некоторых вещах, касающихся всего нашего дома вообще.

* * * *

Знать о своих предках, особенно когда предки эти были храбрыми, доблестными и почитаемыми гражданами, может быть только полезно для потомков, ибо это всегда побуждает их жить так, чтобы восхваление предков не звучало порицанием им самим; по этим причинам я решился вспомнить нечто о наших предках не столько для самого себя, сколько для тех, кому придется жить после меня; делая это не из тщеславия, а ради пользы, я буду говорить правду обо всем, что мне стало известно, даже об их недостатках и ошибках, и, таким образом, читатель возгорится желанием подражать доблести их, и вместе с тем научится избегать их пороков. Я описал их, затратив на это много труда, и руководился не столько тем, что я слышал, сколько воспоминаниями и еще гораздо больше письмами их, бывшими для меня зеркалом, в котором я видел не только дела их, но качества и нравы. Поэтому я скажу здесь правду и прошу наших потомков, которым достанутся эти воспоминания, не показывать их никому постороннему нашему роду, но читать их для себя и для собственной пользы, ибо писал я их единственно ради этой цели, как и ради двух вещей, которых я желаю больше всего в мире: одна — это возвеличение города сего и его свободы на веки веков, другая — слава рода

нашего не только при жизни моей, но и навсегда. Да будет угодно богу сохранить и взрастить то и другое.

* * * *

Я не знаю точно, несмотря на долгие разыскания, каково происхождение нашей семьи, но знаю, что члены ее были приорами¹ около 1300 года, т. е. примерно через восемь лет после учреждения этой магистратуры, и первыми в нашем доме, занимавшими эту должность, были Симоне и Лионе, состоявшие даже гонфалоньерами справедливости². Не знаю, к какому сословию они принадлежали, но род наш долгое время, т. е. около восьмидесяти лет, был средним по богатству и состоянию, и мы были, говоря попросту, добрыми пополанами³. Впоследствии он настолько вырос, сперва по богатству, а затем и по положению, что был всегда и состоит теперь, особенно по положению, одним из первых в городе; род наш был осыпан почестями, члены его занимали все возможные должности и до сего дня пятнадцать раз были гонфалоньерами справедливости. Во Флоренции не больше пяти семейств, исполнявших эту должность чаще. Довольно о нашем доме вообще. Скажу теперь о каждом человеке отдельно, т. е. о тех, кто больше выделялся по личным качествам и по положению.

Мессер Пьеро, от которого мы исходим, был рыцарем, но я не знаю, кем и за что пожаловано ему это достоинство; это был человек богатый, управлявший тосканскими делами

мессера Никколò Аччайоли, великого сешешаля королевства Неаполитанского, и руководивший за него постройкой стены Чертозы. Он был один раз гонфалоньером справедливости, а в остальном выделялся мало. У него был единственный сын, Луиджи, о котором сейчас пойдет речь.

По смерти отца, мессер Луиджи, единственный сын мессера Пьеро, опасаясь, как бы тело его отца, как ростовщика, не было лишено погребения епископом, сговорился с этим епископом, и ему пришлось уплатить налог на случайные доходы; он пользовался при этом советами фра Луиджи Марсили, монаха монастыря блаженного Августина, знаменитейшего богослова, который нашел, что этого достаточно даже для спасения души. Об этом деле он оставил подробные воспоминания, записанные им самим в книге, на которую я и ссылаюсь. Впоследствии это был богач, может быть, самый богатый человек в городе. Он занимал много должностей, не раз был послом при папе, при Джованни Галеаццо, герцоге миланском⁴, и при Людовике, герцоге анжуйском⁵, когда тот явился в Италию для похода на Неаполь против короля Карла. Он занимал и другие места, какие — точно не знаю, был, между прочим, викарием Сан Миниато; в должности этой он приобрел такое расположение подвластных, что при отъезде они оказали ему величайшие и совсем новые почести, поместив в одной из своих зал портрет его во весь рост; но преемник его из зависти велел его замазать. Он был три раза гонфалоньером справедливости, и его первый гонфа-

лоньерат пришелся в пору больших городских смут, так как при его предшественнике Сальвестро Медичи⁶ народ сжег и разграбил дома многих первейших граждан города; когда он пытался успокоить эти волнения, простой народ и чомпи, не сомневаясь, что при водворении спокойствия в городе они будут наказаны за пожары и грабежи, составили заговор, подстрекаемые к тому же коллегией восьми⁷ по военным делам, в которой сидели враги оптиматов, очень влиятельные в народе, а с другой стороны — Сальвестро Медичи и его сторонниками из числа граждан; это дошло до синьоров, приказавших задержать несколько человек (в том числе самого Сальвестро), от которых они узнали в чем дело; тогда толпа возмутилась и подожгла дома гонфалоньера и многих других граждан. Затем она силой захватила дворец подеста⁸ и, наконец, ворвалась во дворец синьории, выгнала синьоров из дворца, сместила их с должностей и выбрала на их место других. Во время этого бунта гонфалоньер Луиджи был сделан рыцарем⁹, а затем выслан в свою виллу в Поппиано; таким образом, в течение двух или трех дней одни и те же люди сожгли его дом, сместили с должности, изгнали его из города и сделали его рыцарем.

Все писавшие об этом движении жестоко осуждают синьорию и особенно гонфалоньера, как главу ее, называя их людьми недостойными и ничтожными, за то, что они покинули дворец. Я не собираюсь защищать их именно от этого обвинения, но считаю, что всякий разум-

ный человек поступил бы точно так же: ведь против них была враждебная толпа и члены коллегии восьми, которые их предали; они были покинуты советами и честными гражданами, так что другого исхода у них не было, а кроме того сами советы убеждали и просили их так поступить, доказывая, что это меньшее зло. Нет сомнения, что, если бы они вздумали сопротивляться, дело кончилось бы для них плохо и им грозила бы смерть или другие опасности, а вред для города был бы больше; толпа, видя, что ей кое в чем уступают, стала утихать. Однако, конечно, верно, что им можно сделать два упрека: во-первых, они не сумели, по мягкости или по малодушию, сурово наказать захваченных, в частности самого мессера Сальвестро; если бы они это сделали, очень возможно, что толпа, уstraшенная видом казней, быстро бы успокоилась; во-вторых, когда они узнали о замыслах чомпи, они не приняли возможных мер, не собрали граждан, которые могли бы их поддержать и не струсить потом, не вызвали из окрестностей пехоты, что было очень легко сделать. Но синьория доверилась коллегии восьми и положила на нее приготовления, а она предала синьоров, потому что едва ли не все ее члены сочувствовали движению и были почти что его главарями. Таким образом, гонфалоньер не заслуживает упрека за то, что он покинул дворец, потому что решение это было вынужденным и оно было менее вредно для города, чем если бы его выбросили оттуда насильно и убили. Зато его вполне можно

упрекать в том, что малодушие или слишком широкое милосердие, которое есть своего рода ничтожество, помешало ему наказать виновных, а также в том, что он слишком доверился, кому не следовало.

Вернулся он очень скоро, так как форма правления города изменилась, и был он, как уже сказано, уважаемым гражданином. Хотя чомпи возвели его в рыцари, он не сохранил этого титула, но получил его впоследствии, когда вышел закон, по которому каждый человек, возведенный чомпи в рыцари и желающий сохранить это достоинство, должен быть утвержден в нем эскекутором справедливости.

Луиджи Гвиччардини страдал тяжкими болезнями, и лечение их было одной из самых больших его забот.

Умер он около 1400 года, состоя членом коллегии десяти, руководившей войной¹⁰ с Джованни Галеаццо Висконти, герцогом миланским. Смерть его была великим народным горем; народ, как это ему вообще свойственно, не доверял влиятельным гражданам, думая, что они будут поддерживать войну ради какой-нибудь своей частной выгоды, и Луиджи, сделавшись членом коллегии десяти, обещал народу, что в этой должности он скажет ему, возможен мир или нет; поэтому смерть его огорчила народ, хотя некоторые граждане радовались ей, как большому празднику. Членом коллегии десяти на место его был избран его старший сын Никколо.

После смерти его остались три сына — Никколо, Пьеро и Джованни, впоследствии рыцарь.

Из них Никколо умер молодым. Женеу его, происходившую из семьи Строцци, звали мадонна Костанца. Насколько я знаю, это был человек острый на язык, но, повидимому, довольно малодушный; не думаю также, чтобы он был необычайным мудрецом, а скорее всего это был человек обыкновенный, особенно по части политики. Возможно, что он хорошо понимал торговые дела, и последствия это показали; после смерти отца ему пришлось столько денег отдать обратно, что имущества у него осталось немного, и тем не менее он был впоследствии богачом; богатство, добрый нрав, происхождение из хорошего дома и, кажется, щедрость составили ему имя даже в правительстве.

Пьеро, второй сын мессера Луиджи, был с молодых лет и до самой смерти отца человеком распущенным и непокорным, и мессер Луиджи был вполне уверен, что сын его кончит плохо; когда в доме как-то украли серебро и некоторые ценные вещи, отец был уверен, что это дело рук Пьеро; мнение свое об этой краже и мысли о том, что станется с Пьеро, высказываемые им во всеуслышание, он занес в одну из своих книг, о которой я упоминал выше; и все же, как будет сказано дальше, Пьеро имел удачу необыкновенную. Это показывает, что грехи молодости обманчивы и происходят не столько от недостатка ума, сколько от известной горячности возраста, и, когда она с годами остывает, оказывается, что такие люди не хуже других, отличавшихся умеренностью в юные годы.

Против воли мессера Луиджи Пьеро отправился сопровождать каких-то послов, и, когда по дороге на них напали люди мессера Отто Буонтерцо из Пармы, Пьеро одного схватили из-за молвы об отцовском богатстве, а остальным предоставили ехать дальше. С него требовали огромный выкуп, который мессер Луиджи не захотел платить, потому что сумма казалась ему слишком большой, а особенно потому, что все это было сделано ему на зло; может быть, он надеялся, что со временем удовлетворятся меньшими деньгами, по случилось так, что мессер Луиджи заболел и умер, вспоминая во время болезни одного только Пьеро и приказав его выкупить; таким образом было заплачено три тысячи дукатов, и, кажется, их занесли по приказу мессера Луиджи на счет всех его наследников, а не на личный счет Пьеро; впрочем, я точно этого не знаю.

Вернувшись во Флоренцию, Пьеро через несколько лет обанкротился; произошло это, по рассказам, больше от его собственной небрежности, чем от каких-нибудь внезапных неудач; он был человек широкий и тароватый, не проверял счетов и предоставлял управление другим; поэтому произошло то, что обычно случается с людьми, которые сами за своими делами не следят. Тем не менее несчастья обнаружили в нем природу благородную и хорошую, так как по договору с кредиторами он обязался расплатиться с ними сполна и просил только дать ему время; таким образом, он в условленный срок выплатил всю сумму, про-

дав часть своего имущества. Я слышал, и это верно, что он хотел продать свой дом во Флоренции, принадлежавший потом мессеру Луджи и мессеру Риниери, но так как дом этот входил в приданое его жены из рода Буондельмонти, как будет сказано дальше, то его нельзя было продать без ее разрешения; Пьеро уже условился с покупателем и привел его в дом вместе с нотариусом, чтобы подписать договор и получить разрешение жены, но она ни за что не захотела согласиться и выгнала из дома нотариуса и покупателя; увидав упорство и гнев супруги, которые, может быть, доставили ему удовольствие, он решился потерпеть.

От природы это был человек широкий и благородный, находившийся с юности до старости в тесной приятности и постоянном общении с замечательными людьми, как все синьоры Романьи, герцог урбинский, синьор камеринский, маркиз Никколò феррарский и его сын Лионелло, Пикколò Пиччинино¹¹, Никколò Фортебраччи¹², граф Франческо Сфорца¹³, а больше всех синьор Браччо дель Монтоне¹⁴, ближайший его приятель.

В делах государственных он пользовался большим почетом и весом, занимал многие должности в нашем городе, был капитаном Вольтерры¹⁵, Ареццо¹⁶, Кастрокаро¹⁷, подестой в Прато¹⁸, викарием в Лари¹⁹, комендантом крепости в Пизе, где пробыл три месяца, и всеми считался человеком властным. В начале войны, объявленной Флоренции Филиппо, герцогом миланским²⁰, он отправился послом к синьору Браччо,

стоявшему лагерем у Аквилы²¹, чтобы убедить его вступить в Тоскану и исполнить обязательство, данное флорентийцам — в случае нападения притти к ним на помощь с известным числом людей; тот обещал, но обещание осталось неисполненным, так как названный синьор был разбит и убит войсками церкви, королевы и аквиланцев. Когда затем мы были разбиты при Загонаре в Романье²² и заключили после этой неудачи договор с Гвидо Антонио Манфреди, синьором Фаэнцы, то буря войны перенеслась туда, и Пьеро был послан как комиссар для защиты этого государства вместе с Аверардо Медичи²³; он оставался там несколько месяцев, пока война не перенеслась в сторону Борго ди Санто Сеполькро и Ангьяри²⁴. Впоследствии он вместе с Лукой²⁵, сыном мессера Мазо дельи Альбицци, был послом при Сигизмунде, короле Венгрии и Богемии и императоре; когда Лука дорогой заболел и вернулся во Флоренцию, Пьеро выполнил поручение один.

Посольство это состоялось по той причине, что Флоренция, будучи в союзе с венецианцами и одновременно в войне с герцогом Филиппо, боялась, что Сигизмунд, как друг герцога и враг венецианцев, из-за Далмации и других имперских земель, ими занятых, вступит в Италию для поддержки герцога против Лиги. Поэтому Пьеро было сообщено многое, для герцога опасное, и поручено хлопотать о мире между императором и венецианцами. Он оставался там больше года и в конце концов не добился ничего.

Затем, в 1430 году, он был вместе с Бернардо Гуаданьи²⁶ и Пероне ди Ниджи послом в Венеции, так как приходилось вести переговоры о многих вещах по случаю продолжавшейся войны с герцогом миланским; так как срок союза между нами и венецианцами истекал и союз был возобновлен на более долгое время, то Пьеро пробыл в отсуствии почти год. Когда император Сигизмунд отправился в Италию, чтобы поддержать герцога и возложить на себя корону, то во время проезда его через Лукку Пьеро был послан комиссаром в лагерь, ибо Флоренция тогда вместе с папой решили не пропускать отряды императора дальше; затем, когда император был уже в Сиене и обнаружил некоторое желание заключить с Флоренцией соглашение на добропорядочных условиях, Пьеро был отправлен к нему послом, сначала один, а затем вместе с Аньоло, сыном Филипо Пандольфини²⁷; оставался он там недолго и соглашения не заключил. Примерно в то же время он был послан комиссаром в Вольтерру, где появился Никколò Пиччинино с людьми герцога.

Затем произошел переворот 1433 года и изгнание Козимо Медичи; Пьеро за его связи и родство с Козимо мог бы подвергнуться большим неприятностям, если бы его не защитил и не помог ему брат его, мессер Джованни, принадлежавший к партии, враждебной Козимо; назначенный в том же году подеста в Понтасьево, он принял эту должность, чтобы уехать из Флоренции, где ему нечего было делать и где он был предметом подозрения и ненависти правя-

щих властей. В это время он вместе с некоторыми другими, во главе которых стояли его ближайший друг Нери ди Джино²⁸, Аламанно Сальвиати²⁹ и Лука, сын мессера Мазо, начал всячески хлопотать о возвращении Козимо, и они действовали с таким успехом, что синьория вернула Козимо в следующем году; враждебная партия возмутилась, и Пьеро вместе с названными гражданами вновь взялся за оружие. Впоследствии он пользовался огромным влиянием и был после Козимо и Нери ди Джино первым человеком в городе; я нашел много просительных писем от изгнанников и от других лиц, имевших дело с правительством, обращенных к Козимо, Нери и к нему; помня, как его защищал брат его, мессер Джованни, он в свою очередь не допустил, чтобы брату причинено было какое-нибудь зло, вроде изгнания или аммонии, чему подверглись не только главари партии Альбицци, но почти все к ней принадлежавшие.

Позднее, в 1437 году, Пьеро был послом и комиссаром в Реджо к графу Франческо Сфорца, который явился туда по просьбе венецианцев, чтобы заставить герцога, который должен был беспокоиться насчет Пармы, отозвать своих людей от Бергамо, теснимого венецианцами; считалось, что этот ход не удался, и думали, что венецианцы сделали его больше для того, чтобы не дать нам завладеть Луккой, чем по каким-нибудь другим соображениям; поэтому Флоренция желала отозвать графа назад в Лукку, ради чего и был послан к нему Пьеро. Венецианцы, с своей

стороны, вовсе не хотели возвращения графа в Тоскану, и, чтобы убедить их, Пьеро поехал в Венецию, а так как из этого ничего не выходило, он в конце концов вернулся к графу и успел в своих стараниях настолько, что убедил его направиться в Тоскану против воли венецианцев.

В 1440 году, когда Никколò Пиччинино стоял перед замком Санто Никколò в Казентино и надо было попытаться помочь крепости, Пьеро был послан вместе с Нери ди Джино посмотреть, можно ли что-нибудь сделать; они решили, что дело это слишком трудное и ни с какой стороны не исполнимое. Потом, когда Никколò Пиччинино был разбит папскими и нашими отрядами и отступил в Романью, Пьеро был назначен комиссаром; он вернул Портико, Доадола и Сан-Кашьяно и вместе с папским легатом отправился отвоевывать обратно владения церкви.

Немного спустя, когда борьба между Лигой и герцогом в Ломбардии утихла и друг против друга стояли граф и Никколò Пиччинино, так что победа одной из сторон, казалось, должна скоро решиться, Пьеро был послан туда комиссаром; здесь он заболел и вскоре умер в замке Мартиненго около Брешии в 1441 году. Как уже сказано, он занимал высокие должности и пользовался в нашем городе большим влиянием, особенно с 1434 до 1441 года; помимо этого, он три раза был гонфалоньером, раз до 1434 года, два раза после, и много раз был членом Балии десяти.

Пьеро был человек большого размаха и очень

горячий, так что даже в старости он мог в гневе исколотить всякого, кто его рассердил; мне кажется все же, что такой характер отвечал нравам города, которые были в те времена суровее, чем ныне, когда он изуродован всякими утонченностями и распушенностью, достойной женщин, а не мужчин. В делах имущественных Пьеро был чист, и это обнаружилось на деле, так как при высоком положении и громком имени он умер бедным и не оставил имущества даже на пять тысяч дукатов. Даже в старости одолевали его разврат и сладострастие, и я нашел много его писем, которые он писал своей даме во время отлучек, особенно в 1437 году, уже стариком, и посылал на имя одного из своих домочадцев, прозывавшегося Испанцем.

Первая жена его была дочь мессера Донато Аччайоли³⁰, тогда первого гражданина Флоренции; детей у них не было, и я не знаю, был ли он ей мужем по-настоящему; затем он женился на дочери очень уважаемого человека, Бартоломмео Валори³¹, но детей не имел; третьей женой его была Аньола, дочь мессера Андреа Буондельмонти, от которой у него было три сына, Луиджи, Никколо и Якопо, и три дочери; одна из них, Магдалена, вышла за Никколò Корбинелли, другая — Лаудомина — за Антонио Риччи, третья — Костанца — за сына Джулиано и внука Аверардо Медичи, Франческо, умершего бездетным через несколько месяцев; потом она была женой Даниелло Альберти, от которого у нее были дети, и, овдовев, опять вышла замуж, за мессера Донато Чекки, от которого имела

детей и овдовела долгое время спустя. Все дети Пьеро были красавцы, да и сам он был прекрасной наружности, высокий и сильный, и умер он в возрасте преклонном.

В 1418 году он был отправлен комиссаром к папе, насколько я знаю, чтобы сопровождать его при проезде через нашу страну. В 1424 году он был подеста в Прато и находился там во время битвы при Загонаре.

В 1418 году он поехал в Мантую, где, как кажется, находился папа, но зачем он ездил, и по своим ли или по общественным делам, я не знаю. В 1399 году из-за кражи у мессера Луиджи, который думал, что кражу совершил Пьеро, чего на самом деле не было, содержались во дворце подеста сам Пьеро, мессер Луиджи, Никколò и Франческо.

В 1423 году он отправился капитаном в Ареццо. 21 октября 1400 года, когда Пьеро был в Болонье, куда он убежал от страха перед чумой, Бартоломмео Валори велел написать ему тайно от мессера Луиджи, через Гвидетто Гвидетти, который был близок к подеста, что Пьеро должен быть допрошен по политическому делу, так как на него сделан какой-то донос, и убеждал его, если он считает себя невиновным, приехать во Флоренцию.

В 1422 году он начальствовал над большими галерами, посланными в плаванье на Левант. Галер было две.

В январе 1424 года он отправился послом в Сиену. В начале 1425 года он поехал комиссаром в Фаенцу, так как синьор Гвидо Антонио

только что заключил договор с флорентийцами, и война перенеслась туда. Исход был сомнителен, а во Флоренции больше не хотели испытывать судьбу; к Пьеро прислали на помощь Аверардо Медичи, который должности, однако, не имел. Туда же был прислан за счет мадонны Джентиле мессер Джованни Д'Агоббио, чтобы уладить некоторые споры с Никколò да Толентино и Никколò Пиччинино.

В июле 1427 года Пьеро уехал послом к императору, который возвел в дворянство Джованни, бывшего тоже там; объясняли это тем, что Джованни хотел быть старшим в семье. Тогда собравшиеся вместе мессер Луиджи Ридольфи, мессер Маттео Кастильони, Никколò да Уццано, Асторе Джанни, Никколò ди Джино, Джованни и Никколò Барбадори, сер Паголо, сын сера Ландо, Симоне Буондельмонти, Батиста Гвиччардини, Биндо да Риказоли, Ридольфо Перуцци и многие другие написали Пьеро, чтобы просил о дворянстве и он; однако он этого не захотел.

В конце 1429 года он уехал в Пизу комендантом крепости.

17 июня 1441 года его святейшество особым письмом дал поручение Пьеро, который на двадцать шесть дней должен был уехать послом к графу Франческо Сфорца. Настоящей целью его поездки было желание получить обратно десять тысяч дукатов, которые он заплатил Отто Буонтерцо, имея притом на руках решение торгового суда против герцога Филиппо; Пьеро выехал из Римини, поехал сначала в Феррару, затем в

Венецию по поручению его святейшества, а оттуда направился в лагерь, расположенный у Мартиненго; там он в самый день приезда или на следующий день заболел и около 20 июля был отвезен в Брешию, где и умер в начале августа.

Мессер Джованни, младший сын мессера Луиджи, был, судя по рассказам, человеком смелым, который ни с кем не стеснялся и так охотно говорил дурное почти обо всех, что многие его по этой причине ненавидели. Он занимал в нашем городе много должностей, был членом чрезвычайной коллегии десяти, комиссаром в Ломбардии при войсках Лиги, воевавших против герцога миланского, и не знаю, за какие победы получил там дворянство. Думаю, что это было ему приятно, так как он соперничал с Пьеро, и каждый из них желал первенствовать в государственных делах, но Пьеро был старший, и поэтому Джованни хотел обогнать его званием. Вскоре он отправился как комиссар на войну с Луккой, но дела шли плохо и пришлось отступить вместе со всем войском; по этому случаю, как это принято в нашем городе, о них говорилось много дурного, и один из сторонников Козимо, некто Милиоре ди Джунта, бывший проездом в Санта Гонде у Нероне ди Ниджи, приехал затем во Флоренцию и рассказывал, что видел в Санта Гонде мула, нагруженного деньгами, принадлежавшими мессеру Джованни Гвиччардини и полученными им от жителей Лукки в награду за отступление. Так как об этом говорили во Флоренции во всеуслышание, то

мессер Джованни, считавший себя ни в чем не виновным, не мог вынести такого позора, пришел в синьорию и просил ее раскрыть правду об этом деле; у синьории было столько забот, что сама она этим заняться не могла и удовольствовалась тем, что поручила дело капитану, сыну мессера Руджери из Перуджиа. Затем к Козимо приехал Аверардо Медичи и убеждал его погубить мессере Джованни, доказывая ему, что во всей Флоренции нет человека более дерзкого и более способного помешать всякому их замыслу; поэтому Козимо поехал ночью к капитану, заставил перуджинских Бальони написать ему, возбуждая его против мессера Джованни. Дело тянулось долгие дни, так как капитану хотелось услужить Козимо, а вместе с тем трудно было преследовать мессера Джованни, который был совершенно невинен, а кроме того был человек знатный; в конце концов мессер Джованни, отсидевший несколько дней в тюрьме, был освобожден; таким образом, дело закончилось для него без особенной чести; если он был невинен, то для очищения его имени надо было, чтобы люди, распустившие про него такую клевету, были наказаны и чтобы этим засвидетельствована была его невинность.

Затем произошел переворот 1433 года, когда были изгнаны Козимо, Лоренцо³² и Аверардо Медичи и мессер Аньоло Аччайоли³³. Джованни, принадлежавший к партии, враждебной Козимо, спас при этом своего брата Пьеро, принадлежавшего к другой партии. Зато в 1434 году, когда Козимо вернулся, Джованни по просьбе

Пьеро остался на свободе, и ему не сделали ничего дурного; тем не менее власти держали его на подозрении и никаких дел ему больше не поручали; так было бы все время при этом правительстве, но примерно через год Джованни умер. Жена его была из рода Альбицци. У них было много сыновей, именно: Микеле, Франческо, Габриелло и Луиджи. Дочерей было еще больше; он выдал их всех замуж за сторонников Альбицци, и в 1434 году многим, как Бискери, Перуцци³⁴, Гуаданьи, пришлось уехать в изгнание. Джованни был не очень счастлив в сыновьях, так как одни из них, как Луиджи, были сумасбродами, а другие были вообще люди средние. Джованни был в 1427 году комиссаром при Лиге³⁵ вместе с Франческо Торнабуони и участвовал в несчастном бою 12 октября при Маклодо³⁶. 9 ноября маркиз мантуанский возвел его в рыцари, в четырех или пяти милях от Брешии, раньше чем в город вступили войска. Джованни говорил, что вынужден был согласиться, и Франческо в письме к Пьеро это подтвердил. При возвращении Джованни во Флоренцию ему были оказаны почести, каких еще никогда не удостоивались рыцари, причем многое здесь было сделано на зло Пьеро, так как в городе не было согласия.

Луиджи, старший сын Пьеро, впоследствии мессер Луиджи и рыцарь, родился в 1407 году; он множество раз занимал высокие должности в городе, в нашей стране и даже за ее пределами. Еще при жизни отца он совсем молодым человеком был подеста в Фермо, по выбору графа

Франческо, которому тогда принадлежала Анконская марка; принял он эту должность скорее ради денег, чем ради почета, так как отец его был беден и Луиджи приходилось пробиваться самому. В наших владениях он занимал много должностей, был консулом и комендантом крепости в Пизе, викарием Вико Пизано, Сан Миниато, Песшии³⁷, капитаном горного округа в Пистойе³⁸, викарием Сан Джованни, два раза викарием Поппи и Чертальдо, капитаном в Борго Сан Сеполькро³⁹ и Ареццо, викарием Скарперии. Через несколько лет после смерти отца, в 1444 году, он поехал послом в Милан к герцогу Филиппо и пробыл там несколько недель, а затем отправился в Марку к герцогу Франческо, воевавшему тогда с папой Евгением и королем Альфонсо⁴⁰. Затем в 1447 году он был послом при доже Генуи, мессере Джано ди Кампо Фрегозо, так как стало известно, что этот дож соединился против нас с нашим врагом, королем Альфонсо, и Луиджи было, главным образом, поручено напомнить дожу о дружбе, существовавшей между его родом и нашим городом, о всегдашней вражде короля Арагона к его городу, роду и государству и убедить его не помогать врагам против друзей. Дож отнесся к этим доводам очень благожелательно и обещал Луиджи, что, какое бы он ни заключил соглашение с королем Альфонсо, он никогда не обяжется выступить против флорентийцев, так как намерен оставаться с ними в дружбе.

Вернувшись во Флоренцию, он был послан комиссаром в Пизу, для защиты этого города,

которому могли угрожать некоторые действия короля Альфонсо. Он пробыл там несколько месяцев, а в следующем году, когда король стоял лагерем у Пьомбино⁴¹ и на нас восстала большая часть вольтерранской Мареммы, отвоеванной обратно нашими отрядами под начальством синьора Римини ди Джисмондо и комиссара Нери ди Джино Каппони, Луиджи был послан комиссаром вместо Нери, который хотел уйти а вскоре туда же был отправлен и Лука, сын мессера Мазо Альбицци; он уже взял обратно Болгери, Гуардисталло, Монтеверди и несколько других городов и стал приводить в порядок свои войска, чтоб отогнать короля от Пьомбино, но испуганный король не стал его дожидаться и уехал обратно в свои земли. Таким образом, дела его на этот год закончились, и Луиджи вернулся во Флоренцию.

В следующем, 1450 году граф Франческо взял Милан опять-таки с помощью флорентийцев и больше всего Козимо Медичи; желая иметь при себе флорентийского подеста, на которого он мог бы положиться, особенно при возможных своих отлучках из Милана вследствие войны, готовившейся против Венеции, он написал Козимо и просил прислать ему подходящего человека; тот послал Луиджи, который пробыл там три года, т. е. до 1453 года, к величайшему удовлетворению герцога, очень неохотно отпустившего его обратно, так как он хотел, чтобы Луиджи остался на все время войны с венецианцами.

Вернулся он во Флоренцию в июне 1453 года и в ноябре был послан комиссаром вместе с Лукой, сыном мессера Мазо, чтобы собрать наши отряды, находившиеся в Ареццо, и направить их на Пизу. Затем он ездил послом к синьору Римини Сиджисмондо, чтобы возобновить с ним договор о командовании и наладить его отношения с нашим городом; это вполне ему удалось. Потом он был послан комиссаром в Ареццо, чтобы опустошить область Фойано; Луиджи был также gonfalonьером справедливости.

После этого был заключен мир⁴², и образовалась лига между венецианцами, с одной стороны, герцогом Франческо и флорентийцами — с другой, причем в Неаполе велись переговоры с королем Альфонсо об утверждении им этой лиги и мира, и, таким образом, во всей Италии установился бы всеобщий мир и союз; предполагалось, что венецианцы отпустят графа Якопо Пиччинино, но можно было опасаться, что война снова возгорится в не успокоившейся еще Италии, по почину ли венецианцев или сама собой. Венецианцы еще в начале войны запретили ввоз наших сукон, и для города было очень важно, чтобы этот запрет был снят. По всем этим делам Луиджи в том же 1454 году был отправлен послом в Венецию. Он оставался там, пока не закончились переговоры, происходившие в Неаполе, и пока граф Якопо не покинул венецианских владений, причем венецианцы вовсе не собирались его удерживать, ввиду больших расходов и неудобств, которые он им создавал;

переговоры о запрете ввоза сукон не привели ни к чему.

Второй раз он был гонфалоньером в 1457 году, когда весь город был взволнован из-за внутренних раздоров и разномыслие между гражданами по делам государства дошло до того, что друзья Козимо стали бояться переворота; необходимо было изыскать новые способы собирать налоги, но при этом нельзя было избежать народного волнения. Когда Луиджи сделался гонфалоньером и друзья Козимо сочли, что на этом месте сидит надежный для них человек, они задумали стать хозяевами в городе и разорить своих противников; он хотел того же и был готов на все; так как Козимо находился в Кафаджиоло вместе с легатом, Луиджи написал ему, предлагая действовать и спрашивая его мнение. Козимо нашел, что сейчас не время по многим причинам, главным образом потому, что внешние дела обстояли тревожно и город боялся короля Альфонсо; такого же мнения был и Пери, который лежал больным в Пистойе, где и умер через несколько дней; по этим причинам гонфалоньер своих замыслов не осуществил.

Когда в следующем, 1458 году умер папа Калликст⁴³ и на его место избран был папа Пий⁴⁴, Луиджи был во главе посольства, которое должно было засвидетельствовать папе покорность Флоренции; так как в это время дон Феррандо, сын короля Альфонсо, только что взошел на престол после смерти отца, то Луиджи вместе с мессером Аньоло Аччайоли, ко-

торый был в числе послов, должен был по окончании дел в Риме ехать в Неаполь к королю Феррандо⁴⁵, поздравить его и отвезти ему подарки города Флоренции.

В 1464 году умер Пий, и на место его был избран Павел⁴⁶; по этому случаю Луиджи был послан вместе с другими, как оратор Флоренции; папа оказал им самый торжественный прием в Латеранском соборе, в день Спасителя, и возвел в рыцари Томмазо Содерини⁴⁷ и Луиджи, а вскоре за тем и мессера Отто Николини⁴⁸. Так как мессеру Томмазо приказано было оставаться в Риме, то мессер Отто и Луиджи возвратились в один и тот же день во Флоренцию с обычными почестями и подарками. Через несколько месяцев Луиджи был отправлен оратором в Неаполь, где пробыл недолго, и по-моему это было посольство скорее для внешней торжественности, чем для переговоров по существу дел.

В следующем, 1465 году умер герцог Франческо, и так как Сфорца были в этом государстве людьми новыми, сын же герцога Галеаццо был еще совсем юноша, можно было по этой причине, а также вследствие близости венецианцев, опасаться какого-нибудь движения в народе, что было бы для нашего города в высшей степени неприятно по его дружбе, связям и интересам в герцогстве Миланском; чтобы помочь Галеаццо и, насколько возможно, его усилить, к нему были отправлены послы, мессер Бернардо Джуньи и Луиджи, которые должны были выразить ему скорбь по случаю смерти герцога и щедро предложить к его услугам все

силы города и все, что вообще могло бы способствовать благу его государства. Луиджи должен был ехать викарием в Чертальдо, и поэтому, до возвращения его, должность его по приказу правительства должен был занимать его двоюродный брат Джованни, сын Никколò Гвиччардини. Когда они съехались в Милане, то после первых торжеств, во время которых послам были оказаны величайшие почести, обнаружилось, что денежные дела государства находятся в полном беспорядке и что против него готовится война, главным образом со стороны венецианцев; поэтому послов просили написать во Флоренцию и просить синьоров о скорой помощи деньгами, предлагая им какое угодно обеспечение. Во Флоренции был созван совет, и послам было сообщено, что они могут обещать герцогу сорок тысяч дукатов; когда послы просили об отпуске денег, против этого восстали мессер Лука Питти, мессер Аньоло Аччайоли и мессер Диотисальви ди Нероне⁴⁹, стремившиеся подорвать влияние сына Козимо, Пьеро, и они добились того, что обещание осталось неисполненным, а послы, давшие его, получили строгое порицание. Из всего этого вышел великий позор для нашего города, а всего больше для ораторов, которые, прождав с нетерпением несколько недель и не получая никакого подтверждения, сочли за лучшее вернуться во Флоренцию. Оттуда мессер Луиджи уехал заканчивать дела, порученные ему, в Чертальдо; пока он был там, произошли события 1466 года, и когда волнения начались, он еще до победы

партии Пьеро явился с пехотой на помощь ему в Лениайу, а потом поехал во Флоренцию на всенародное собрание.

Следующий год начался движением Бартоломмео да Бергамо⁵⁰, за спиной которого, как известно, стояли венецианцы; они замыслили устроить дела Италии по-своему и хотели прежде всего или расправиться с герцогством Миланским, которое казалось им слабым при новом и юном князе, не имевшем громкого имени герцога Франческо, или восстановить во Флоренции мессера Диотисальви, мессера Аньоло и Никколò Содерини⁵¹. Об этом очень хлопотали изгнанники, и дело казалось легким, так как, по слухам, город волновался после переворота и там было много недовольных. Эти подозрения заставили короля Феррандо, герцога миланского и флорентийцев заключить между собой новый союз для защиты своих государств; герцогству Миланскому была оказана помощь деньгами, с тем чтобы оно привело в порядок свои войска, которых было много, и так как движение Бартоломмео шло дальше и разрасталось с каждым днем, Лига же защищалась вяло, то Луиджи был послан оратором в Милан, чтобы побудить этих синьоров взяться более горячо за дело общей защиты и потребовать выполнения мер, условленных заранее. Дело это удалось ему вполне, так как герцог Галеаццо привел в порядок обещанные войска и послал две тысячи всадников в Парму, чтобы они были на всякий случай готовы выступить по первому требованию флорентийцев; больше того, узнав, что Бартоломмео

перешел По и направился в Романью, он двинулся вслед за ним с остальными войсками и соединился в Романье с Федерико, синьором урбинским, полководцем Лиги⁵²; мессеру Луиджи было поручено оставаться комиссаром при войске. Через несколько времени он настоятельно потребовал отпуска и, получив его, приехал во Флоренцию; добивался он этого, как мне кажется, потому, что боялся, как бы с ним ни случилось в лагере чего-нибудь дурного, и особенно не доверял он герцогу Галеаццо, который был юношей и вел себя как юноша.

После сражения при Мулинелла⁵³ разобиженный герцог вернулся в Милан к великому неудовольствию и раздражению всей лиги, и так как особенно недовольны были болонцы, к ним был послан мессер Луиджи, чтобы убедить их и постараться сохранить их поддержку для лиги; исполняя свое поручение, он пробыл там всего несколько дней и уехал, оставив болонцев в самом дурном расположении.

В следующем, 1468 году он был отправлен послом в Сиену с жалобой на прием, оказанный там нашим изгнанникам, и так как это могло привести к разным неприятностям, ему было поручено убедить сиенцев быть добрыми соседями; оставался он там всего несколько дней.

В 1469 году произошло в Италии новое событие, именно Роберто, синьор Римини, перешел на службу лиги, т. е. короля, герцога и флорентийцев⁵⁴; они обещали ему помощь, к величайшему неудовольствию папы Павла, не прекращавшего своих попыток подчинить себе этот

город, и теперь можно было опасаться, что он с помощью венецианцев пошлет в Римини войска, как он и сделал впоследствии⁵⁵; поэтому мессер Луиджи был послан в Милан условиться с герцогом⁵⁶ о защите Римини и принять меры к тому, чтобы противникам, если они выступят, пришлось бы защищаться у себя дома, а не опустошать чужие земли. Герцог принял мессера Луиджи очень любезно и просил его, не как оратора Флоренции, а как мессера Луиджи, быть крестным отцом своего первенца, но по делу, с которым был послан к нему Луиджи, обнаружилось, что герцог расходится в мнениях с нашим городом, относится к защите Римини холодно и гораздо больше хочет поднять новую войну, а Луиджи исполнил свое поручение совсем плохо и, видимо, не был настойчив в защите перед герцогом мнения города и в ограждении его достоинства. Здесь могло быть много причин: именно, зная гневный нрав герцога, Луиджи мог думать, что, выполнив свое поручение в том виде, как оно было дано, он припечет больше вреда, чем пользы; может быть, он старался снискать расположение этого властителя, чтобы получить от него какую-нибудь милость для своего незаконного сына, который был священником; когда он в следующем году был неожиданно отозван во Флоренцию, герцог пожаловал его сыну аббатство в Кремоне с доходом в триста дукатов и даже больше. В общем он вернулся во Флоренцию как близкий к герцогу человек и, таким образом, достиг своего.

В это же время, ввиду обнаружившихся по этим делам разноречий с папой, во Флоренции собрался съезд, на котором были послы короля и герцога, причем мессер Луиджи всячески поддерживал партию герцога; узнав об этом от своего посла, король стал смотреть на него косо; вскоре затем, когда император Фридрих был в Ферраре⁵⁷, на обратном пути из Рима, герцог Галеаццо добивался от него инвеституры на это герцогство, и на помощь ему, с одобрения властей нашего города, был послан в Феррару мессер Луиджи, но успеха не имел.

Когда он был потом викарием в Сан-Миниато, Флоренция оказалась втянутой в распри между королем и герцогом, и в Неаполе было решено вручить нашему послу письмо, которое, при согласии на него Флоренции, обязывало бы ее к союзу с королем и к отказу от дружбы с Миланом; однако мессер Луиджи подоспел раньше отправки письма и добился того, что оно было взято обратно и не ушло.

Самым влиятельным человеком в государстве был мессер Томмазо Содерини, руководивший до тех пор Лоренцо после смерти сына Козимо, Пьеро; однако к тому времени это высокое положение пришлось Лоренцо не по нраву, и он стал теснее сближаться с мессером Луиджи, который всячески ему содействовал, так что в 1470 году он сделал для величия и безопасности Лоренцо больше, чем какой-либо другой гражданин, и дошел до того, что на пять лет изменил порядок выборов аккошиаторов⁵⁸. Это дало Лоренцо громадное влияние, и я думаю, что мессер

Луиджи, видевший неудачу мессера Томмазо, рассчитывал многое получить от Лоренцо для себя; так и случилось, потому что Лоренцо был человек, который хотел и умел управлять сам. Когда затем в итальянских делах на некоторое время наступило затишье, Луиджи в марте 1472 года был гонфалоньером, и так как в городе было спокойно и дел было мало, он задумал издать новые и возобновить действие старых законов, касавшихся быта и нравов, как, например, свадебных и похоронных торжеств, украшений одежд женщин и мужчин, игр и других подобных вещей.

Затем итальянские дела снова пришли в расстройство: король Феррандо сблизился с папой Сикстом, и образовалась лига между венецианцами, Миланом и флорентийцами⁵⁹. По случаю возникавших каждый день новых дел, относившихся или к защите веры вследствие войны турок с венецианцами и другими христианами, или к защите этой отдельной лиги, казалось необходимым иметь в Венеции влиятельного посла; туда в 1479 году был отправлен мессер Луиджи, бывший в то время викарием Поппи, и он оставался в Венеции больше года, принеся этим посольством большую пользу нашему городу. В Венеции ему оказаны были величайшие почести, и он там настолько понравился, что когда венецианцы проведали, что он просит его отпустить, они написали во Флоренцию и просили оставить его еще на некоторое время; это не состоялось, так как мессер Луиджи, прослышав о том, настойчиво требовал

своего возвращения обратно, чтобы во Флоренции не подумали, что это письмо венецианцев написано по его настояниям.

Когда затем в 1476 году был убит в Милане герцог Галеаццо и во Флоренции во что бы то ни стало хотели сохранить это герцогство в руках его сына, туда сейчас же отправили послами мессера Томмазо Содерини и мессера Луиджи, и сделано это было не только для того, чтобы возвысить значение герцогини и ее сына, но чтобы встретиться с мессером Чекко и синьором Роберто ди Сан Северино, стоявшими во главе правления, и посоветоваться с ними о положении вещей. Мессер Луиджи пробыл три месяца и уехал, оставив там мессера Томмазо, так как остаться должен был кто-нибудь один; каждый охотно хотел бы быть этим одним из-за большой выгоды места, потому что, кроме обычного жалования, они получали от герцогини по сто дукатов в месяц; однако остался мессер Томмазо, который был влиятельнее и мудрее. Вскоре после этого, когда Эрколе, герцог феррарский, женился на мадонне Элеоноре, дочери короля Феррандо, и справлял свою свадьбу, было признано нужным, главным образом из уважения к королю, отправить к нему посольство, в которое вошел бы хоть один человек с именем; поэтому туда был послан мессер Луиджи вместе с Пандольфо Ручеллаи.

В 1478 году во Флоренции произошел переворот после заговора Пацци, когда был убит Джулиано Медичи и ранен Лоренцо, и сейчас же мессер Луиджи был сделан членом новой

синьории, чтобы помочь Лоренцо в случае новых событий.

Когда в том же году на нас напали герцог Калабрии и герцог урбинский с войсками папы и короля⁶⁰, мессер Луиджи как генеральный комиссар был послан для защиты Поджо, куда уже раньше был послан брат его Якопо, и оба они оставались в этой должности вместе; такое положение, когда генеральными комиссарами войск назначали бы двух братьев, случилось в нашем городе редко, а может быть и никогда. Солдат, способных противостать врагу, не было, так что герцог взял Каммеджио и, что особенно было важно, Кастеллину⁶¹; во Флоренции, хотя и совершенно напрасно, но вполне согласно с нравом народа, жестоко винили в этом начальников войск.

В следующем, 1479 году война продолжалась, и дела города пошли совсем плохо, особенно потому, что союзники почти что его покинули; в Милане под покровительством короля вновь вернулся к власти синьор Лодовико Сфорца, синьор Роберто ди Сап Северино⁶² выжидал, а венецианцы хотя и помогали, но действовали не торопясь; когда мы были разбиты при Поджо Имперiale⁶³, и враги, подойдя к Колле⁶⁴, едва им не овладели, во Флоренции было решено, что если война затянется на следующий год, то у города не будет другого исхода, как подчиниться воле врагов.

Поэтому необходимо было или сейчас же заключать с ними мир, какой только возможен, хотя бы и невыгодный, или действительно по-

стараться получить такую помощь, чтобы флорентийцы могли не только защищаться, но выгнать врагов из нашей земли и перенести войну к ним; страна наша по общему мнению была так разорена и настолько пострадала от врагов и даже от собственных солдат, что если война еще продлится, надо готовиться к очевидному поражению. Все знали, что эта помощь должна прийти от венецианцев, которым, по примеру прошлых лет, надо взять на себя защиту нас и лиги; поэтому, чтобы узнать последнее решение венецианцев, рассказать им о положении дел и выяснить, насколько вообще можно на них рассчитывать, туда отправили послом мессера Луиджи. Он выехал сейчас же и, когда изложил порученное ему дело, нашел, что венецианцы отнеслись к нему очень холодно, о чем и сообщил правительству, а еще более подробно Лоренцо, убеждая его, что надеяться нечего, что надо заключать мир, какой возможен, и лучше потерять один палец, чем лишиться всей руки. Поэтому Лоренцо, отчаявшись в возможности защищаться, поехал в Паеполь на свидание с королем; мессер Луиджи знал, что король его не любит, так как он всегда был сторонником герцога Галеаццо, а после смерти герцога стоял за венецианцев, и потому очень встревожился, как бы король не потребовал в числе других условий мира изгнания из Флоренции мессера Томмазо, его самого и нескольких других граждан, разделявших те же взгляды. Когда мир был заключен, он вернулся во Флоренцию и, вместе с епископом Вольтерры,

Пьеро Меллини, Мазо дельи Альбицци, мессером Бонджанни Джанфильяцци, мессером Пьеро Минербетти, мессером Гвидо Антонио Веспуччи⁶⁵, Якопо Лауфредини, Доменико Пандольфини, Джино Капцони и другими был послан к папе просить о прощении и снятии запретов.

Затем в 1482 году он вместе с Франческо Дини был послан комиссаром для принятия Болле и других мест, возвращаемых нам королем. В 1484 году он ездил в Урбино для переговоров с герцогом от имени Милана, короля и нашего; это было последнее поручение, данное ему нашим городом, так как, по старости лет, его больше не привлекали к делам, и в 1487 году он, будучи викарием Скарперии, умер во Флоренции восьмидесяти лет от роду.

Мессер Луиджи был человек смелый и с хорошей головой, но несколько заносчивый и самовластный; свойства эти толкали его на многие предприятия, не делающие ему особенной чести. В политике он был сторонником Медичи, для которых много потрудился, особенно в прежние годы, так как в последнее время был с Лоренцо не очень в ладах. В делах совести он был честен, и это оправдалось на деле; женат он был четыре раза, но законных детей не имел, был богат и владел многими имениями, приносившими большой доход, чем сейчас, пользовался много лет доходами сына-священника и все же оставил лишь небольшое наследство. Ради своего высокого положения он пошел бы на все: он был человек очень щедрый и широкий, был очень услужлив, и это доставляло ему много

хлопот, так как он помогал и рекомендовал людям властям, не различая ни случаев, ни человека.

Мессер Луиджи был очень красив, высок, приятного и привлекательного вида, необычайно крепкого сложения, так что в течение всей жизни был несокрушимо здоров, а когда подошла смерть, он, несмотря на свои восемьдесят лет, умирал, как юноша, в жестоких страданиях и в тяжелой борьбе. По части женщин он даже в старости был великий греховодник и мог пугаться со своими служанками или балагурить с какой-нибудь скверной бабой, которая попалась бы ему на улице, совсем не думая при этом о своем возрасте и достоинстве.

Почестей досталось ему столько, сколько вообще их может быть оказано гражданину, ибо, кроме всяких комиссарств, посольств и должностей за пределами Флоренции, кроме того, что он три раза был гонфалоньером, он трижды был членом синьории, бесконечное число раз членом коллегии десяти, много раз аккопиатором и участвовал во всех балиях, какие в его время назначались; в 1480 году он вместе со своим братом Якопо был членом коллегии тридцати, которой было поручено преобразовать государственную строй. Он был дружен со многими большими людьми, особенно с герцогом Галеаццо, а еще раньше с герцогом Франческо, с которым был очень близок. Он вел большую дружбу с графом Якопо Пиччинини, сохранив с ним дружбу, существовавшую между Никколò Пиччинини и Пьеро Гвиччардини, их отцами.

Долгое время он был близким приятелем с Федерико, герцогом урбинским, с которым часто переписывался. Однако впоследствии, когда герцог целиком предался королю Феррандо, а мессер Луиджи во Флоренции шел против короля и король считал его своим врагом, герцог начал относиться к нему дурно. В последние годы мессер Луиджи стал заискивать перед королем и при этом только ради того, чтобы получить епископство для своего сына мессера Риниери; однако король уже не считался с ним, как прежде, так как он был очень стар, а власть Лоренцо во Флоренции была гораздо больше, чем раньше, и больше, чем власть Пьеро или Козимо.

Женат он был четыре раза, и первая жена его, Коза, была из рода Перудии; вторая — Пишпа — была дочерью Ноффри Паренти, третья — Пешна — дочь Джованни Веспуччи; четвертая — Лодовика — была из рода Вентури; она вышла за него, когда ему было уже больше 75 лет, она же была вдовой после своего первого мужа, Бартоломмео да Верраццано. Сыновей у него ни от одной жены не было, а были три дочери от второй жены: первая дочь, Коза, вышла за Пьеро, сына Джино Капони; вторая, Аньола, вышла, не очень удачно, за Пьеро, сына Андреа Веллутти; третья, Бьянка, вышла против воли за Филиппо, сына Филиппо и внука Луки Питти⁶⁶; она сделала это по настоянию мессера Луки, который был тогда в силе, и Пьеро, сына Козимо, который стремился к этому браку, желая угодить мессеру Луке. Сыновей у мессера Луиджи не было, если не считать незаконного сына

Риниери, который после смерти отца был епископом Кортонь. Сын этот был у него от рабыни пизанского гражданина Биндо Галетти, когда мессер Луиджи был в Пизе морским консулом⁶⁷; ему же оставил он по смерти все свое имущество.

Якопо, сын Пьеро Гвиччардини, родился в 1422 году и шестнадцати лет от роду женился на дочери Франческо Черли, Гульельметте, тогда еще девочке, взяв за ней в приданое три тысячи пятьсот неполноценных флоринов, ходивших в то время почти как полноценные; хотя это приданое было велико, если иметь в виду то небольшое имущество, которое должно было достаться ей от отца, однако ценность его еще возрастала благодаря качествам девочки, обладавшей в совершенстве всеми свойствами, которых можно требовать от женщины, причем внешности она была более чем скромной, а домом управляла превосходно; помимо того, она отличалась замечательным умом и силой суждений в делах, для которых требуется ум мужской; она хорошо играла в шахматы и прекрасно читала; не так сильна была она в умении считать, но, когда ей дали немного времени, она выучилась этому собственным умом, а не по обычным правилам арифметики, которые преподаются в школах. Дела государственные она понимала хорошо, может быть, лучше многих мужчин, искушенных в них по опыту,— и охотно говорила и слушала разговоры о вещах, о которых обычно беседуют мужчины; ко всему этому присоединялась в ней доброта, так что она и жила и умерла как святая. Если

бы со всеми отмеченными мной качествами сочеталась в ней еще настоящая смелость, она была бы замечательна во всем, но в ней было даже больше робости, чем это обычно встречается у женщин. Я хотел упомянуть о ней, потому что, по причине этих добродетелей ее, я глубоко чту ее память. Я очень любил ее при жизни, когда я был еще ребенком, так как умерла она в 1498 году, и еще больше люблю ее после смерти, ибо возраст позволяет мне лучше понимать ее добродетели. Когда Якопо было девятнадцать лет, умер в Мартиненго отец его, Пьеро, и сам Якопо, находившийся при нем, был в смертельной опасности, так как заболел тяжким педугом. Из отцовского наследства он взял одну тысячу пятьсот флоринов, а приданое жены вложил в торговое дело и начал на этом богатеть, потому что в те времена дела приносили большой доход. Юношей он много веселился, и был всеобщим любимцем за свою красоту, щедрость и приятный нрав. Раза два или три он выступал на состязаниях и раз остался победителем, показав особенную смелость. В делах государственных он много раз получал почетные отличия и занимал высокие должности; двадцати четырех или двадцати пяти лет от роду он был подеста в Фермо⁶⁸, находившемся тогда под властью графа Франческо; в это время он собирался жениться, добился отсрочки отъезда, и я не знаю, поехал ли он туда в конце концов или нет. В нашей области он был капитаном Пизы, Ареццо и Борго Санто Сеполькро, викарием Ангьяри⁶⁹,

Чертальдо⁷⁰ и Сан Джованни; много раз бывал он послом и комиссаром. Впервые это было в 1465 году, когда он отправился на свадьбу мадонны Ишполиты, дочери герцога Франческо, с Альфонсо, герцогом Калабрии, впоследствии королем Неаполя, причем хотя в Неаполе уже находился оратор от нашего города, именно мессер Джаноццо Пандольфини, но для такого праздника нашли пужным послать двух ораторов и послали Якопо; он один исполнил поручение и присутствовал на всех других торжествах, потому что в самый день его приезда в Неаполь Пандольфо заболел. После свадьбы Якопо вернулся во Флоренцию и оттуда поехал викарием в Анжьяри, а отбыв эту должность, вернулся и застал в городе распри между партией Пьеро, сына Козимо, и партией мессера Луки Питти, причем Якопо стоял за Пьеро открыто и ни с чем не считался.

На следующий год, когда пришло известие, что мессер Диетисальви и другие изгнанники подстрекают Венецию и Бартоломмео да Бергамо к войне, мессер Томмазо Содерини и Якопо были избраны послами в Венецию, чтобы разузнать, каковы намерения венецианцев и готовы ли они хранить мир; им было поручено начать сперва переговоры с герцогом Борсо⁷¹, поведение которого внушало недоверие, а затем, когда поручение в Венеции будет исполнено, они должны были отправиться в Милан и сообщить его повелителю о том, что они видели в Венеции; если они заметят какие-нибудь признаки новой войны, они должны

были указать герцогу, что опасность эта грозит всем, и разузнать его мысли насчет общих мероприятий. В Ферраре послы видели герцога Борсо, который не только готов был всеми силами охранять мир в Италии, но больше всего желал быть другом нашего города. Затем они продолжали путь на Венецию, где им наговорили много хороших, но общих слов, и они убедились, что синьория не хочет заключать никакого определенного договора, который позволил бы нам считать, что мир в будущем обеспечен. Кроме того, они говорили с мессером Диетисальви, которого в Венеции очень уважали, и он жаловался им одинаково на Пьеро и на мессера Луку и просил об отмене изгнания; в действительности им показалось, что он не намерен покорно оставаться в назначенном ему месте. Из всего этого они заключили, что венецианцы настроены плохо и что Бартоломмео да Бергамо готовится к новому походу, несмотря на противоположные уверения сеньории и на самый пышный и почетный прием, оказанный им в Венеции и во всех венецианских землях. После этого они приехали в Милан и, ознакомившись с намерениями его властителя, настроенного прекрасно, а также с силами его, донесли об этом во Флоренцию; таким образом с ним было заключено условие, по которому он получал некоторое количество денег и в свою очередь обязался послать нам на помощь не менее двух тысяч всадников, которые будут считаться нашими солдатами. Когда в 1467 году Бартоломмео

да Бергамо появился в Романье и король Феррандо в исполнение обязательств Лиги послал на помощь флорентийцам войска, во главе которых стоял дон Альфонсо, то Якопо, как капитан Арещо, был назначен комиссаром, и ему было поручено отвести эти отряды в Романью и соединить их с войском Лиги.

В 1468 году умерла мадонна Бьянка⁷², мать герцога Галеаццо, и Якопо был послан оратором в Милан, чтобы выразить повелителю его скорбь нашего города, но вместе с тем ему было предписано постараться уладить некоторые споры, возникшие в Луниджане между нашими подданными и подданными герцога. Приехав в Милан и собираясь посетить герцога, он облачился в фиолетовые одежды, как и подобало послу, ибо считал неудобным одеться в черное по случаю смерти женщины, но, узнав, что герцог вне себя от горя, он счел за лучшее явиться в черном. Оставался он в Милане всего несколько дней, так как нашел, что герцог совсем не склонен улаживать дела в Луниджане.

В 1469 году он был гонфалоньером; затем итальянские дела омрачились из-за похода, предпринятого папой Павлом и венецианцами против Роберто Малатеста, синьора Римини, и так как король Феррандо, герцог Галеаццо, и мы, обязанные, как члены Лиги, совместно защищать этого князя, начали к этому готовиться, то было признано, что каждая из этих трех держав должна послать в Рим ораторов, которые указали бы папе, что все они желают сохранить в Италии мир и что, как известно его святей-

шеству, они именно с этой целью несколько месяцев тому назад взяли на свою службу синьора Роберто и обещали ему защиту его владений; ведь, если бы они поступили иначе, его город попал бы в руки венецианцев, а это было бы достаточной причиной, чтобы зажечь пожар по всей Италии, так что они вынуждены сейчас защищать его ради соблюдения верности; ораторы должны были просить его святейшество устранить чинимую сему властителю обиду, а если этого сделано не будет, то заявить открыто, что державы их употребят на защиту его все средства, какие только для них возможны, и даже не побоятся задеть тех, кто сейчас задевает его. Наш город послал мессера Отто Никколини⁷³ и Якопо, которые отправились в путь вместе с прочими ораторами лиги, и начав эти мирные переговоры, они вели их несколько месяцев; затем, когда умер Пьеро, сын Козимо, Якопо вернулся во Флоренцию, оставив мессера Отто в Риме.

В конце этого года произошло возобновление лиги между королем Феррандо, герцогом и нами, и по этому случаю были отправлены в Неаполь для поздравления послы мессер Якопо и Пьеро Франческо Медичи⁷⁴; так как Якопо должен был вступить в должность капитана Пизанской крепости, был издан приказ, по которому вступление в должность было отсрочено на шесть месяцев. Несколько дней они пробыли в Неаполе, где их встретили очень любезно, но так как велись переговоры о создании общей лиги всех итальянских властителей для защиты

христианских стран против турок⁷⁵ и мессер Отто по этой причине находился в Риме, то к нему присоединили Пьеро Франческо Медичи, и Якопо остался в Неаполе один. Однако через несколько дней мессер Отто умер, и Якопо было приказано ехать в Рим, чтобы исполнить это поручение; приезд его туда был очень приятен герцогу, который рассчитывал на свою дружбу с ним и еще больше с мессером Луиджи и уверил себя, что посол будет весь к его услугам.

Мессер Якопо был также в великой милости у короля, который особенно желал заключения этого союза, и очутившись в гуще дел, он сумел так себя повести, что сохранил дружбу того и другого до самого дня своего отъезда. Переговоры были трудные, так как послы лиги имели полномочие заключить общий союз только под условием сохранения отдельного союза, что было папе особенно не по душе; однако папа это скрывал, затрудняя в то же время всеми способами оговорку об отдельной лиге. Дело тянулось несколько месяцев; в конце концов венецианцы решились во что бы то ни стало союз заключить, так как он был им необходим для войны с турками, а кроме того, у них была надежда, что, когда лига образуется, итальянские правители будут им отчасти способствовать; папа также вынужден был в нее вступить; таким образом создавалась общая лига всей Италии с оговоркой о сохранении отдельного союза между королем, герцогом и флорентийцами. Однако, так как герцог был втайне недоволен заключением этой лиги, то ораторы

его при составлении текста договора хотели вставить туда некоторые слова, которым там было не место; из-за этого поднялся спор, и герцог не захотел утвердить лигу, Якопо же утвердил ее от имени своего правительства, и когда пришло время подписывать договор, выпустив из него слова, которые хотели вставить герцогские ораторы, то Якопо сообщил об этом во Флоренцию, и синьория написала ему, как надо поступить; Лоренцо и другие влиятельные в государстве люди не хотели подписывать договор, чтобы угодить герцогу; однако в советах они об этом не говорили, желая избежать ропота народа, который особенно радовался заключению союза; поэтому они устроили так, что синьория ничего не отвечала Якопо о подписях, а частным образом синьоры, и особенно мессер Луиджи, посоветовали ему оставить дело нерешенным. Сам Якопо был иного мнения и подробно писал синьории, что подпишет договор во всяком случае, если только синьория не даст ему прямо обратного приказа; в конце концов он по частным письмам синьоров решил, что пора из Рима уезжать, так как подошло время отправляться в Пизу, и получив разрешение от синьории, он уехал и договора не подписал; во Флоренции его за это упрекали, так что ему пришлось в течение нескольких месяцев устранять препятствия к своему назначению, и я думаю, что он стал весьма неугоден королю. В эти дни герцог приехал во Флоренцию и на обратном пути побывал в Пизе, где Якопо провел с ним несколько часов

и всячески убеждал его осуществить эту лигу. Герцог очень охотно с ним беседовал и очень его обласкал, хотя насчет лиги остался при прежнем своем мнении.

В 1472 году произошло причинившее немало хлопот нашему городу восстание Вольтерры, которое решено было подавить открытой силой, и мессер Бонджанни Джанфильяцци был послан поэтому к герцогу урбинскому, который предназначался в начальники похода; Якопо же был послан в округ Вольтерры⁷⁶, чтобы подготовить наших солдат, вернуть окружные земли и устроить все необходимое для разбивки лагеря. Он покорил округ еще раньше, чем герцог к нему присоединился, и затем оставался в лагере комиссаром вместе с мессером Бонджанни, пока мы не победили и не овладели городом.

В 1476 году, и даже немного раньше, была заключена лига между венецианцами, герцогом миланским и нами, так что наш город оказался связан с герцогством Миланским, помимо старых интересов и дружбы, еще новым звеном и держал в Милане постоянного посла⁷⁷; посольство это стало очень важным, так как в Милане не доверяли ни Людовику⁷⁸, королю Франции, ни Карлу, герцогу Бургундии⁷⁹, и поэтому туда назначили Якопо; он пробыл там около восьми месяцев, был в большой милости у герцога, и нельзя было лучше послужить нашему городу, чем он это сделал за время своего посольства.

Вернулся он во Флоренцию в сентябре и в марте следующего года был избран гонфалонье-

ром; в этой должности он провел по настоянию Лоренцо Медичи и правительства, хотя и против своей воли, закон о завещаниях, направленный против Пацци⁸⁰; сам он сильно против него возражал—не потому только, что был ближайшим другом мессера Якопо Пацци⁸¹, но и потому, что дело это само по себе казалось ему бесчестным и могло привести к взрыву, как это впоследствии и случилось.

В 1478 году Якопо вместе с мессером Антонио Ридольфи был комиссаром в Фивизцано, и ему поручено было вступить во владение этими местностями, недавно подчиненными нашей власти; пробыли они там недолго и постарались быстро выполнить свое поручение, чтобы скорее вернуться во Флоренцию, где в это время разразился заговор Пацци.

Когда в том же году на нас двинуто было папское и королевское войско, во главе которого стояли герцоги Калабрии и Урбино, Якопо был послан в лагерь комиссаром; вскоре к нему присоединили брата его, мессера Луиджи, но в течение лета они успеха не имели, так как войск было слишком мало, чтобы держаться против неприятелей, которые взяли Ренчине, Радду⁸², Бродно⁸³, Каккиано и Кастеллину, что вызвало сильное волнение. В конце лета, когда враги расположились лагерем у Монте Сан Савино⁸⁴, решено было послать туда помощь ввиду важного значения этого места; мессер Луиджи вернулся во Флоренцию, а Якопо был послан с войсками и присоединился к мессеру Бонджанни, который прибыл туда раньше. Они

долго обсуждали способы помощи и выбирали места, где надо было расположить войско; затем они заключили с неприятелем перемирие на несколько дней, и в конце концов крепость сдалась врагам⁸⁵. Во Флоренции жестоко упрекали за это полководца, герцога феррарского и кимиссаров; и действительно, люди могли держаться и сдатьсь из трусости.

В следующем, 1479 году, когда синьор Роберто Сан Северино внезапно появился у ворот Пизы и расположился у Валь ди Серкио, Якопо был сейчас же отправлен в Пизу, куда приехали затем наш кондотьер герцог феррарский вместе с мессером Бонджанни. Пробыв там несколько дней, они удачно закончили войну на этом участке и прогнали неприятелей, после чего герцог и мессер Бонджанни отправились в Поджо Имперiale к отрядам, выставленным против Сиены, а Якопо поехал в Вальдикиану к отрядам, выставленным против Перуджи, куда должны были явиться также наш кондотьер синьор Роберто Малатеста и венецианский синьор Карло ди Монтоне⁸⁶, на которого особенно рассчитывали, так как сам он был изгнан из Перуджи, где у него было много друзей и сохранилось большое влияние благодаря памяти о его отце и его собственному громкому имени. Синьор Роберто прибыл на место, а граф Карло в это время умер; флорентийцы все же продолжали поход, но делали только набеги и брали неважные места, потому что, когда они попробовали захватить большую крепость, сейчас же явился на помощь герцог Калабрии; войско

у него было сильнее каждого нашего отряда, взятого отдельно, и он устроился лагерем в местности, находившейся посредине между Перуджей и Сиеной; как только один из наших двух отрядов начинал двигаться вперед, герцог сейчас же выступал ему навстречу, заставляя его отходить обратно; поэтому Якопо с согласия синьора Роберто написал во Флоренцию и просил, чтобы там согласились соединить оба отряда, которые оказались бы тогда сильнее войск герцога; но это не было одобрено. Затем, когда на помощь нашим врагам подошел синьор Маттео да Капуа с тридцатью пятью эскадронами папских войск, они вместе напали на наши отряды, стоявшие около Перуджи, но наши одолели и одержали блистательную победу; это ослабило перуджинцев, которым оставалось только итти на какое-нибудь соглашение, и если бы оно было заключено в течение двух или трех дней, победа в этой войне вообще осталась бы за нами. Но в это время другое флорентийское войско было совершенно разбито при Поджо Имперiale; Якопо, догадывавшийся, что перуджинцы согласятся на все, еще раньше два или три раза писал во Флоренцию и предупреждал, что необходимо принять меры заранее.

Получив известие о поражении почти у ворот Перуджи, они написали коллегии десяти с просьбой дать им указания и направились на Аретцо, чтобы быстро итти с войсками к Флоренции; по дороге комиссары получили письма от коллегии десяти с предписанием поступить именно

так, и по приказу коллегии они пошли на Сан Кашьяно, где соединились с остатками разбитого войска; затем, когда враги остановились около Колле ди Вальдельса, Якопо просил отпустить его и, получив разрешение, вернулся во Флоренцию.

После этих событий Лоренцо поехал в Неаполь, и так как он находился там в полной власти короля, то многие считали, что он никогда больше не вернется, в народе же начался сильный ропот на такое положение дел, и многие из лучших граждан поддались недовольству и заговорили о перевороте; Якопо, который не только был сам влиятельный человек, но был очень близок с лучшими людьми, всегда сильно этому противился, и, поскольку это вообще в силах одного человека, он, может быть, больше чем кто бы то ни было, сохранил власть за Лоренцо. После заключения мира для преобразования государства учреждена была ба-
лия⁸⁷ из тридцати человек, куда от каждой знатной семьи должно было войти не больше чем по одному человеку; исключением были Ридольфи, от которых вошли в нее мессер Антонио и Томмазо, сыновья Луиджи и наша семья, пославшая Луиджи и Якопо, избранного тогда же членом коллегии восьми⁸⁸.

В 1482 году началась война венецианцев в союзе с папой Сикстом против Феррары; Неаполь, Милан и мы выступили вместе на защиту Феррары, и флорентийцы отправили Пикколò Вителли⁸⁹ отвоевывать обратно Чита ди Кастелло, а так как папские войска взяли крепость Са-

турано в Романье, надо было попробовать вновь ее захватить и даже предпринять что-нибудь против Имолы и Римини, чтобы затем скорее двинуться на защиту Феррары; с этой целью в Романью был послан Якопо, как комиссар. Замысел этот не удался, так как граф Джироламо⁹⁰, находившийся в Римской области, поспешил на помощь с папскими войсками.

В том же году, когда союзные князья, к которым присоединился и папа¹, съехались в Кремоне, чтобы обсудить, какие у них есть средства и силы для защиты Феррары и нападения на венецианцев, туда был отправлен Якопо послом от нашего города. Когда в следующем году приехали в Феррару кардинал мантуанский, легат папы⁹² и герцог Калабрии, Якопо был назначен туда с титулом посла и комиссара; затем, когда они отправились в Ломбардию, чтобы начать с миланскими отрядами войну против венецианцев, Якопо вернулся во Флоренцию; герцог и кардинал очень просили его ехать с ними к войскам; этого хотела коллегия десяти, и даже сам Якопо, желавший участвовать в этом предприятии не столько в угоду синьорам, сколько потому, что оно обещало большой успех; но все же Якопо отклонил предложение из-за своей больной ноги.

В следующем году война в Ломбардии продолжалась, и войска лиги одерживали верх; Якопо был тогда назначен состоять при герцоге Калабрии как посол и должен был присутствовать на военных советах как генеральный комиссар наших войск, причем ему было велено ехать

через Луниджану; если бы он нашел, что для похода на Сарцану⁹³ достаточно войск, которые там уже находились, Якопо должен был взяться за это дело; если бы он счел, что взять Сарцану нельзя, он должен был распустить эти отряды и отправиться затем в Ломбардию, чтобы исполнить свое главное поручение.

Когда Якопо приехал в Луниджану, он счел невозможным захватить Сарцану с теми войсками, которые там находились, и потому отправился в Ломбардию, где в этом году были взяты Азола и некоторые другие венецианские города; он оставался там, пока солдаты не разошлись по домам. Затем он вернулся во Флоренцию и поехал снова на несколько дней в Милан, чтобы участвовать на совете по делам этой общей войны.

Вскоре заключен был всеобщий мир для всей Италии⁹⁴, а в договоре была, между прочим, статья, по которой флорентийцам разрешался поход на Сарцану и даже позволялось захватить любой пункт или город, которые стали бы им в этом деле мешать; они стали готовиться и назначили Якопо генеральным комиссаром при войске. Предприятие было трудное, так как Сарцана очень далека от наших границ, а по середине дороги стоит генуэзская крепость Пьетрасанта; поэтому Якопо было предписано найти какой-нибудь предлог, чтобы идти на Пьетрасанту, бросив осаду Сарцаны; однажды он отправил по направлению к Сарцане обоз с продовольствием под охраной нашего конетабля Паоло даль Борга и нескольких пехотинцев;

солдаты Пьетрасанты вышли из крепости, захватили обоз и ограбили людей. Тогда Якопо сейчас же увел войска из-под Сарцаны и расположился лагерем под Пьетрасантой; бомбарды были расставлены, проходы заняты, но генуэзцы отправили в крепость большие отряды пехоты и набрали много войск в соседних местностях; таким образом лагерю грозила большая опасность, и мы сочли за лучшее снять осаду. Однако во Флоренции решено было дело продолжать, подкрепив войска пехотой, которой раньше нехватало, отпустив для осады новые средства и назначив мессера Бонджанни и Антонио Пуччи⁹⁵ комиссарами вместе с Якопо; войска вновь обложили город и окружили его так, что помощь подойти не могла, и было ясно, что крепость через несколько дней должна сдаться, но в это время Якопо тяжело заболел и был перевезен в Пизу, где и находился, когда Пьетрасанта сдалась; то же самое немного позже случилось с мессере Бонджанни и Антонио Пуччи, которых перевезли в Пизу, где оба они через несколько дней скончались. Якопо долго хворал, но в конце концов поправился.

После этого, когда генуэзцы подошли к Ливорно, а во Флоренции задумали внезапно напасть на Геную с войском и при помощи генуэзских изгнанников, Якопо и Пьер Филиппо Пандольфини⁹⁶ были отправлены комиссарами в Пизу для подготовки этого дела, но сделать им ничего не пришлось, так как войска и галеры, предназначенные для похода, никуда не годились.

В 1485 году началась война баронов⁹⁷, а затем и война папы Иннокентия против короля Феррандо, за которого заступились Милан и Флоренция согласно условиям союза; однако в Милане, управляемом тогда синьором Лодовико, меры принимались с большим опозданием, так что делу много раз грозила большая опасность; поэтому Якопо был послан в Милан хлопотать перед герцогом, которого он так раззадорил своими настоятельными доводами, что из Милана быстро пошло большое и сильное подкрепление, благодаря которому заключен был почетнейший мир; заслуги Якопо перед королем, герцогом Калабрии и нашим городом в этом деле достойны удивления. После заключения мира Якопо вернулся во Флоренцию и, будучи викарием Чертальдо, получил приказ сейчас же отправиться в Пизу и, собрав там войска, перебросить их к Сарцанелло⁹⁸, тесно обложенный генуэзцами. Выступив из Пизы, наши войска, начальником которых был граф Питилиано, напали на неприятеля и заставили его снять осаду; тут пришел приказ двинуться к Сарцане, а Якопо, утомленный, помня болезнь, перенесенную под Пьетрасантой, просил отпустить его, хотя находил, что дело может кончиться успешно; но согласия не получил,—наоборот, ему было приказано участвовать в походе на Сарцану, куда вместе с ним назначен комиссаром Пьеро Веттори. Город был взят с честью для нас.

В следующем году, ввиду некоторых действий генуэзцев, он вместе с Бернардо дель Перо⁹⁹ был назначен комиссаром в Пизу: а в 1489 году

готовились к свадьбе Изабеллы, дочери герцога Калабрии, которая была невестой Джованни Гадеаццо, герцога миланского, и так как она должна была сойти на берег в Ливорно, то во Флоренции ввиду союза между обоими государствами сочли необходимым встретить ее с величайшими почестями; поэтому Якопо Гвиччардини, Пьеро Пандольфини и Паолантонио Содерини¹⁰⁰ посланы были ее приветствовать. Это было последнее дело, порученное Якопо, который вскоре слег от недуга, тянувшегося несколько месяцев и плохо понятого врачами: болезнь его была грудная; 18 мая 1490 года он ушел из этой жизни в таком ясном сознании, с такой верой и в таком прекрасном состоянии духа, что большего нельзя было бы и желать. Он мог говорить до последней минуты и распорядился своими делами, не составляя завещания, а поручив все на словах своему сыну Пьеро, которому верил, так как знал, что на него можно положиться. Он простился в последний раз с детьми, внуками и родными, каждому оставил что-нибудь на память, сообразно с его возрастом и качествами.

Рассматривая все черты его характера, мы найдем, что это был человек достойнейший, богато взысканный дарами духа, природы и судьбы, которые дают счастье, когда соединяются в одном человеке. Он был умен, храбр, щедр, услужлив и добр, во всяком случае был чист от всяких зловредных пороков; правда, он был распущен и несколько обжорлив, чего нельзя было ожидать от такого человека, но

в делах имущественных он был чист, а от природы добр, не склонен к злу или к мстительности. Хотя от отцовского наследия у него осталось немного, так как ему пришлось уплатить из него одну тысячу пятьсот флоринов, но он получил большое приданое за женой; с этим состоянием по тем временам, которые были хороши для торговли, он нажил много, как это видно из веденной им книги, в которой кратко занесены все его расчеты. Он, как будет сказано ниже, вел даже морскую торговлю и впоследствии, когда женил сына, у невесты которого было хорошее приданое, открыл шелковое дело и приблизительно за двадцать лет нажил на нем одиннадцать тысяч дукатов. Он получал также достаточно много от города, когда ездил послом или оратором, и таким образом составилось до последнего гроша его богатство. Мы видим поэтому, что состояние у него было большое, но он добился его, не присваивая себе чужого; наоборот, он всегда честно получал свою часть. Зло он всячески старался искоренять, но ни за что не хотел сделаться начальником полиции во Флоренции¹⁰¹.

В 1406 году он был в большой милости у сына Козимо, Пьеро, который хотел сделать его членом коллегии восьми, но Якопо отказался, не желая участвовать в приговорах об изгнании. Пьеро был человек великодушный, но при этом перевороте он, ради удовлетворения своих друзей, позволил осудить и сослать гораздо больше граждан, чем он это сделал бы по собственной воле. Якопо ему помогал и добился того, что

многих вернули, между прочим Пьеро Минербетти, который был впоследствии рыцарем; он был большим другом мессера Аньоло Аччайоли и вел с Пьеро переговоры о его возвращении, на которое Пьеро готов был согласиться по добродушию своей природы; однако он выжидал какого-нибудь случая, который позволил бы ему это сделать, не слишком раздражая друзей; когда Пьеро умер, Якопо продолжал те же переговоры с Лоренцо, но из них ничего не вышло, так как Лоренцо этого не хотел. После смерти Пьеро в 1469 году Якопо, бывший в то время оратором в Риме, написал Лоренцо письмо, убеждая его заpastись терпением, и дал ему, главным образом, два совета: первый — это сохранить для себя друзей отца и деда, верность и ум которых были испытаны во времена многих опасностей и переворотов; второй — подражать милосердию отца и пускать в дело железо и жестокие средства лишь при самой крайней необходимости. Позднее, после заговора Пацци, Лоренцо был страшно против них ожесточен — потому ли, что такова его природа, потому ли, что он был потрясен гибелью брата, собственной раной и страшной опасностью, ему грозившей; он приговорил к тюрьме молодых Пацци, которые были невинны и о заговоре не знали, и велел издать приказ, по которому девушкам Пацци, не имевшим большого приданого, запрещалось вступать в брак во Флоренции; Якопо всегда убеждал Лоренцо выпустить невинных юношей из тюрьмы и лучше изгнать их из пределов нашей земли и снять

с девушек запрет брака; в конце концов Лоренцо, хотя и гораздо позднее, согласился на то и другое — потому ли, что смягчился, или потому, что его уговорили Якопо и другие граждане, просившие о том же.

Якопо был человек книжно совсем необразованный, и хотя это мешало совершенству его духовных даров, но вместе с тем показывало силу его природного ума, который, не имея случайных украшений начитанности, проявился на опыте многочисленных его посольств. В речи его не было широты и изысканности, она была скорее важной и естественной, как это обычно для людей мудрых и необразованных. Природа также одарила его щедро: он был высок, белолиц и необыкновенно красив, — может быть, не было в его времена более красивого человека во всей Флоренции. Он был необычайной силы и крепчайшего здоровья, и единственным недостатком его была близорукость. Судьба его тоже не обошла своими милостями, потому что, получив от отца своего маленькое наследство, он, благодаря приданому, делам и должностям, настолько его увеличил, что оставил около двадцати тысяч скуди. Почестей ему было оказано столько, сколько вообще возможно для частного человека во Флоренции: помимо всех своих посольств и других поручавшихся ему дел, он два раза был гонфалоньером, и его хотели выбрать в третий раз; случилось, однако, что, возвращаясь во Флоренцию из своей виллы, он сломал себе ногу и хотя впоследствии выздоровел, но проболел все время, когда надо было вступать в

в должность. Он был три раза членом синьории, аккошиатором, членом коллегии десяти — должность, которую занимал три года подряд, членом коллегии восьми; всяких других отличий, которые даются нашим городом, было у него без конца. Он ездил в Левант на большой галере и вел ее сам, без капитана; затем он, кажется, был во Фландрии капитаном двух галер.

В последние годы жизни ему было поручено распределение налогов и назначено было для этого из первых граждан города пять человек на больших окладах; но Якопо отказался; он считал, что незачем ему ввязываться в дело, из которого невозможно выпутаться, не обидев бесчисленное количество людей. Он очень обрадовался, когда смог впоследствии провести снижение налога и облагодетельствовать таким образом многих. В конце его жизни вся власть флорентийского народа была передана балии из семнадцати граждан, среди которых был и он; умер он, состоя в этой должности, и вместо него был избран сын его, Пьеро. Хотя Луиджи был его старшим братом, и, в уважение к возрасту и положению, почести оказывались ему преимущественно перед Якопо, однако с 1457 года и до конца его дней правительство в важных делах больше ценило Якопо и больше ему доверяло, так как он считался более мудрым, а вовсе не потому, чтобы он был более раболепен; помимо других его свойств, он любил говорить прямо, что думал, и Лоренцо иногда на него раздражался, но большей частью терпел, зная, что это идет из хороших побуждений. Влияние

его, особенно между 1483 и 1490 годами, было огромно, и можно прямо сказать, что в это время он был после Лоренцо первым человеком в городе. К нему одинаково хорошо относились и народ, и лучшие люди, а вне города солдаты и кондотьеры, которые после его смерти горевали о нем как об отце. Он был в дружбе со многими князьями, между прочим с герцогом Галеаццо, который особенно любил его, когда он был в 1476 году послом, хотя относился к нему хорошо и раньше. В большой дружбе был он с герцогом Калабрии и кардиналом мантуанским, но в последние годы он не очень ее поддерживал, чтобы не вызвать неудовольствия Лоренцо, которому всякое возвышение очень выдающегося гражданина казалось подозрительным. Женат он был только раз, на Гульельметте, дочери Франческо Нерли, и, как сказано выше, жил он с ней в совершенном счастье и умер еще при ее жизни. У него был всего один сын, Пьеро, и Якопо еще при жизни мог видеть шесть или семь своих внуков. Была у него и дочь, Мадалена, вышедшая за Бернардо Веттори, сына Франческо. Не говоря об удачной его жизни, Якопо умер как счастливейший человек, оставив детей, внуков, богатство, высокое имя, славу и, что дороже всего, память о чистой совести.

Мессер Риниери Гвиччардини был незаконным сыном мессера Луиджи Гвиччардини от связи его с рабыней Биндо Галетти по имени Маргарита, когда мессер Луиджи был морским консулом в Пизе. Он еще ребенком ушел в ду-

ховенство и, чтобы подготовиться к каноникату, сделался еще в молодости доктором церковного права; отец уже тогда доставил ему несколько бенефиций и должностей и мог доставить еще много других, но, желая усовершенствовать его в науках, послал его в Павию, когда ему исполнился двадцать один год, а через несколько лет перевел его в Пизу, где в это время вновь открылась высшая школа; и тут и там юноша больше думал об удовольствиях и увеселениях, так что толку получалось мало, и в конце концов его сделали старостой студио в Пизе, что считалось для наших граждан, учившихся там, законной долей невежд. Оставив студио, он жил, как хотел, и отправился в свои бенефиции, так как был каноником Санта Липерата, коммендатарием аббатства Сан Томмазо в Кремоне и в последние годы получал от них больше четырехсот дукатов дохода. Каноникат он получил от цеха шерстяного дела, аббатство — от герцога Галеаццо. Он был приходским священником в Кастельфальфи, получив это место от капитанов гвельфской партии¹⁰², которым оно принадлежало, а по хлопотам Якопо Гвиччардини, бывшего тогда послом в Риме, получил от папы Павла каноникат Монте Варки. В Луккардо ему принадлежал приорат, подаренный владельцами его, семьей Макиавелли; была у него церковь, называвшаяся Фратичелли в Верчано, капелла в Лоро в Казентино, и так шли дела его до самой смерти отца. Мессер Луиджи умер в 1487 году, когда Риниери было 38 лет, и оставил ему в наследство все свое имущество. Якопо сильно негодо-

вал, считая это распоряжение мессера Луиджи неразумным, так как мессер Риниери получал такие доходы, что в отцовском наследстве не нуждался; он знал достоверно, что это не было свободным желанием мессера Луиджи, что он поступил так по настояниям мессера Риниери и больше всего потому, что годы мессера Луиджи сильно ослабили в нем ясность ума; зная порочную природу мессера Риниери, его неприязнь к своим родственникам, легко можно было предвидеть, что после его смерти состояние это вообще уйдет из нашего рода, и потому Якопо дал понять мессеру Риниери, что он не намерен признать такое завещание. Мессер Риниери вначале сильно упорствовал, но дело после долгих споров кончилось тем, что, считаясь с весом Якопо и понимая, насколько он еще может быть ему полезен, Риниери удовольствовался пожизненным владением и пользованием домом во Флоренции, имением Каве под Флоренцией, домом в Пошиано и имением около Массы; после же смерти его половина этого имущества должна была перейти к Якопо и его наследникам, а другая половина — к наследникам Никколо, второго брата мессера Луиджи; остальное состояние, которое было невелико, разделялось уже сейчас между названными его родственниками. Таким образом мировая сделка была заключена, а немного спустя, в 1489 году умер мессер Джироламо Джуньи, архидиакон Флоренции, и в сан этот, благодаря покровительству Якопо, возведен был мессер Риниери. Ему до смерти хотелось получить епи-

скопство, и потому он вплоть до 1494 года был неотлучным придворным мессера Джованни, кардинала Медичи¹⁰³, сопровождая его в Рим и всюду, куда бы он ни направлялся; желая достойнее служить ему и понравиться этим Лоренцо Медичи, он носил одежду протонотария. Когда в 1494 году произошел переворот, мессер Риниери решил, что одной только княжеской милостью и известностью своего имени епископства не добудешь, а потому он начал копить деньги для его покупки, и когда в 1498 году надо было собирать десятину с папских диспенсаций духовенству, он был назначен папой единственным комиссаром для сбора и раскладки налога; назначение это состоялось благодаря покровительству герцога миланского и монсиньора Асканио¹⁰⁴, а также по хлопотам мессера Франческо Гуальтеротти, в то время нашего оратора в Риме. Дело это принесло мессеру Риниери огромную выгоду, но вместе с тем возбудило против него сильную зависть и доставило ему столько хлопот, что он через несколько месяцев для избавления себя от излишних дразг и ради вящего укрепления за собой этой должности согласился на то, что к нему присоединят двух флорентийских каноников. Помимо того он много лет и еще до 1494 года был вместе с мессером Шандольфо делла Луна комиссаром по налогам при студио; таким образом, благодаря своим обычным доходам и этим двум должностям, мессер Риниери в короткое время собрал больше трех тысяч дукатов, несмотря на то, что тратил деньги широко и щедро. Считаю,

что по времени приходилось прикрывать свои намерения, он, несмотря на то, что много раз мог сторговать себе епископство, пропустил несколько таких случаев, в частности епископство Фьезоле, от которого его отговорил Пьеро, сын Якопо, его двоюродный брат; в конце концов, когда оказалось свободным епископство в Кортоне, мессер Риниери не устоял против искушений честолюбия и осенью 1502 года получил его от папы Александра наперекор всей своей родне и мнению людей, желавших ему добра. Стоило это ему, считая деньги, уплаченные папе и расходы на диспенсацию ввиду его незаконнорожденности, расходы на право удерживать бенефиции, а также другие необходимые и почетные траты, четыре тысячи дукатов или около того, самое же епископство не приносило и трехсот дукатов. Когда все уже было сделано, мессер Риниери, сообразив, что поведение его было неразумно, и чувствуя, насколько непривычно для него оказаться без гроша и иметь долгов на сотни дукатов, решился с горя сократить все свои расходы, отправиться в свою Кортонскую епархию и оставаться там столько времени, сколько нужно для того, чтобы не только заплатить долги, но вновь сколотить себе несколько сот дукатов. Однако судьба решила иначе, и летом 1503 года, когда он отправился по делам своим в Кремону, он от жары или от излишеств схватил изнурительную лихорадку и чуть было не умер в Ферраре на обратном пути; снова захворав, он приехал во Флорен-

цию и, так как болезнь его перешла в перемежающуюся лихорадку, пробыл там почти до конца января. К тому времени он выздоровел от лихорадки, но начал хворать приступами кашля, вначале до того легкими, что трудно было их заметить, но потом они усилились, началась сильная лихорадка, и в феврале мессер Риниери умер, заранее исповедовавшись и причастившись и собираясь написать завещание, в котором хотел оставить свое движимое имущество ближайшим родственникам; смерть не дала ему окончить завещание, и он оставил все наследство своей сестре, дочери мессера Луиджи, и ее наследникам; после уплаты долгов кредиторам осталось около шестисот дукатов.

Мессер Риниери был человек большого ума, крутого, изменчивого нрава и мелкой души; память у него была огромная, и благодаря ей он удерживал в уме все, что касалось его дел, хотя ничего не записывал. Нравственности он был низкой, предавался разврату, был всенародно обличен, и это величайшим образом вредило ему не только в молодости, но и в старости, до самой его смерти. По части чревоугодия он следовал обычаю других духовных лиц, которые слоняются без дела во Флоренции и думают, что одно из самых важных их забот — это мысль о еде. Он был щедр, великолепно одевался, держал открытый дом, часто приглашал к себе гостей и роскошно их угощал; однако в расходах на добрые дела был скуп, как и во всем, что могло быть полезно и выгодно для его родных, с которыми всегда был мелочен

и никогда ничем не помог им ни при жизни, ни после смерти. Так же скуп он был со своими, слугами, которым в последние годы ничего не давал и жалования не платил, разве только в самых редких случаях. Характера он был гневного, так что становился почти невыносим.

Жизнь его была счастливая, так как, будучи незаконнорожденным и не имея ни образования, ни добродетели, он получил столько бенефиций и должностей, что еще до своего епископства имел больше тысячи дукатов дохода; все это досталось ему не собственным трудом и умением, а единственно стараниями и влиянием отца его, мессера Луиджи, и дяди его, Якопо, без которых у него не было бы ни гроша; одно только епископство он добыл себе сам, купив его посредством симонии, и сильно повредил себе этим не только духовно, но и в миру; утешения он не получил, так как прожил в епископском сане немного больше года, большей частью больной и угрюмый, и ни разу не ездил в свою епархию.

Наружности он был прекрасной: высок ростом, белолиц, с благородными чертами лица; крепок и здоров он был необычайно. Умирая, причастился святых тайн,— не знаю, в каком состоянии души он это делал, но смерти он сильно боялся, и страдания его были велики. Умер он пятидесяти четырех лет, а жизнь его была такая, что я упомянул о нем не ради его качеств, а скорее ради памяти о его сане, так как до него в семье никогда не было ни епископа, ни даже, кажется, простого священника.

Пьеро, единственный сын Якопо Гвиччардини, родился 9 июня 1454 года и приблизительно восемнадцати лет женился, взяв хорошее приданое, на Симоне, дочери мессера Бонджанни Джанфильяцци, в то время влиятельного гражданина. Еще юношей он всегда сидел за книгами и воспитывался в любви к наукам и в нравах добрых и строгих; он в двадцать лет выступал на турнирах, но делал это не по собственному желанию, так как не упражнялся, а чтобы доставить удовольствие Лоренцо и Джулиано Медичи, которые сильно настаивали на его участии; занятий он ради этого не бросил; продолжая вести такую жизнь до зрелого возраста, он много успел в словесных науках, в греческом языке и приобрел некоторые сведения в философии. Когда умер отец его, Якопо, Пьеро было тридцать шесть лет, он остался единственным мужским потомком, был одарен великолепными способностями, и все знали его хорошо, так как с самого отрочества всегда считали его умным и добрым. Еще юношей он был викарием Вико Пизано, а впоследствии Муджелло; других мест не занимал, был только морским консулом, а от иных предложений отказался,— между прочим, от должности подеста в Пизе.

В 1490 году, когда предстояло назначение в Неаполь посла, который должен был, как это полагалось, состоять при короле Феррандо, Лоренцо Медичи решил, что туда должен ехать Пьеро; однако в начале 1490 года умер отец его, Якопо, и Пьеро был отвлечен своими част-

ными делами. В это время во Флоренции действовала коллегия из семнадцати граждан, первых людей в городе, членом которой был Якопо, и Пьеро был теперь избран на его место; это дало ему большую силу, так как всем стало ясно, что раз Лоренцо Медичи, тогдашний глава правительства, создал ему такое положение, значит он намерен приобщить его к государственным делам.

В 1491 году тяжело заболел папа Иннокентий; сын Лоренцо, мессер Джованни Медичи, был сделан папой кардиналом, но так как ему еще не было восемнадцати лет, объявление об этом было отложено, и он не имел права еще некоторое время носить кардинальскую шапку, однако при условии, что если папа в течение этого времени скончается, то назначение будет обнародовано *ipso jure*; Лоренцо, желавший провести дело гладко и дать возможность своему сыну по смерти папы участвовать в конклаве, дабы усилить этим его значение, решил отправить от имени города двух послов, которые, находясь на месте, могли бы способствовать делу, насколько это окажется необходимым. Избраны были мессер Гвидантонио Веспуччи и Пьеро, которым приказано было выехать сейчас же, и они собрались немедленно; однако вслед за этим пришли известия, что папа, смерть которого ожидалась с часу на час, начинает поправляться, и таким образом ехать не пришлось.

В том же году предстояло отправить в Милан посла, который пребывал бы там постоянно,

а кроме того, Лоренцо, задумавший изменить в Пизе и ее округе оценку недвижимостей и преобразовать насколько возможно ее городские учреждения, решил послать туда по выбору трех полновластных консулов; поэтому он предложил Пьеро выбрать, хочет ли он ехать послом в Милан или на год консулом в Пизу. Пьеро выбрал Пизу и отправился туда вместе с Лоренцо Морелли и Филиппо Антелли; однако уже через полгода Лоренцо умер, и весь замысел о преобразовании этого города отпал. Вернувшись в следующем году, т. е. в сентябре 1492 г., во Флоренцию, Пьеро был очень близким человеком к Пьеро Медичи и был послан в Милан, так как посольство это всегда было очень важным ввиду могущества этого государства, значения его для наших дел и влияния синьора Лодовико, который был тогда правителем; сейчас же оно было еще более важным ввиду новых разноречий и обозначавшихся новых событий. Пробыл он там год и, убедившись в неблагожелательстве синьора Лодовико, неустанно убеждал Пьеро в своих письмах, что надо подумать, как бы умиловить этого князя и заручиться его помощью; однако все было напрасно, так как Пьеро, которому судьбы готовили гибель, бросился в объятия короля Неаполя и Орсини, и дела зашли так далеко, что кончились походом французов, за которым последовали все потрясения, уничтожившие Италию¹⁰⁵.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕБЕ САМОМ



Я, Франческо, сын Пьеро Гвиччардини, в настоящее время доктор гражданского и канонического права, родился 6 марта 1482 года* во Флоренции около десяти часов, и при крещении мне дано было имя Франческо: имя Франческо я получил в честь Франческо, сына Филиппо Нерли, деда моего отца со стороны матери, а имя Томмазо — в честь святого Фомы Аквинского, в день которого я родился. Крестили меня мессер Марсилио Фичино¹, в те

* По современному счету, в 1483 году: год во Флоренции начинался 25 марта.

времена первый в мире философ-платоник, Джованни Каначчи и Пьеро дель Неро.

С самого нежного возраста я, по воле отца моего, Пьеро, старательнейшим образом воспитывавшего своих детей, стал изучать словесные науки и приобрел, кроме знания латинской литературы, некоторые сведения в греческом языке, но с годами я его забыл, так как упражняться в нем мне не пришлось; я очень хорошо выучил арифметику и кое-что узнал в логике, правда, очень мало, а затем начал изучать право.

В 1498 году к концу ноября месяца начал я изучать право гражданское и слушал в этом году институции у мессера Якопо Модести ди Карминьяно из Прато, преподававшего тогда во Флоренции, так как Пиза была нами потеряна.

В 1499 году я, по установленному порядку занятий, слушал общее римское гражданское право у мессера Орманотто Дети, и слушал его до самого поста; потом, когда начал читать мессер Франческо Пепи, а мессер Орманотто перешел на право каноническое, я слушал остаток года мессера Франческо, у которого мне все равно пришлось бы учиться, и занимался, кроме того, институциями у мессера Якопо.

В 1500 году я продолжал слушать по утрам мессера Франческо Пепи, а затем, когда он уехал посланцем в Рим, я слушал мессера Филиппо Дечо, по вечерам же занимался гражданским правом у мессера Джованни Витторио Содерини²; 19 марта 1500 года я уехал учиться в Феррару, по воле отца моего Пьеро, который непременно

хотел отправить меня учиться подальше от Флоренции и считал, что я буду больше стараться, когда окажусь вне дома. Однако он ускорил мой отъезд, так как во Флоренции было тогда очень неспокойно³, и отец, на случай какого-нибудь переворота в городе или каких-нибудь событий во-вне, которые угрожали бы свободе, хотел иметь убежище, куда можно было бы переправить самое ценное из его имущества. Поэтому он послал меня в Феррару, где студио было очень неважное, но он предпочел его всякой другой школе, так как город этот был в те времена очень спокоен под управлением герцога Эрколе д'Эсте⁴.

По той же причине он дал мне при отъезде из Флоренции пятьсот дукатов золотом, а через несколько дней, когда волнения во Флоренции разгорелись, он прислал мне еще пятьсот и вскоре после того еще тысячу дукатов; во всем этом я старательно давал ему отчет, хотя был молод и ничьей узды на себе не чувствовал.

В том же году я слушал гражданское право по утрам у мессера Герардо дель Сарачино из Феррары, а по вечерам у мессера Антонио Мариа Каттабени. В том же году я крестил незаконного сына маэстро Никколò Теллучи из Сан Миниато, учившегося тогда в Ферраре медицине; получил он имя Джулио Кодро; крестили его маэстро Лодовико дель Фоссато, который читал логику, мессер Луиджи Бончани, читавший особенное гражданское право, и я.

1501 год я пробыл в Ферраре и слушал по утрам гражданское право у мессера Джованни

Содалетти, так как мессер Герардо был в Риме; когда он вернулся, я перешел к нему, а вечерами занимался у мессера Антонио Мариа Каттабени.

В том же году я крестил у мессера Антонио Мариа Каттабени дочь: назвали ее, кажется, Марией; крестил я ее один.

В том же году Дианора, моя старшая сестра, вышла замуж за Джованни, сына Андреа Арригуччи.

В 1502 году я переехал учиться в Падую, так как студио Феррары меня не удовлетворяло; здесь я слушал по утрам гражданское право у мессера Кристофано Альберицио из Павии и до пасхи занимался у него; преподавание его мне не нравилось, и я на остаток года перешел к каноническому праву, занимаясь у мессера Филиппо Дечо, у которого и жил как этот год, так и следующий; по вечерам я слушал мессера Карло Руино из Реджо.

В 1503 году я до пасхи слушал по утрам гражданское право у мессера Кристофано Альберицио, а после пасхи каноническое право у мессера Филиппо Дечо, по вечерам же работал у мессера Карло Руино.

В том же году умер мой дядя, мессер Риниери Гвиччардини, архидиакон Флоренции и епископ Кортонь, получавший дохода от бенефиций около тысячи пятисот дукатов. Болезнь его тянулась долго, и многие считали, что он должен отказаться от своих бенефиций в мою пользу; я же этого хотел не для того, чтобы чваниться крупными доходами, подобно большей

части духовных лиц, а потому, что я был молод, получил образование, которое могло быть основой возвышения моего в церкви, и я мог надеяться стать когда-нибудь кардиналом; однако мессер Риниери не был особенно склонен отказываться в мою пользу, и так как он сделал бы это скрепя сердце, только по настоянию отца моего, Пьеро, к которому питал великое почтение, то в конце концов дело кончилось ничем. Хотя у Пьеро было пять сыновей, он ни за что не хотел, чтобы кто-нибудь из них был священником, так как считал дела церкви сильно испорченными и предпочитал отказаться от крупной выгоды и от надежды сделать из своего сына великого магистра, чем брать на свою душу грех, что он сделал сына священником ради денег или тщеславия; такова истинная причина, его побудившая, а мне пришлось с этим примириться, насколько я мог.

В 1504 году я слушал в Пауде по утрам гражданское право у мессера Джироламо Боттичелла из Павии, а по вечерам продолжал слушать мессера Карло Руино.

В 1505 году, который я начинаю теперь с 25 марта, согласно флорентийскому счету, я жил в Пауде до конца июля месяца, работая у тех же учителей, а затем вернулся во Флоренцию; в последний день октября мне было поручено нашими великодушными синьорами преподавать институции во Флоренции, где в это время было создано студио, с жалованием в двадцать пять флоринов в год. Соперничали со мной мессер Джованни Баттиста Гамберелли

или Ластрайоло, один из старейших юристов во Флоренции, но человек малой учености, мессер Якопо Модести из Карминьяно, у которого я слушал институции, и мессер Франческо, сын Бартоломмео Пандольфини, начавший читать в год моего вступления; начали же мы читать 9 ноября; слушателей у мессера Джованни и у мессера Франческо было меньше, чем у меня, а у мессера Якопо и у меня их было почти поровну; если вообще у кого-нибудь было преимущество, то у него, но оно состояло скорее в знатности некоторых учеников, чем в большей численности слушателей.

В том же году, 15 ноября, я получил степень доктора в капитуле Сан Лоренцо в коллегии Пизанского студио, но только по гражданскому праву, не желая тратить лишних двадцати с половиной дукатов, так как степень доктора канонического права важного значения не имела; выдвинули меня мессер Антонио Малегонелле, мессер Франческо Пепи и мессер Джованни Ветторио Содерини; лекцию же свою я прочел утром этого дня.

Отец мой, Пьеро, считал, что за время с начала моего ученья до этого дня истрачено было отчасти на мое учение, отчасти на книги, отчасти за время жизни вне дома, отчасти на докторат на 26 дукатов сверх пятисот дукатов; однако точно указать цифру не могу.

Получив степень доктора, я в том же году начал выступать как адвокат, и клиентов у меня было больше, чем можно было ожидать по моим летам, по числу ученых юристов во Флоренции,

по небольшому количеству дел в те тяжелые времена и по сравнению с другими молодыми докторами.

В 1506 году я продолжал читать свои лекции, о которых я говорил выше, и читал весь июль при большом количестве слушателей, как и раньше; затем я прекратил чтение, так как наступили вакации, и больше не преподавал.

В этом году, в мае, я крестил дочку мессера Лодовико, сына Аньоло Аччайоли, вскоре затем умершую; крестили ее мессер Боно Бони и я. В том же году я был выбран адвокатом общины Фивиццано с жалованием в три дуката в год, и сделано это было стараниями Карло, сына Леонардо дель Бенино, который был тогда комиссаром, и отчасти в память деда моего Якопо Гвиччардини, с которым эта община была в дружбе.

В том же году, 6 июля, по смерти мессера Антонио Малегонелле, я был выбран вместо него адвокатом церкви Санта Мариа Нова, адвокатами которой состояли раньше мессер Франческо Пепи⁵, мессер Антонио Строцци и мессер Джованни Витторио Содерини. Получал я за это гуся в день всех святых, козленка на пасху, несколько огарков на Санта Мариа Канделлара, кусок телятины на день Сан Корнелио.

В том же году, 14 января, когда отец мой, Пьеро, был викарием Скарперии, я женился на Марии Сальвиати, четвертой дочери Аламанно, сына Аверардо Сальвиати, взяв за нее в приданое две тысячи неполноценных флоринов наличными деньгами, как это видно по брачному договору; брак этот до известного времени держался

в тайне, о чем я еще скажу дальше. Я мог в те времена взять гораздо более крупное приданое и жениться на девушке знатного рода, а кроме того, брак этот не особенно нравился отцу моему, Пьеро, по многим причинам: Аламанно⁶ и его двоюродный брат Якопо, сын Джованни Сальвиати, были врагами Пьеро Содерини, тогда пожизненного gonfalonьера, а отец мой был с ними близок, дела города сильно его утруждали, и он боялся, как бы Сальвиати в один прекрасный день не кончили плохо; кроме того, он желал для меня большего приданого и, так как у него было пять сыновей и шесть дочерей, боялся, что на долю каждого придется немного; наконец, Сальвиати были богачами, жили в роскоши, и отец мой опасался, не воспитана ли девушка в слишком большой пышности и роскоши; несмотря на все это, я твердо решился на ней жениться. Родство с Аламанно и Якопо, их покровительство, богатство и влияние могли выдвинуть любого частного человека во Флоренции, я же был весьма честолюбив и по этой причине непременно хотел стать их родственником; кроме того, я считал, что лишние пятьсот или шестьсот дукатов приданого для меня не важны. В конце концов в названный день я, с разрешения Пьеро, которое досталось не без труда, вступил в этот брак, и сватом моим был Аньоло, сын Джованни Барди; однако, если бы все не было хорошо подготовлено как с их, так и с моей стороны, дело могло бы расстроиться из-за неумелости моего свата, который для таких вещей не годился.

Спасение души и тела моего в руке божией, и да простит он мне, если я доставил Пьеро слишком много забот,— сам я до сего часа своим браком доволен, но не могу не чувствовать иногда укоров совести и сомнений, не погрешил ли я перед господом, поступив против воли такого отца, как мой.

8 июня того же года Филиппо Буондельмонти женился на дочери Луки, сына Мазо Альбицци⁷, и я, присягнув сначала в Санта Либерата, был избран посредником в этом деле со стороны Филиппо, а Аламанно Сальвиати — со стороны Луки.

В том же году я крестил дочь Пьеро Франческо, нотариуса во Флоренции; крестили ее сер Джованни Лапуччи и я.

В июне 1507 года я крестил старшую дочь Бернардо, сына Андреа Карнесекки, которую называли, кажется, Мария; крестили ее Принцивалле, сын Луиджи делла Стуфа, Антонио, сын Луки и внук Мазо Альбицци, Антонио, сын Антонио Гонди, и я. В том же году, 29 декабря, я крестил у Пандольфо, сына Пьеро Джованни Риказоли, старшего сына, названного Андреа; крестили его Джованни, сын мессера Гвидо Антонио Веспуччи⁸, Бенедетто, сын Филиппо Буондельмонти, и я. В том же году, 7 февраля, я крестил у Джованни, сына Альбертаччо Альберти, сына, названного Пьеро; крестили его Антонио Франческо, сын Луки Антонио Альбицци и я.

В том же году мне, вместе с другими гражданами, три раза поручено было синьорией со-

проводить во дворец послов: первый раз мессера Джулио Серучато из Неаполя, который направлялся из Испании в Неаполь и должен был проездом исполнить поручение к синьории; второй раз мессера Джироламо да Кампо Сан Пьеро и мессера Джованни Франческо Альдобрандини, двух влиятельнейших граждан Болоньи, которые ехали ораторами в Рим и хотели посетить синьорию; третий раз мессера Джан Марко Медичи и мессера Боно, приехавших послами от Лукки. Упоминаю об этом, чтобы не говорить о том же в другой раз, если мне еще раз будут поручаться такие дела.

В том же году я дважды выступал поручителем: первый раз за Паоло, сына Пьеро Веттори⁹, второй раз за Пьеро, сына Франческо Нерли; упоминаю об этом в надежде, что они воздадут мне тем же, если мне придется когда-нибудь быть на их месте; если же я еще буду в жизни поручителем, то говорить об этом не стану, раз я уже сказал об этом для той же цели.

В том же году я крестил дочь Пьеро Каппони¹⁰, которую называли Сельваджа; крестили ее Алессандро, сын Джованни, внук Танаи Нерли и я. В том же году происходили выборы в цехах; я был выставлен цехом суконных торговцев (Calimala) и цехом менял (Cambio), и меня выбрали консулом по цеху торговцев при первом же голосовании; однако мне не было еще тридцать лет, и занять должность я поэтому не мог.

В том же году я был избран адвокатом подестерии и лиги Кьянти с жалованием восемна-

дцать скуди; хлопотал об этом избрании маэстро Франческо Пьероццо ди Вьери, тогдашний подеста, и сер Джованни, сын Франческо ди Пандо из Кастеллины, и его родные; этот сер Джованни жил у нас в доме и учил грамматике меня и всех моих братьев.

В том же году в коммерческом суде все ученые юристы Флоренции собрались для выбора заседателя; больше половины голосов присутствующих было подано за меня, и я был избран тринадцатью черными записками из пятнадцати.

22 мая 1508 года был объявлен мой брак с Марией Сальвиати; правда, об этом уже несколько месяцев говорилось в городе во всеуслышание, все считали дело решенным, так что можно было говорить о нем открыто; упоминаю об этом дне, потому что я тогда впервые ее увидел. Дай, господи, чтобы это случилось в час добрый, и пошли нам спасение как души, так и тела.

В том же году, в первые дни июня, когда по приказанию коллегии восьми был схвачен мессер Пьеро Лодовико да Фано, тогдашний флорентийский подеста, и по делу его было созвано совещание¹¹, я был призван в нее вместе со многими учеными юристами и первыми гражданами Флоренции, среди которых был и мой отец; там не было никого, кто бы не оказался по крайней мере на десять лет старше меня; упоминаю об этом, так как я первый раз был тогда на заседании пратики.

Помню, как в том же году, 1 августа, я крестил сына Бартоломмео Джерини, флорентий-

ского нотариуса, которого называли Антонио; крестили его мессер Луиджи Веллутти, Рафаэлло, сын Раниери Джульи, и я.

Помню, как в том же году, 2 ноября, после богослужения в церкви Сан Броколо, я был венчан с женой моей, Марией, в доме отца ее, Аламанно Сальвиати, и сделал это тайно, чтобы избежать пересудов и сплетен, обычных в таких случаях почти о каждом сколько-нибудь известном человеке; и в тот же вечер мы обменялись кольцами, чему свидетелем был сер Джованни Карсидени.

Помню, как в том же году, в воскресный день ноября, поздним вечером, в дом мой верхом и без огней приехала жена моя, Мария; на следующее утро дали завтрак для самых близких родных; это было сделано, чтобы устраивать как можно меньше празднеств и торжеств, ибо время было такое, что все лучшие и мудрые люди неохотно задавали пиры.

Помню, как 22 декабря того же года подтвердил я, что мной получено от Аламанно Сальвиати в счет приданого названной Марии, моей жены и его дочери, одна тысяча сорок неполноценных флоринов; в действительности я уже раньше получил наличными тысячу флоринов, переданных отцу моему, Пьеро, и уплаченных через банк Панцани, и, кроме того, еще двести флоринов, ценившихся гораздо выше. По договору между нами я не был обязан брать в счет двух тысяч флоринов больше двухсот флоринов наличными деньгами; поэтому Аламанно внес мне только эту сумму; кроме того,

было мне предоставлено на три года право пользования его домом на улице Сан Броколо, в котором обычно жил мессер Франческо Гуальтеротти, а сумма, остающаяся до двух тысяч флоринов, должна была поступить на мой счет; дело в том, что девушка должна была получить из Monte девятьсот шесть флоринов процентных денег, которые, однако, еще не выросли и поэтому нельзя было их признать; между тем признание двух тысяч флоринов обязывало платить налог. По условиям нашего договора Аламанно должен был взять приданое из Monte, и приходилось платить налог еще до того, как проценты нарастут.

Делалось это не для того, чтобы принести ущерб городу, а для того, чтобы не платить налог с двух тысяч девятисот шестидесяти флоринов, потому что в действительности их было не больше двух тысяч. Присутствовал при этом отец мой, Пьеро, и оба мы за величину приданого поручились; в тот же день Микеле да Колле, который был со стороны Сальвиати, уплатил налог с одной тысячи сорока флоринов, а сер Джованни Лапуччи составил акт о приданом; 5 февраля я получил извещение, что приданое больше двух тысяч десяти флоринов и что налог с него не уплачен; 24 февраля соответствующие инстанции признали меня правым шестью черными записками.

Помню, как в январе этого года заключен был с лукканцами союз на три года, и так как надлежало отправить в Лукку посла, чтобы принести им поздравление и вместе с тем последить,

как они ведут себя в пизанских делах, я выступил, по указанию Якопо Сальвиати, соискателем этой должности при выборах в коллегии восьмидесяти¹² и в первый раз в жизни предложил себя на место посла; так как ни я, ни другие не имели успеха, то в конце концов избран был мой отец, Пьеро, собравший больше половины голосов, а на его место избран был впоследствии Джованни Баттиста Бартолини.

Помню, как 13 февраля того же 1508 года капитаны больницы дель Чеппо, которых насчитывается двенадцать человек, состоящих в должности пожизненно, должны были доизбрать в свою среду еще двух капитанов вместо умерших Нери Ринуччини и Джованни Минербетти, и на выборах присутствовало восемь капитанов, так что требовалось получить семь черных записок, и выбранными оказались Томмазо Спини и я, по указанию тестя моего, Аламанно Сальвиати. Должность была малозначительная, но избрание это было почетным, если иметь в виду высокое положение людей, в обществе которых нам предстояло быть, именно Доменико Мадзинги, Пьетро Ленци, Джоваккино Гуаскони, Никколò дель Неро, Алессандро Манелли, Бартоломмео Бенчи, Джованни Баттиста Бартолини, Аламанно Сальвиати, присутствовавших на выборах; Адовардо Каниджани и Бартоломмео, сына Паньоццо Ридольфи. Я получил семь черных и одну белую записку, которую подал Джоваккино Гуаскони. При первом голосовании избран был Томмазо Спини, я же и другие под-

верглись этому испытанию три раза; так как никто не получал требуемого большинства, а у меня было две трети голосов и нехватало одного, то меня единственно выставили вновь, и я прошел восемью черными записками; говорили, что Алессандро Манелли, подавший сначала белую записку, подал потом черную.

Помню, что 31 марта 1509 года синьория собрала совещание граждан (*pratica*) в числе около семидесяти вместе с прежними тридцатью; дело было в том, что Антонио да Филикайя, Алманно Сальвиати и Никколò Каппони¹³, бывшие комиссарами в округе Пизе, сообщили, что, если хотят помешать ввозу продовольствия в Пизу¹⁴, надо окружить ее тройным лагерем, и я был призван на эту пратику; упоминаю об этом, так как это был первый раз в моей жизни, когда синьория пригласила меня на пратику.

Помню, что в это время, по случаю смерти мессера Антонио Малегонелле, остался без адвоката капитул церкви Санта Липерата (один дукат жалованья и гусь в день всех святых), и так как перевыборов еще не было, то мессер Козимо Пацци, архиепископ Флоренции, предписал капитулу произвести их, а чтобы сделать ему удовольствие, выбрать родственника его мессера Орманоццо Дети, которого очень настойчиво рекомендовал всем каноникам; 16 апреля 1509 года выборы состоялись, и выбранными оказались мессер Орманоццо и я. Избранию моему способствовал архидиакон мессер Франческо Минербетти, желавший угодить Якопо Сальвиати, мессер Томмазо Арнольди и мессер

Аверардо Джуьни, помнившие еще дядю моего, мессера Риниери; успех я имел больше всего благодаря Якопо Сальвиати; ввел меня в должность мессер Джулиано Торнабуони; место было мало выгодно, но очень почетно по высокому положению, и его всегда занимали черные юристы во Флоренции. Выступали на выборах мессер Антонио Строцци, мессер Франческо Гуальтерротти и многие другие.

В том же году крестил я сына у сера Антонио да Санта Кроче, сына сера Микеле; называли его, кажется, Микеле; крестили его сер Антонио, сын сера Батиста, Филиппо, сын Нероццо дель Неро, и я.

Помню, как в том же году, в июне месяце, приехали во Флоренцию два оратора императора Максимилиана¹⁵ и просили у нашего города сто тысяч дукатов, предлагая взамен подтверждение привилегии нашей свободы и нашей власти над всеми принадлежащими нам землями, и ответ им задерживался в ожидании каких-нибудь известий от короля Франции; признано было необходимым послать к ним двух граждан, которые состояли бы при них, пока они не уедут, и синьория назначила для этого мессера Орманоццо Дети и меня.

Помню, как в день..., когда тесть мой Аламанно был комиссаром в Пизе, только что завоеванной вновь, я поехал туда посмотреть этот город и повидаться с ним; поехали мы вместе с Маттео Строцци, пробыли мы там всего несколько дней, поехали оттуда в Ливорно и вернулись через Лукку, Пешию, Пистойю и Прато.

Помню, как 21 ноября того же года мессер Биаджо, миланский генерал ордена Санта Мариа ди Валле Омброза, вместе с орденскими отцами выбрали меня своим адвокатом, положив мне в награждение десять бочек вина Монте Скалари в год; способствовал этому Джованни Баттиста Бартолини, имевший большое влияние на генерала и на орден и оказавший мне эту услугу по просьбе Якопо Сальвиати, который обратился к нему по моему настоянию.

Помню, как в том же году, 22 ноября, мессер Пьеро Дельфино, генерал ордена Камальдулов, избрал меня адвокатом ордена. Способствовал этому Якопо Сальвиати, обратившийся к генералу через кардинала Медичи¹⁶; он просил этого кардинала написать генералу, так как орден остался без адвоката после смерти мессера Карло Никколини. Впервые в этом году я без всяких с моей стороны хлопот был выбран адвокатом общины Санта Кроче через посредство приора, мессера Винченцо Дуранти: жалование — четыре дуката в год.

Помню, что 20-го того же месяца я получил от Аламанно через Микеле да Колле весь остаток приданого; я истратил его целиком — отчасти на покупку одежды для жены и для себя, отчасти на убранство нового дома; не тратились золотые флорины, которые приносят мне прощеты и лежат на имя отца моего, Пьеро, в нашем шелковом деле, которое ведется под фирмой брата моего, Якопо, Лоренцо, сына Бернардо Сеньи¹⁷, и других.

Помню, как 28 декабря того же года, в час и три четверти ночи, родилась у меня от жены моей, Марии, дочь, которую крестили 29-го числа в церкви Сан Джованни в 23 часа * и назвали Симоной в честь моей матери и, кроме того, Ромолой; крестили ее мессер Якопо Пеци, мессер Никколò, сын Симоне Альтовити, Руберто, сын Донато Аччайоли¹⁸, и Паоло, сын Пьеро Веттори; они не подарили ей ни сластей, ни других вещей, потому что я их об этом просил, не желая щеголять ненужными тратами чужих и своих денег.

Помню, как после смерти мессера Франческо Гуальтеротти, случившейся 3 января, я был в тот же вечер выбран адвокатом Флорентийской торговой палаты (Mercatanzia) шестью ее старшинами, именно Кименти ди Серниджи, Филиппо Саккетти, Никколò Серралли, Бернардо, сыном Карло Гонди, Пьеро ди Танаи деи Нерли и Джироламо ди Стуффа; больше всех способствовал этому Бернардо Гонди, и я получил шесть черных записок. Платили мне восемь гроссоны ** в день всех святых и двадцать на пасху.

Помню, как Аламанно Сальвиати, бывший в Пизе капитаном, слег в Пизе от тяжелой болезни, тянувшейся около двух месяцев, и так как, несмотря на видимое облегчение, ему было еще очень плохо, я отправился его проведать,

* 5 часов вечера.

** Гроссоны — тосканская монета в 21 кватрин, приблизительно $\frac{1}{3}$ тосканской лиры.

помнится, 24 января и пробыл у него пять дней, а с обратной дорогой девять.

Помню, что я собирался поселиться поблизости от дворца подеста по обычаю других ученых юристов; и по просьбе моей получил я дом Аламанно Сальвиати на улице Сан Броколо, отданный мне по условиям брачного договора на три года и переданный 13 ноября 1508 года, когда выехал из него мессер Франческо Гуальтеротти, отправлявшийся в Пистойю капитаном; я отсрочил свой переезд по разным причинам и в конце концов переехал вместе с Марией 14 февраля, на второй день поста. Дай боже, чтобы это произошло в час добрый с честью и пользой для меня и для спасения души.

Помню, как около 18 февраля я был избран адвокатом монастыря Сан Донато в Скопето на место мессера Франческо Гуальтеротти; выгода была невелика, но избранием этим надо было всячески дорожить; способствовал ему маэстро Томмазо, сын маэстро Паоло ди Вьери, и отец его, маэстро Паоло, бывшие врачами названного монастыря. Пара канлунов ежегодно.

Помню, как 24 марта 1509 года угодно было богу призвать к себе благословенную душу тестя моего Аламанно Сальвиати, скончавшегося в Пизе; он был там капитаном и слег от трудов, понесенных при обратном завоевании города в лагере Сан Пьеро ин Градо и в других местах, а может быть, причиной был и воздух Пизы; после долгой болезни, тянувшейся сто тридцать три дня, при ежедневно возвращавшейся лихорадке, никогда его не отпускавшей, он скон-

чался в названный день, исполнив уже все, что требовалось по его должности капитана.

Аламанно был человек большого и сильного ума, высокой души, широкого и открытого нрава, у которого, что было в сердце, то было и на устах; намерения его были добрые и обращены на благо города, как он его понимал; сам он был любвеобилен, всегда готов помочь делу справедливому, и, наоборот, все гнусное и бесчестное возбуждало в нем ненависть и гнев. Влиянием он к концу жизни пользовался огромным и был вне всяких сравнений первым человеком в городе; помимо других его качеств, этому способствовали знатность рода и большое богатство, основанное, главным образом, на торговле и на прочных, достойно нажитых доходах, которые обеспечивали ему популярность, ибо этим живет и кормится народ; поддерживалось его влияние еще и тем, что по своей семье, по сестрам, по жене и по дочерям он имел большую родню в семьях видных домов города; и друзей у него было несметное количество,— одни зависели от него по делам, другие получали от него различные одолжения и денежные выгоды, третьи еще рассчитывали получить их в будущем. Лучшие люди верили ему слепо, так как знали его, как человека твердого, прямого и широкого, и эти свойства снискали признательность и расположение всех. Этому помогла и постоянно помогала дружба и близость его с Якопо Сальвиати, его двоюродным братом, человеком сильным и высоко стоящим; жили они всегда в самой большой дружбе, дела вели со-

вместно и во всех случаях так друг друга поддерживали, что это, можно сказать, создало в большой степени богатство, друзей, родню, имя и огромное влияние, которым пользовались как тот, так и другой.

В Аламанно все эти черты были заложены от природы; впоследствии они обнаружались и стали известны всем, когда синьория послала его в Ареццо; с великой для себя честью успокоил он народные волнения в городе и вне его, как об этом подробнее говорится в нашем рассказе*. В последние годы черты эти развились в нем особенно сильно, а слава его и расположение к нему народа еще выросли после обратного завоевания Пизы; вот почему так скорбели о его смерти все люди в городе, к какому бы состоянию они ни принадлежали, тем более что он умер, во всем блеске свежей славы после покорения Пизы, от долгой и мучительной болезни, нажитой во время этого похода, и оставил девять дочерей, из которых было пятеро незамужних; особенно скорбели о нем потому, что он умер в самом расцвете деятельности и сил, когда ему всего несколько недель как исполнилось сорок девять лет. Давно уже не бывало по умершем гражданине такого всенародного горя, притом вполне по заслугам, ибо две вещи истинные можно было о нем сказать: одна,— что во Флоренции могли, конечно, оказаться люди, у которых какая-нибудь отдельная хорошая черта его была развита еще сильнее, но в целом не

* В «Истории Флоренции».

было гражданина, который мог бы с ним сравниться; другая,— что во всем городе не было человека, на которого можно было бы больше положиться в трудном деле, так как, помимо всего, о чем я говорил выше, слава о нем гремела по всей стране; в Пизе любовь к нему и преданность были огромны, в соседних городах, как Сиена, Лукка, Перуджа, ему верили безгранично; особенно велика была в нем неутомимость и страстность, с которой он отдавался делу государства, и ни в одном флорентийском гражданине это не было так сильно, как в нем. Вот почему так скорбел о нем каждый, кто не имел против него пристрастия, и тем сильнее, чем больше люди понимали и принимали к сердцу дела города. Для меня это было горе ни с чем не сравнимое, и во всю жизнь не чувствовал я скорби большей или даже подобной, чем в дни, когда я лишился тестя, на которого мог так крепко положиться.

Умер он, как сказано, в Пизе, сорока девяти с несколькими неделями лет от роду, будучи сложения крепкого и внушительной осанки,— умер с такой ясностью ума и такой верой в душе, что невозможно выразить это словами; всех окружавших убеждал он не плакать и не скорбеть, а радоваться его смерти, ибо сам он был ей рад и умирал охотно.

Пошли, господа, мир душе его и сохрани нас и все, что остается от рода его. Знаю, что я сказал о нем много, и все же каждый, кто понимает его, сочтет, что я сказал о нем не слишком много, а слишком мало.

Помню, как в апреле месяце сестра моя Констанца вышла замуж за Лодовико, сына мессера Пьеро Аламани, и получила приданое в две тысячи неполноценных флоринов наличными деньгами.

Помню, как 12 июля 1510 года я крестил дочь сера Аньоло, сына сера Антонио и внука сера Баттиста, которую называли Алессандра; крестили ее сер Джованни Карсидонни, Паоло дель Джокондо и я.

Помню, что 15 марта 1510 года общество ткачей избрало меня своим адвокатом на место мессера Франческо Гуальтеротти; способствовал этому сер Бартоломмео Джерини, флорентийский нотариус.

Помню, как в том же году крестил я сына сера Джулиано, сына Лоренцо да Рипа; крестили его мессер Джованни Буонджиролами и я.

Помню, как 28 июля того же года крестил я дочь маэстро Томмазо, сына маэстро Паоло ди Виери; крестили ее Бартоломмео, сын Пьеро ди Пиери, и я.

Помню, как 28 июля того же года крестил я сына Бернардо, сына маэстро Джорджо, которого называли Джорджо; крестили его один испанец — мессер Диего, Франческо, сын Джулиано Сальвиати, Джулио, сын маэстро Минго, и я.

1511

Помню, что итальянские дела были сильно запутаны, и в городе нашем царило великое смущение по причине папских угроз¹⁹; с одной

стороны, король Франции был всемогущ в итальянских делах, будучи властителем герцогства Миланского и распорядившись Болоньей; с другой стороны, между папой, королем Испании, владевшим королевством Неаполитанским, и венецианцами образовалась новая лига, готовившаяся к войне²⁰; город наш, несмотря на зависимость свою от Франции, решил все же начать переговоры с королем Испании, союз с которым до июня был еще в силе; желая оправдаться перед его величеством от обвинений, возводимых на нас папой, город решил отправить к королю посла²¹; выборы происходили несколько раз, и в конце концов 17 октября 1511 года был избран я по указанию Лодовико, сына Якопо Морелли; я очень колебался дать свое согласие, так как считал, что это путешествие расстроит мои занятия, в которых я, по возрасту моему, уже сильно преуспел, и мне казалось, что я укреплюсь сильнее, если останусь еще два или три года во Флоренции; однако, по совету отца моего, Пьеро, которому я написал в Монте Пульчиано, где он был комиссаром, я согласился; он же находил, что мне оказана великая честь таким избранием, ибо посольство это очень почетно по высокому достоинству короля, а тем более по моему возрасту, так как никто во Флоренции не помнил, чтобы юноша таких лет когда-либо избирался для подобного посольства; поэтому он считал, что отказаться мне трудно, а главное, что по молодости лет мне нечего тосковать об отдаленности места. Кроме того, он думал, что

мне следует вести себя так, чтобы мною здесь были довольны, и ему казалось, что я таким путем могу создать себе имя; наконец, с денежной стороны он находил, что, при постоянном жаловании в три дуката золотом в день и особом подарке в двести золотых дукатов, мне не надо будет прикладывать от себя; если же город решит не отправлять посла, как это советовали некоторые граждане и особенно гонфалоньер, меня не будут ни упрекать, ни осуждать за отказ. Дай бог, чтобы решение это было правильным, и пошли мне счастливый путь, если надо будет уезжать.

Помню, что 26 октября Филиппо, сын Паоло Альбицци, и я крестили сына Доменико Риччальбани, которого называли Бернардо.

Помню, как по смерти мессера Луки Корсини был я избран 6 декабря адвокатом Башенного ведомства (*Ufficiali della Torre*); в нем состояли Лоренцо дельи Алессандри и Неро Пеппи, подавшие черные записки только за меня, Мариотто Сеньи и Джованни Франческо, помогавшие как мне, так и другим, Бернардо Пуччини, который хотел провести мессера Антонио Строцци и потому положил мне белую записку, несмотря на данное обещание.

Помню, как 9 декабря капитул Бигалло избрал меня своим адвокатом, и я получил, как мне кажется, черные записки от Доменико Боинсеньи, Томмазо Браччи, Джованни Аттаванти и Франческо, сына Томмазо Джованни.

Помню, как 11 января 1511 года в двенадцать часов дня умерла дочь моя Симона, хворавшая

около восемнадцати месяцев болезнью, похожей на чахотку. Боже, сохрани остальных.

Помню, как 29 января* я выехал из Флоренции в свое испанское посольство, получив от синьории, кроме своего постоянного жалования в три дуката в день, особый подарок в триста дукатов золотом. Дорога моя шла через Францию прямым путем на Авиньон и Монпелье, и въехал я в Испанию через Салес и Перпиньян; 27 марта я был в Бургосе, где находился тогда король Арагона, при котором я должен был состоять²². Путешествие мое было счастливо, погода стояла прекрасная, сопровождавшие меня люди и животные ни в чем не пострадали.

Помню, что 14 апреля 1512 года жена моя Мария, которую я оставил беременной, родила девочку, которую называли Симона и Маргарита. Крестили ее по моей просьбе Пьеро Франческо, сын Джорджо Ридольфи, и Франческо, сын Карло Питти.

В 1512 году Пьеро Содерини уже девятый год был пожизненным гонфалоньером, и внутренние дела в городе обстояли следующим образом: люди высокого положения, которым следует иметь влияние, были оттеснены; должности и почести щедро и часто раздавались людям, которые этого не заслуживали по ничтожеству своего рода или потому, что были вообще людьми мало пригодными или просто дурными; от этого происходило, что большая часть благо-разумных граждан почти отдалилась от дел

* По флорентийскому стилю 1511, по общему 1512 г.

общественных и, можно сказать, покинула город; гонфалоньер передавал дела на решение многолюдных советов, где люди мудрые значили мало, дела же решались больше по его указке, так что город оставался почти что под управлением его одного. Отсюда получалось, что общественные и государственные дела велись плохо и во многих случаях были предоставлены самим себе, ибо один гонфалоньер не мог поднять такое бремя, а кроме того, как показал опыт, в нем не было таких качеств, которые заслуженно утвердили бы за ним славу человека мудрого и сильного.

Причина этих бедствий и беспорядка в управлении была в том, что когда Содерини был выбран гонфалоньером, т. е. на должность, созданную с мыслью о преобразовании города, он старался только о том, чтобы сосредоточить государственные дела в своих руках и, насколько мог, отстранить от них людей, всего более известных; может быть, он подозревал их, по-моему напрасно, в том, что они сместят его, как только будут в силах; может быть, он поступал так из голого честолюбия, желая быть единственным вершителем всех дел и, насколько возможно, сосредоточить все значение города на себе. Когда он был избран, Большой совет уже начинал расширять число выборных должностей, но Содерини, занятый только своей целью, ни за что не хотел, как это было бы его долгом ради блага города, подумать о том, чтобы пресечь злоупотребления, и, наоборот, он скорее покровительствовал этому расширению; таким

образом, в момент его избрания гонфалоньером выборы в синьорию производились с большим отбором, и от каждого квартала выставлялось не больше пяти или шести человек; теперь же пошли такие злоупотребления, что хуже производить выборы невозможно; редко, когда выбирают кого-нибудь уже заседавшего ранее в коллегиях, а из мешков вынимают записки с восемнадцатью или двадцатью именами на квартал. Так происходит при выборах в коллегии и на должности, замещаемые по избранию или по жребию; таким образом совсем выродилась коллегия восьмидесяти²³, которая по замыслу ее учреждения должна была быть кормчим нашего города.

В Испании в 1513 году

Франческо, возраст твой,— тебе исполнилось уже тридцать лет,— обилие многих и бесчисленных даров, данных тебе от бога, обладание умом, позволяющим тебе познать всю суету этой жизни, когда злые должны бояться жизни будущей, а добрые могут на нее надеяться,— все это должно было привести тебя к тому, чтобы ты поступал сообразно дарам твоим, отмеченным выше, и рассуждал не как ребенок и юноша, а как старец. Господь оказал тебе такую милость, что отечество и граждане свободно и законно возвели тебя в звание и поручили тебе дела, важность которых превышает твои годы, а божественная милость сохранила тебя до сегодняшнего дня и дала тебе бóльшую изве-

стность и славу, чем ты этого заслуживаешь; ты должен поэтому в делах божественных и духовных сообразоваться с божьими велениями и поступать так, чтобы господь по милосердию своему уготовил тебе в раю ту же долю, какой ты сам желаешь для себя в этом мире. Конечно, жизнь и привычки твои до сего дня не были достойны человека благородного, сына отца доброго, с малых лет воспитанного в правилах благочестия, не достойны и того благоразумия, которое есть в тебе по собственному твоему суждению; нельзя тебе жить так дальше без великого срама, хотя бы перед самим собой.

Помню, что до 20 декабря ночью, в девять часов на 21-е*, угодно было богу призвать к себе благословенную и святую душу отца моего, Пьеро. Я узнал об этом в Пьяченце, возвращаясь из посольства в Испанию, но до того никаких известий о его болезни не имел. Он умер во Флоренции, и хотя болел долго, но вначале обратил на это мало внимания, так как у него никогда не было ни лихорадки, ни какого-нибудь сильного припадка; это была скорее слабость и упадок сил, причиненный, как мне кажется, недугом, развивавшимся в течение многих лет, ибо Пьеро был человек, которому огорчения причиняли жестокие страдания; думаю, кроме того, что смерть его была еще ускорена волнениями и горем, которые он испытывал из-за беспорядочной жизни и долгов своего старшего сына Луиджи.

* Три часа ночи.

Пьеро был человек мудрый, высоких суждений и такой проницательности, что подобного ему не было в то время во Флоренции: совесть его была чиста, как у любого из лучших граждан; он любил благо города, любил бедных и никогда не причинил никому даже самой легкой обиды. По этим причинам и ради высоких достоинств рода и предков его глубоко уважали еще с молодых лет, и продолжалось это всегда, так что к концу жизни он окружен был величайшим почетом; считалось, что, кроме Джованни Баттиста Ридольфи²⁴, не было во Флоренции человека, равного ему по уму и серьезности. Если бы к его доброте и благоразумию прибавилось немного больше страстности, он был бы, конечно, гораздо более знаменит; но потому ли, что такова была его природа, или того требовали времена, поистине жестокие и необычные, но он приступал ко всякому делу без большой охоты и с величайшей осмотрительностью. Он редко за что-нибудь принимался, к делам государства приступал медленно, обдумывал их зрело, не любил высказывать в важных случаях своих намерений и мнений, если только не понуждала его к этому необходимость или совесть. Он не был главою партии или выдумщиком новых затей, и потому имя его не было у каждого на устах, а известность его не расширялась. Однако такое поведение послужило ему для другого, а именно: среди волнений и переворотов, которых так много пережито было городом в его времена, он всегда сохранял свое положение и никогда не был в опасности; из равных ему это никому не

удалось, так как никто из других крупных людей не избежал в какое-то время опасности для своей жизни или для своего имущества.

Умер он пятидесяти девяти лет, и когда Медичи вновь стали во главе правления, влияние его было огромно,— не потому, чтобы они считали его бесконечно к себе приверженным, как многих других, бывших еще более горячими их сторонниками, а потому, что знали его, как человека мудрого и хорошего, и видели, с каким великим доверием относится к нему народ; они полагали поэтому, что если он не захочет ради них подвергать себя опасности, то по крайней мере не станет против них злоумышлять. Он всегда был и слыл человеком, жизнь которого проходила мудро и в делах добрых, а после возвращения Медичи посвятил себя целиком делу защиты граждан и общего блага, и все знали, что так он поступать будет и дальше; поэтому смерть его была большим горем для города, может быть, большим, чем смерть кого-либо из граждан Флоренции за много лет; ее почувствовали лучшие люди, народ и граждане всякого состояния, так как каждый знал, что ушел гражданин мудрый и добрый, от которого в общественных или частных делах не могло быть никому никакой обиды, а только польза и добро.

Он умер, сделав завещание и причастившись святых тайн с великой набожностью, и можно надеяться, что господь примет его в обитель вечного спасения.

Для меня это было горе, которое я даже не могу высказать, так как я возвращался с огром-

ным желанием его увидеть; мне казалось, что я смогу радоваться и наслаждаться встречей с ним больше, чем когда-либо в прошлом, и вдруг на меня свалилось известие о его смерти, о которой я совершенно не думал и ничего не подозревал. Я любил его больше, чем дети обычно любят своих отцов, и мне казалось, что, по возрасту и сложению, он мог прожить еще несколько лет; раз богу угодно было иное, нам остается только с этим примириться, и это должно быть для нас легче, если мы подумаем, с какой благостью он жил и умер, и будем знать, что, по мнению всех людей, мы можем только гордиться, что мы — дети такого отца.

Помню, как в декабре того же 1513 года, по смерти мессера Франческо Пени, который был адвокатом флорентийского аббатства, братья выбрали меня своим адвокатом по настоянию Якопо Сальвиати, а затем Лоренцо Медичи.

Помню, как в том же декабре месяце братья монастыря Сеттимо в Честелло избрали меня своим адвокатом на место мессера Франческо Пени, хотя Лоренцо Медичи их об этом не просил, но они готовы были это сделать и без его предстательства.

Помню, как в том же декабре месяце консулы цеха избрали меня адвокатом цеха вместо мессера Франческо Пени.

Помню, как 5 января 1513 года я вернулся во Флоренцию из посольства своего в Испанию, на которое у меня ушло двадцать три месяца и восемь дней, считая дорогу туда, пребывание там и обратный путь. Путь мой туда лежал на

Авиньон, откуда я через Барселону и Сарагоссу проехал в Бургос, где находился тогда его величество, король дон Фернандо; возвращался я Бискайской дорогой через Байонну, Тулузу, мост Св. Духа и Лион. Пока я был там, мы оставались все время вместе с двором в Бургосе, Логроньо, Вальядолиде и Медина дель Кампо; раз, когда король был на охоте, я совершил поездку до Саламанки. В этом посольстве я был счастлив, так как, помимо того, что я съездил и вернулся благополучно и без малейшего неудобства, здоровье мое все время было прекрасно; прием мне оказали хороший, король был ко мне милостив, и мнение обо мне там было доброе. Во Флоренции народное правительство было донесениями и действиями моими вполне довольно, и так продолжалось потом, когда государственный строй изменился после возвращения Медичи во Флоренцию²⁵; хотя они сразу назначили новым послом Джованни Корси, но они послали его туда только через год, после настоятельных просьб с моей стороны о разрешении вернуться; в действительности они показали, что мною довольны. Король, при отъезде, подарил мне серебра на пятьсот дукатов золотом, так что, *omnibus computatis*, я съездил туда с пользой. Вернулся я домой с честью, в добром здоровьи, со средствами и вполне удовлетворенный; однако богу угодно было в противовес послать мне испытание, ибо за несколько дней до моего возвращения умер отец мой, Пьеро, а если бы я застал его живым, то мне показалось бы, что я возвращаюсь счастливым.

Помню, что 11 февраля город Кастель Ново в Валь ди Чечина избрал меня своим адвокатом с жалованием в три дуката золотом в год, причем сделано это было просьбами и стараниями мессера Пьеро Аламанни.

Помню, как 14 февраля новая конгрегация скита Камальдулов избрала меня адвокатом с награждением десятью бочками вина в год; избрание это провел фра Пьетро Квирино, камальдульский отшельник и настоятель скита, я же об этом не думал, не хлопотал, и все совершилось само собой.

Помню, как 22 февраля понадобилось проверить деятельность иностранного члена коммерческого суда, и при выборах на должность ассессора при синдиках из мешка вышло мое имя.

Помню, как 28 февраля того же года крестил я девочку у маэстро Бартоломмео, сына сера Антонио Веспуччи, которую называли Катерина и Ромола; крестили ее Козимо ди Сан Миниато, Мазо дель Товалиа, Марк Антонио Гонди и я.

Помню, что 17 марта, сейчас же после восшествия на престол папы Льва, было избрано семнадцать граждан, которые должны были установить доходы Monte и преобразовать его; гражданами, облеченными по этому делу и по всем другим полнейшей властью, какая принадлежит всему народу флорентийскому, были: Пьеро Аламанни, Джованни Баттиста Ридольфи, Пандольфо Корбинелли, отец мой Пьеро Гвиччардини, Ланфредино Ланфредини, мессер Франческо Цепи, Лоренцо Морелли, Якопо Сальвиати,

Антонио Серристоры, Бернардо Ручеллаи, Якопо Джанфильяцци, Франческо, сын Антонио ди Таддео, Лука, сын Мазо Альбицци, Джулиано Медичи, которого потом заменил Лоренцо, Гулиельмо Анджолинни, Симоне Ленцони, Лоренцо Бенинтенди; когда понадобилось избрать преемников мессера Франческо Пепи и Пьеро Гвиччардини, умерших незадолго до того, были избрашы 17 марта мессер Луиджи делла Стуфа и я. С самого возвращения своего из Испании я всячески хлопотал о том, чтобы старшего брата моего Луиджи²⁶, назначенного в балию, провести также в коллегию семнадцати, и я охотно уступал ему свое место, так как он очень этого желал; а кроме того, я считал, что меня всегда можно будет применить; однако Лоренцо Медичи решил по-другому. Видя его расположение ко мне и считая, что награда дана мне за службу и за все остальное, я этим дорожил, особенно зная, что Лоренцо меня ценит и хочет начать с этого назначения, чтобы создать мне известность. Что касается Луиджи, то он в конце концов больше хотел сохранить это достоинство в нашем роде, чем упустить его и для себя и для меня, как это случилось бы, если бы я поступил иначе.

Помню, как 17 марта 1513 года кровные братья мои, Луиджи, Якопо, Бонджанни и Джироламо, произвели со мной раздел нашего имущества, оставив в общем владении загородные виллы и дома во Флоренции; раздел этот произведен был сообразно решению, вынесенному Якопо Джанфильяцци, хотя мы уже раньше,

каждый отдельно с общего согласия, составили запись, по которой все было во всех подробностях условлено. На мою долю достались имения в Лучиниано и в Массе, доход с которых на долю владельца считался в пятьсот десять лир и шестьдесят сольди, как это точно видно по поземельной книге.

Помню, что 20 апреля 1514 года город Вольтерра по предложению мессера Пьеро Аламани избрал меня своим адвокатом с жалованием в десять дукатов в год.

Помню, что 6 мая мессер Антонио, ведавший больницей святого Павла, назначил меня адвокатом названной больницы.

Помню, что 14 августа я был назначен членом балии восьми вместе с Пандольфо Корбинелли, Луиджи Арнольди, Андреа дель Качча, Заноби Аччайоли, Франческо Кальдерини, Таддео Таддеи, Джованни Баттиста дель Читтадино; должности этой я не искал и получил ее без всяких хлопот со своей стороны.

Помню, как 30 октября, несколько раньше восьми часов, в ночь на 31-е*, жена моя Мария родила девочку, которую крестили на следующий день и назвали Лукреция. Крестили ее Луиджи Арнольди и Заноби Аччайоли, со товарищи мои по балии восьми, от имени и по доверию всего магистрата.

Помню, что 6 апреля 1515 года я крестил у Карло, сына Бенедетто Угуччони, его сына, которого называли Лионардо: крестили его Джо-

* Два часа ночи.

ваини, сын мессера Гвидо Антонио Веспуччи, Джованни, сын Пьеро Веттори, и я.

Помню, что в 1514 году Лоренцо Медичи²⁷, находившемуся тогда в Риме, было донесено, что я тайно действую в пользу Антонио Гуальтеротти; донос был ложен, но он ему отчасти поверил, а кое-кто из лукавых придворных воспользовался этим и убедил его, что к правлению его я отношусь прохладно, и можно даже сомневаться, не стремлюсь ли я к возвращению народной власти; поэтому, вернувшись из Рима в мае 1515 года, он уже не выказывал ко мне того доброго расположения, как до своего отъезда в Рим, когда он был ко мне очень милостив; теперь он начал открыто меня сторониться; между прочим, приглашая к себе некоторых граждан на дом под видом совещания, он меня обошел. Убедившись в его немилости и опасаясь чего-нибудь худшего, я искусно начал хлопотать с помощью некоторых людей, желавших мне добра; в этом деле помогли мне, кажется, старания Ланфредино и Якопо Сальвиати, и особенно Маттео Строрци²⁸. Я горячо убеждал Лоренцо, доказывая, что он напрасно на меня гневается, и уверял его в моей преданности, так что он стал обнаруживать ко мне доброжелательство и пригласил меня в коллегию, на которую мы собирались прежде в церкви Сан Спирито вместе с мессером Пьетро Аламанни, Пандольфо Корбинелли, Пьеро Никколó Ридольфи, Ланфредино Ланфредини, Франческо Веттори; в Санта Кроче вместе с Лоренцо Морелли, Якопо Сальвиати и Антонио Серри-

стори; в Санта Мариа Новелла вместе с мессером Филиппо Бундельмонти, Руберто Аччайоли, Якопо Джанфильяцци и Маттео Строцци; в Сан Джованни вместе с мессером Луиджи делла Стуфа и Лукою, сыном Мазо дельи Альбицци. С появлением французов²⁹, к которым папа и все они были открыто враждебны, дела пошли плохо, Лоренцо должен был вместе с нашими отрядами и войсками церкви лично выступить в Ломбардию, и так как надо было оставить во Флоренции надежную синьорию, то я был выбран членом синьории на сентябрь и октябрь вместе с Доменико Аламанти, Томмазо Герарди, Донати Кокки, Лукою, сыном Пьеро Веспуччи, Лоренцо, сыном мессера Антонио Малегонелле Джованни Баттиста Браччи, Заноби ди Бартоло, а гонфалоньером был избран Лука, сын Мазо дельи Альбицци; таким образом, до сих пор мнение обо мне у него было благоприятное. Посмотрим, что будет дальше, и пусть поможет мне бог. Не хочу умолчать, что и Лоренцо и другие смотрели на меня как на человека стоящего, с которым нужно считаться, и мнение это, как мне кажется, побудило Лоренцо стараться сохранить мою дружбу, а не делать из меня врага или недовольного.

Помню, как в том же году, 15 августа, приехал во Флоренцию его высокопреподобие архиепископ флорентийский, кардинал Джулио Медичи³⁰, отправлявшийся легатом в Болонью и в Ломбардию в связи с французскими делами; в то же время направлялась во Флоренцию для свидания со своим супругом мадонна Филиберта

Савойская, жена его светлости Джулиано Медичи, и синьория поручила мессеру Луиджи делла Стуфа и мне встретить у границы сперва легата, а потом мадонну Филиберту и сопровождать ее до Флоренции.

Помню, что в ноябре того же 1515 года приезжал во Флоренцию его святейшество папа Лев X, направлявшийся в Болонью для свидания с королем Франции, и город, как подобало, готовил ему великие почести, а для встречи его святейшества на границе были назначены в качестве послов мессер Франческо Минербетти, архиепископ туринский, Бенедетто Нерли, Нери Капшони, Якопо Джанфильяцци, Маттео Строцци и я; мы встретили его между Ареццо и Кастильоне, проводили его святейшество до Фильине и затем вернулись во Флоренцию; в отсутствии мы пробыли всего девять дней.

Помню, как в первый день декабря 1515 года, когда папа Лев находился во Флоренции, куда он прибыл накануне, в день св. Андрея, он в заседании конгрегации кардиналов объявил меня адвокатом консистории; его святейшество сделал это без моего ведома и помышления. Правда, что дело здесь больше в почете, чем в выгоде, особенно для человека, не живущего всегда при курии, однако я дорожил этим званием, и мне было радостно, что его святейшество даровал мне такое отличие, хотя ни я, ни другие об этом не просили; число адвокатов консистории ограничено, и мое избрание никому из них ущерба не принесло, по крайней мере с денежной стороны; во всем остальном, т. е. в праве

заседать в консистерии в адвокатском облачении и вести дела консистерии, они пользуются теми же преимуществами, как и другие адвокаты, число которых ограничено.

Помню, как 20 декабря мне было объявлено об избрании меня адвокатом города Буджано в Вальдиньеволе сроком по 21 октября и с жалованием в два золотых флорина в год.

Письмо к Макиавелли

1526

Госпожа Финоккието шлет тебе пожелания здоровья и верного суждения.

Если бы я думала, что написанное тобой хозяину и господину моему обо мне написано со злым умыслом, я бы не дала себе труда тебе отвечать, ибо я рождена и воспитана в этих уединенных горах и не обладаю таким красноречием, чтобы решиться тебя разубеждать; кроме того, я считаю, что месть моя будет вернее, если я злому предоставлю утвердиться и упорствовать в его злобе, чем если раскрою истину и тем самым заставлю его покраснеть. Однако я убедилась, что ты поступил так по ошибке, которая, хотя и не делает тебе чести, но по крайней мере простительна, а потому предупредить тебя о правде будет, как мне кажется, делом человечности и любезности, которой во мне больше, чем принято

* Финоккието — загородная вилла Гвиччардини. Письмо написано самим историком.

В этих местах и чем можно думать по моей внешности. Делаю это тем охотнее, что я, как женщина, не могу гневаться на источник твоей ошибки, проистекающей тоже от женщины; и хотя она воспитана в обычаях неблагородных и для меня неприятных, но все-таки она женщина, и, благодаря общности пола, между нами не может не быть хотя бы проблеска благожелательности. Ты путаешься со своей Барбарой, которая, как другие, ей подобные, старается нравиться всем и хочет больше казаться, чем быть; глаза твои привыкли к этому бесстыжему обществу, довольствуются тем, что кажется, а не смотрят на то, что есть, и если видят хотя бы малую красоту, то больше ни на что уже не глядят. Однако тебе, столько читавшему и столько написавшему по истории и столько видевшему в жизни, следовало бы знать, что в женщине, которая живет со всеми и не любит никого, надо искать других украшений, другой прелести, другой повадки, чем в той, которая живет помыслами чистыми и ставит себе одну только цель — нравиться тому, кому она отдана, честно и законно. Если же долгое знакомство с женщинами другого склада, — а мне думается, что ты иначе никогда не жил, — настолько тебя испортило, что их скверные обычаи кажутся тебе хорошими и достойными тех, кто нам равен, ты должен просто помнить, что судить так поспешно — безрассудно, что о вещах надо судить не по поверхности, а по сущности их, что за строгостью и суровостью, видимыми при первом взгляде, во мне может

скрывать столько хорошего, что я заслуживаю похвалы, а не обидного осуждения. Если тебя об этом не предупредили другие, это должна была бы сделать твоя Барбара, имя которой говорит, правда, о жестокости и надменности, но если верить тебе, то она соединяет в себе столько милосердия и преданности, что хватило бы на целый город.

Однако я хочу рассказать тебе о себе откровенно, и если ты поступишь согласно истине и возьмешь свои слова обо мне обратно, я не только прощу тебе обиду, но буду рада каждый год отделять для твоей Барбары часть плодов, обильно произрастающих на моих полях: ведь я не могу доставить тебе большего удовольствия, чем обходиться, как она этого заслуживает, с той, которая для тебя есть радость и сердце твое. Чтобы ты увидал сам, насколько суждение твое было ложно, скажу тебе прежде всего, что одно из моих достоинств состоит как раз в том, за что ты так легкомысленно меня осуждал: отдав любовь свою одному, я всегда думаю только о том, чтобы нравиться ему, а не другим, и держалась, как ты видел, с такой строгостью и суровостью, которую я, конечно, сумела бы смягчить, если бы старалась нравиться всем; не думай, что если я родилась здесь в горах, то мне неизвестно светское обхождение; если бы я знала его недостаточно и не имела бы случая научиться ему у других, я уверена, что ты, как поклонник всех женщин, долго среди них живший, согласился бы и сумел бы меня обучить. Моим желанием всегда было —

прожить с одним, и поэтому, ради любви его, я отбросила всякую суетность, всякое желание нравиться многим; я надеюсь, что он будет меня любить, если увидит во мне благопристойность и добродетель, а кроме того, так как люди по природе своей любят разнообразие и так как здесь, в местах, близких от города, женщины обычно стараются себя прикрашивать, то я сочла, что ему при наездах его сюда может больше понравиться строгая простота и суровость, к которой он не привык, чем милость и прикрашенность, которую он видит каждый день и час. Искусство мое в этом вдвойне велико, ибо, чем больше я могла рассчитывать нравиться ему, тем меньше я могла надеяться понравиться другим; этого я могла только желать, так как не гожусь на то, чтобы каждый день иметь дело с новыми людьми, и нежно люблю того, с кем живу сейчас; зная же, насколько ты больше привык к тем, кто видит кору, а не сердцевину вещей, я забочусь о том, что, если бы ему когда-нибудь захотелось меня удалить, он бы не так легко нашел человека, которому я понравлюсь, и ему по необходимости пришлось бы оставить меня при себе.

Теперь ты видишь, Макиавелли, какой я заслуживаю похвалы и насколько мной надо дорожить как раз по той причине, которая тебе так не нравится; учись в другой раз меньше доверяться самому себе и зрело размышлять о вещах раньше, чем о них судить, ибо многое можно извинить другим, что не простится человеку такого ума и опыта, как ты.

1927, сентябрь. В Финоккието, во время чумы ³¹

Франческо, я знаю тебя как человека мужественного и стойкого, но не удивляюсь, что душа твоя исполнена горечи, так как сразу нагрянуло слишком много событий, замутивших твою жизнь; ты пострадал не только в твоём имуществе, но и в своём величии, достоинстве и чести, а это, конечно, для тебя дороже всего. Несчастье паны ³² лишило тебя наместничества Романы, приносившего тебе опромную выгоду и такой почет, которым гордился бы и великий человек, несравнимый по знатности рождения с частным гражданином; ты лишился паны, который особенно тебя любил, верил тебе еще больше, хотел постоянно видеть тебя при себе и поручать тебе все важные и тайные дела государства; во время войны он облек тебя властью, выше которой не было ни у кого, даже у него. Поэтому мало того, что ты все время был занят делами почетными, доставлявшими тебе наслаждение, но ты приобрел такое имя и такую славу среди всех князей христианского мира, тебя так знают и уважают во всей Италии, что ты, вероятно, не только никогда на это не надеялся, но и мечтать об этом не смел. Высокое положение и знаменитое имя доставили тебе огромное богатство путями законными и достойными, без обиды и ущерба кому бы то ни было, и то, что, я знаю, для тебя особенно дорого: возможность выдать дочерей твоих замуж на своей родине и выбрать для них самых лучших и почетных женихов.

Потери эти, уже сами по себе громадные, становятся еще больше, если вспомнить причину их: ведь все отнято у тебя не естественной смертью папы, не пренятствиями, неожиданно вставшими перед тобой, не простой случайностью, как можно было бы подумать на первый взгляд; всему виной было событие жестокое и горестное, когда этот бедный и жалкий государь так несчастливо попал в плен к испанцам. Во всем этом должна тебя угнетать не только твоя собственная беда, но, вероятно, не меньше несчастье Италии и всего мира; не только твой собственный интерес, но и сострадание к несчастному государю, которому ты так много обязан и за богатство и за величайшие почести, которыми он тебя осыпал, а больше всего за чрезмерную веру его в тебя, почему он столько раз вручал тебе судьбу своей власти, хотя в родстве с ним ты никогда не был, а в несчастные для дома его времена не служил ему и ничего для него не сделал. Во всем этом, помимо огорчения, которое ты испытываешь при виде такого несчастья, тебя, как мне кажется, не мало угнетает воспоминание, что решение начать войну, от которого пошли все несчастья, подсказано и горячо одобрено тобой; поэтому тебя должна волновать мысль, что причиной столь великого бедствия отчасти можно считать тебя; если бы ты лишился одних только выгод, зависящих от папства, ты, думается мне, снес бы это довольно легко, ибо это было что-то случайное, а не твое исконное. Когда же я вижу, что ты

затронут в твоём собственном достоянии, в том, что зависит от отечества твоего, не могу не поверить в беспредельность твоего огорчения; ведь я знаю, что тебя с величайшей несправедливостью обложили таким налогом, что имущества твоего на это нехватит; если же его будут взыскивать, тебе надо или платить и тем самым обеднеть, или отказаться платить, а значит лишиться прав, почестей и преимуществ, может быть, и отечества; помимо других стеснений, тебе трудно хорошо выдать дочерей замуж, что для тебя так важно, потому что те же люди, которые когда-то сами сватались к твоим дочерям, сейчас откажутся, если бы даже предложение исходило от тебя. Знаю, что партии, обладавшие в городе³³, вовсе отстранили тебя от управления, и очень мало надежды, что обида, нанесенная тебе по ошибке или по злобе, может быть скоро заглажена, как думают многие; таким образом, ты из одной крайности, когда у тебя было все — и почести, и громкое имя, и крупнейшее достояние, и всеобщая известность, брошен теперь в другую крайность, в жизнь бездельную, ничтожную, одинокую, без достоинства, без богатства; ты стоишь в городе ниже любого мелкого гражданина, и тебе приходится краснеть от стыда при проезде чужеземцев, видевших тебя в таком величии и узнающих теперь, что ты низведен до столь низкого и несчастного состояния. Не мало значат в этом и враги, которых ты нажил себе во многих городах Италии тем, что исполнял свой долг, верно служил своему господину и оберегал

свою честь; враги эти сильны и могут во многом тебе навредить, особенно если необходимость заставила бы тебя уехать далеко, когда ты уже не можешь ездить с вооруженной стражей, как в былые времена; таким образом, от прежнего величия и власти тебе осталась только опасность, и почти по необходимости сохранился образ жизни, который обходится дороже, чем это полагается по твоему настоящему положению и твоим средствам.

Все эти огорчения, конечно, велики, ибо я знаю, как ты всегда дорожил честью, как ты был бескорыстен и не трогал чужого имущества, как ты всеми средствами заботился о своем добром имени; ибо я знаю, как ты всегда любил родину и как дорога была для тебя добрая слава и расположение горожан; поэтому ни величие твое, ни дела никогда не могли отвлечь тебя от мыслей и поступков гражданина; в одном я уверен твердо: если тебя что-нибудь поражает в самое сердце и терзает тебе душу,— это распространившийся повсюду без малейшего основания и без всякой причины слух, будто ты во время этой войны расхищал общественные деньги, что ты своей властью или по злобе позволял солдатам грабить окрестности, что ты тиран и враг свободы города³⁴. Мнение это проявилось не только на словах, но гораздо больше на деле; когда распределяли налог и намечали двадцать человек, которые должны были его оплатить, тебя поставили вровень с плебеями, с людьми, недостойными никакого уважения, с лихоимцами и расхитителями чужого добра,

с людьми самой худой славы. Все это после того, как за тобой утвердилась слава человека честного, скромного и друга народа, приобретенная в зарубежных областях с такими трудами и опасностями; теперь же на родине твоей, которая всегда была для тебя высшей целью, о тебе говорят как о человеке не честном, не благородном, не умеренном, как о враге общественного блага.

Когда я об этом вспомню, когда подумаю, какую над тобой учинили несправедливость и как плохо признаны твои добрые дела, то, да поможет мне бог во имя любви моей к тебе, я испытываю скорбь, не хочу сказать — равную твоей, но, наверно, такую же, какую я чувствовал бы, если бы со мной самим случилась тяжкая беда; я показал бы это на деле, даже с величайшими стеснениями для себя, если бы я мог хоть чем-нибудь облегчить твои горести. Однако я этого не могу и постараюсь, хотя бы на словах, дать тебе, какое сумею, лекарство или средство, смягчающее боль; я понимаю, что не могу и не умею сказать тебе ничего такого, чего бы ты не знал лучше меня, но я хочу, по крайней мере, со всей охотой исполнить обязанность друга, хотя не смогу и не сумею помочь тебе делом.

Огорчения твои, без сомнения, очень велики, и могущественны причины, заставляющие тебя чувствовать это с такой силой, но если подумать как следует, то не менее сильными будут и доводы ободрения и утешения: говорю о тех доводах, которые легко усваиваются людьми и не чужды нашей обыденной жизни, которая не вы-

НОСИТ СЛИШКОМ СИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ; ЕСЛИ БЫ ТЫ МОГ ПОСЛУШАТЬ СЕЙЧАС БОГОСЛОВОВ И ФИЛОСОФОВ, ОНИ ЛЕГКО ИЗЛЕЧИЛИ БЫ ХУДШИЕ НЕДУГИ, ЧЕМ ТВОИ; СТОИТ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ, В СРАВНЕНИИ С КОТОРОЙ ЭТА ЖИЗНЬ ТОЛЬКО МИГ, И ВСПОМНИТЬ, ЧТО ГОСПОДЬ ЧАСТО ПОСЫЛАЕТ ЛЮДЯМ СТРАДАНИЯ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ НАКАЗЫВАТЬ, А ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДУШИ; КТО ВО ИМЯ ЛЮБВИ ВЫНОСИТ ИХ ТЕРПЕЛИВО, ТОТ МОЖЕТ СЧИТАТЬ СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ, ЧТО БОГ ЕГО ПОСЕТИЛ, ИБО СТРАДАНИЯ ДИВНО ЕМУ ПОМОГАЮТ; ВСПОМНИ ОБ ЭТОМ, И ГОРЕСТИ ТВОИ СТАНУТ РАДОСТЬЮ, КАКОЙ ТЫ НЕ ЗНАЛ В САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ВРЕМЕНА. ЧЕЛОВЕК, РАССУЖДАЮЩИЙ КАК ФИЛОСОФ, ВСПОМНИТ, НАСКОЛЬКО НЕВАЖНЫ ВСЕ ЭТИ БЛАГА ФОРТУНЫ, НА КОТОРЫЕ МУДРЫЙ СМОТРИТ С ВЕЛИЧАЙШИМ ПРЕЗРЕНИЕМ; ТОТ, КТО ЛИШАЕТСЯ ИХ, СБРАСЫВАЕТ СКОРЕЕ БЕСПОЛЕЗНОЕ И МУЧИТЕЛЬНОЕ БРЕМЯ, ЧЕМ ТЕРЯЕТ ДРАГОЦЕННУЮ ВЕЩЬ; СЧАСТЬЕ ЖЕ И ВЫСШЕЕ БЛАГО СОСТОЯТ ТОЛЬКО В ДОБРОДЕТЕЛИ И В ДАРАХ ДУШЕВНЫХ; ЕСЛИ БЫ ТЫ ОБ ЭТОМ ВСПОМНИЛ, ТО ПРИ МЫСЛИ О ТОМ, ЧЕГО ТЫ ЛИШИЛСЯ, ТЕБЕ БЫ ПОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ТЫ НЕ ПОТЕРЯЛ НИЧЕГО, А ТОЛЬКО СТАЛ БОЛЕЕ ЛЕГОК, ОТБРОСИЛ ВСЕ НЕНУЖНОЕ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПРОЙТИ ОСТАТОК СВОЕГО ПУТИ.

Все это подлинныя истины, и если бы души наши были чисты, как должны быть по закону разума, то сила их исцелила бы все наши горести, и мы всегда жили бы в этом мире довольные и счастливые. Я считаю не только достойными хвалы, но дивными и блаженными людей, которых эти созерцания настолько уводят от мира, что они не чувствуют его дел и

не заботятся о них. Однако мне надо искать оправданий для людей, которым хрупкость человеческая не позволяет подняться так высоко и которые в минуту несчастья всегда помнят и чувствуют, что они люди; я хочу, конечно, чтобы ты дошел до совершенства, но признаюсь, что сам я от него далек, а потому, не желая подражать некоторым врагам, которые часто дают больному лекарства, которых сами не стали бы принимать, я буду говорить с тобой языком более низким и более отвечающим природе человека и мира.

Я убежден, что потеря высокого положения, данного тебе церковью, утрата наместничества Романьи и близости к папе не очень тебя огорчили и что на этот счет не приходится особенно тебя утешать. Это, конечно, не значит, что должности эти не имели того значения, о котором я говорил выше, но я не считаю тебя столь неблагоразумным и столь плохим наблюдателем мирских дел, чтобы ты сам не смотрел на них, как на чужую собственность и как на вещи, которые в любую минуту можно было у тебя отнять. Простая перемена папской воли, которая могла произойти благодаря изменчивости его природы, переменам при дворе и многим другим случайным событиям, всегда могла тебя сместить, как бы твое положение ни казалось крепко; в лучшем случае ты терял это место после смерти папы, которая, как тебе было известно, могла наступить каждую минуту. Этому научила тебя уже смерть папы Льва, наступившая в разгаре счастья и побед, когда тебе

казалось, что ты видишь какие-то плоды тяжёлых трудом, понесенных тем летом для него. Если смерть этого папы была неожиданной и безвременной, то ты знал, что то же самое может случиться с другим. Поэтому ты мог, конечно, желать, чтобы жизнь папы и твоё благосостояние, с ним связанное, длились как можно больше, но все же ты знал, что увековечить этого нельзя, что ты можешь легко в любое время потерять это положение и что ты при этом лишаешься не своей естественной собственности, а чего-то случайного и очень внешнего; я глубоко уверен, что тебя мучает и огорчает не это и что если бы ты не лишился еще чего-то другого, то забыл бы об этом через несколько дней и даже через несколько часов. Достоинно, однако, хвалы и приносит великую честь твоей преданности то огорчение, которое ты почувствовал, когда дело папы так плачевно погибло, и, как ты сам мне много раз говорил, в каком бы ты ни был веселом состоянии духа и мысли, стоит тебе только представить себе его заточение, как радость прекращается и переходит в крайнюю печаль, и не оттого, что ты сам пострадал, а от мысли о таком несчастье, которое нельзя видеть без слез. И все же одно это не повергло бы тебя в это великое и непрестанное горе, в котором ты живешь, и ни мне, ни другим не пришлось бы тебя утешать. Ведь в главном это тебя не касается, и огорчение это в конце концов заняло бы в душе свое место, а через несколько недель боль бы улеглась: если огорченность

происходит только от сострадания или от привязанности к страдающему, а не основана на интересе или на такой причине, которая с каждым днем давит на тебя сильнее или острее дает себя чувствовать, она легко пропадает сама собой. Поэтому я повторяю, что скорбь твоя происходит от чего-то другого, а не от потери благ, которые получены тобой от других, вечными быть не могли, и час их утраты мог пробить всегда.

Итак, причина твоей печали заключается в бесчестии и ненависти сограждан, которую ты, как тебе кажется, на себя навлек, а также в том, что ты оказался сейчас в состоянии, несравнимом не то что с твоим положением в прежние годы, а с положением равных тебе в твоём отечестве; ты затронут в том, что было для тебя дорого, как жизнь; в том, что казалось твоим и должно было принадлежать тебе навеки.

Здесь утешение мое будет строиться на том, что, как бы долго ни суждено было длиться обстоятельствам, которые ты называешь несчастьем, с тебя довольно знать, что все эти вины и грехи, приписываемые тебе, ложны, что ты до конца невинен, и совесть твоя чиста, как день. Ведь истина в том, что в этой войне и во всех делах, во главе которых ты стоял, ты был образцом честности во всем, что касалось денег общественных или частных, и про тебя смело можно сказать то, что Фукидид писал о Перикле, который, конечно, в отношении денег был безупречен,—наоборот, никогда еще не было

человека, который бы с такой тщательностью, скупостью и ревностью боролся против ненужных трат, как ты; и тебе надо воздать двойную хвалу — не только потому, что дела, тебе подвластные, были сложны и обширны, но и потому, что никакой узды на тебе не было; средства эти целиком отданы были на твое усмотрение, никогда никто не проверял твоих отчетов, и к тебе, более чем к кому-либо другому, подходят слова апостола Павла: кто мог сделать и не сделал, кто мог преступить и не преступил. Так же далеко от правды обвинение, что ты разрешал грабежи наших владений, в чем ты не виновен ни по умыслу, ни по небрежности; наоборот, ты из сил выбивался, чтобы этого избежать, и действовал с такой горячностью, что навлек на себя ненависть, из-за которой тебе грозило почти неминуемое убийство.

Поэтому несокрушимой основой утешения твоего должно быть чувство чистой совести, чувство полной невинности во всех возводимых на тебя клеветах, возможность бодро сказать самому себе: никогда я не брал чужих денег, никогда я не позволял грабить и, ни перед чем не останавливаясь, всегда предупреждал обиды и насилия, личные или имущественные, которым могли бы подвергнуться не только граждане и подданные моего отечества, но даже иноземцы или посторонние люди. Раз это так, тебя не могут и не должны смущать ложные нарекания и слухи; конечно, напрасны и смешны притязания людей, которые преувеличенно сетуют, что на них зря наговаривают, когда они

невинны; насколько же больше должен страдать тот, кто терпит понапрасну, чем тот, кто терпит за дело. Я признаю, что в известном смысле меньше должен жаловаться тот, кто знает, что свою кару он заслужил и не может думать, что с ним поступлено несправедливо, а, наоборот, зная себя, должен сказать по совести: я заслуживаю это и даже худшее. Что же касается причины наказания, то невинный никакой скорби и огорчения чувствовать не может, виновный же должен испытывать несравненно большие мучения, больше терзаться в глубине своей совести, так как у него нет облегчения от сознания, что он не может жаловаться на свою участь. Вот где укусы, вот где жало, вот где червь, разъедающий внутренности, огонь, не дающий покоя, рождающийся из самого себя: человек должен признать, что все испытываемое им зло идет от него же, от его поступков и дел. Это и есть сизифова работа, никогда не кончающаяся и не знающая отдыха; от нее пребывает в вечной печали, в вечном огне человек, которому безнаказанно отпускается грех; насколько же хуже приходится тому, кто испытывает то и другое, а наказание внешнее и случайное ничтожно в сравнении с мукой вечных укоров и угрызений совести; избавиться от нее нельзя без позора, а чем дальше уходит она в глубину, тем больше терзает, глохнет и жжет.

Итак, раз ты невинен и оговорен напрасно, у тебя для огорчения нет главного и самого важного повода, — лучше сказать, тебе нехватает самой его сущности; нет того, что действительно

трудно поддается утешению, и, если как следует вдуматься в суть дела, остается только то, что, собственно; в утешении не нуждается. Если ты, находясь в поле, попадаешь под ливень, но на тебе шляпа, сапоги и непромокаемый плащ, так что ни одна капля не доходит не только до тела, но даже до белья, ты видишь, вернувшись домой, что промокло только наружное платье; стоит только его снять, и ты сам и прочая одежда остаются в том же виде, точно никакого дождя никогда не было. Я утверждаю, что этими лживыми воплями затронута только внешняя сторона вещей; ты же остаешься тем же, кем был раньше, таким же хорошим, честным и доблестным человеком. На тебя обрушилось несчастье, которое бывало не только с тобой, а столько раз постигало и в древнее и в новое время людей, выдающихся по доблести, благоразумию, доброте и умеренности; таково уже свойство людей редких и замечательных, что их уничтожают эти вихри, а поднимаются они не от чего иного, как от зависти. Примерам нет числа, и они так известны, что указывать их не стоит,— особенно примеры людей, которые жили как святые, оказали отечеству бесконечные услуги и не только стали жертвой этих обвинений и клевет, но лишились имущества, сосланы в изгнание, а иной раз просто казнены неблагодарным народом и отечеством.

Чего же ты жалуешься и скорбишь, если постигшее тебя несчастье случилось не только с тобой, а с бесконечным числом великих и пра-

ведных людей? К тому же до сих пор и несчастье твое совсем легкое; ведь у тебя не отняли имущества, не сослали в изгнание, не приговорили ни к какому тяжкому наказанию, и в конце концов все дело в слухах и молве; ведь несправедливый налог и вымогательство платежей — это не кара, а скорее признаки ненависти и недоброжелательства, возбужденного в людях клеветой. Что же ты жалуешься, если с тобой случилась беда не новая, не неслыханная, а обычно повторяющаяся с бесчисленным числом людей именно в этой форме, только с гораздо большим ущербом? Ведь, если говорить правду, у тебя промокли только сапоги, плащ и шляпа. Помнишь ли ты еще, что родился человеком, так же подвластным ходу мирских дел и ударам судьбы, как и все прочие люди?

Великое и непрерывное счастье, не оставившее тебя до сих пор, не только должно было заставить тебя забыть, что ты подвластен человеческим случайностям, но просто отшибло у тебя память об этом и заставило тебя больше бояться ударов, чем это свойственно другим людям, прожившим мучительную жизнь. Ведь все, вплоть до детей и невежд, знают, что благосостояние не вечно и что судьба изменчива; ты же человек, не чуждый знаний, столько видевший, вершивший такие огромные дела, вдруг удивляешься, что после стольких лет удачи и почета с тобой случилось маленькое несчастье, считаешь это какой-то новостью и не можешь этого перенести. Несчастье твое я называю ма-

леньким по сравнению с тем, что случается обычно; ведь до сих пор еще ничего нет, кроме рассказней толпы и невежд, на которые люди мудрые никогда не обращают ни малейшего внимания. Ты всегда стремился заслужить это имя и постигнуть это искусство, и неужели на проверку окажется, что ум и суждения у тебя иные, чем у мудрецов? Ты не можешь сказать, что не предвидел этой или другой подобной случайности, ибо я, помнится, много раз слышал от тебя в самый разгар твоих успехов, что ты боишься такой удачи, а затем ты начинал рассуждать об обычной изменчивости счастья и о том, что оно никому не бывает верным до конца. Если бы я даже никогда от тебя этого не слышал, я не считая тебя столь простодушным в мирских делах и не могу себе представить, что ты когда-нибудь забудешь эту истину, которую все делавшие и делающие большое дело должны помнить особенно твердо; ведь, когда успехи прекращаются,— а вечными они быть не могут,— сейчас же раскрываются плоды зависти, и вслед этим людям ползет шипение и злословие толпы. Как вообще можешь ты жаловаться? Ведь, раз ты хотел вершить большие дела, ты должен был взяться за них на тех же условиях и с тем же риском, как и множество других людей. Наоборот, ты должен скорее хвалиться тем, что тебе везло в делах дольше, чем это обычно бывает. Ведь вечно счастливы бывают лишь редкие люди, вернее же — никто. Очень немногим счастье было верно дольше, чем тебе, и многое множество людей почувствовали, что судьба пре-

рывает их в самом начале или в первые же годы деятельности. Тебе же до сего дня все удавалось блистательно. Ты до сих пор не испытал, не скажу даже удара, но просто не чувствовал в делах ничего для себя неприятного, и твоя неудача сейчас, по сравнению с обычными несчастиями, с тем, что каждый день бывает с другими, так ничтожна, что тебе надо не плакаться, а благодарить бога, что он не послал тебе большего; ты должен просить его, чтобы все на этом закончилось и чтобы тебя не постиг более сильный удар, а не говорить, что беда слишком тяжела и горька.

Подумай о том, что война, которой ты отдался с таким жаром, кончилась бы победой; если бы успех был тот, как думалось вначале, какова была бы разница между тем, что ты приобрел бы в смысле величия, славы и почести, и тем, что ты сейчас потерял; разница эта покажет тебе, насколько судьба с тобой посчиталась. Если же случилось так, что война оказалась проигранной,— а это ты считал возможным уже с самого начала и начинал все дело, считаясь с этим предположением,— то проигрыш не мог пройти без ущерба для тебя: ты должен скорее благодарить судьбу, что ущерб твой, по милости ее, невелик, а не провозглашать своим несчастьем неудачу войны, которая была ведь не твоей, а войной множества государей; ты же участвовал в ней не как глава, а как орудие; таким образом, и победа и поражение зависели не от твоего счастья или несчастья, а от счастья папы, императора, ко-

роля и, лучше сказать, вообще от судеб мира, которые не считаются в своем течении с частной судьбой подобных тебе людей. Поэтому тебе нечего жаловаться на то, что стало причиной твоего несчастья; наоборот, ты должен скорее признать, что среди разрушения, причиненного не твоей злой судьбой, а несчастьем других, ты пострадал гораздо меньше, чем это было возможно. Посмотри, что случилось с другими и как жесток оказался жребий людей, занимавших при том же властителе такое же положение, как ты, и в той же мере участвовавших в делах и в войне; сознайся, что по сравнению с ними тебе легко, ибо ты жив и невредим, здоров, имущество твое не тронуто, совесть не запятнана и от чести твоей, в сущности, ничего не отнято; конечно, она кажется очерненной во мнении толпы и невежд, а зависти представился случай показать тебе силу своей злобы. Не смущайся, если я говорил вначале, что воспоминание о том, что ты был в числе тех, кто стоял за войну, должно быть для тебя неприятным и не может не мучить твоей совести, так как и ты не без вины, ибо на этом как раз и основаны слова, которые должны быть главным твоим утешением. Ведь, помимо обсуждения вопроса, воевать или нет, когда выяснилось, что король Франции не хочет соблюдать капитуляцию, подписанную с императором в Мадриде³⁵, тебя почти не приглашали на советы; если бы решение воевать можно было даже приписать тебе, и только тебе, и совет оказался бы дурен, тебя могла бы мучить

совесть, когда бы ты дал этот совет по честолюбию или коварству; если же здесь ошибка суждения, которая в подобных делах, сплошь неопределенных и важных, часто случается с людьми более мудрыми и опытными, чем ты, это, разумно говоря, не должно терзать или печалить тебя, потому что в таких обстоятельствах укоры совести могут быть только там, где есть вина воли. Эту заботу с тебя и с других, кто был того же мнения, снимает целиком самая природа дела; кто вдумается в его подробности, тот должен будет признать, что ввиду недостойного отношения к папе и успехов итальянской монархии, к которой стремился еще Цезарь Борджа, папе нельзя было упускать крупный козырь, который представлялся в союзе с королем Франции и венецианцами, в том, что король Англии склонялся в ту же сторону³⁶, и что, с другой стороны, положение имперцев было ненадежно, так как солдат в Италии у них было мало, денег не было вовсе, население герцогства Миланского было к ним люто враждебно. За оружие брались не ради честолюбивых замыслов, а только ради избавления себя от опасности. Кто взвесит все эти доводы, будет вынужден признать, что редкая война была для какого бы то ни было владельца так справедлива и необходима и редко когда могли быть бóльшие надежды на победу. Если за что бранили тогда папу все вообще, и мудрые люди в частности, то только за робость и осторожность, так как казалось, что папа примыкал к решению о войне медленнее,

чем это следовало. Если события пошли иначе, чем думали, за это нельзя винить сторонников войны, так как доводы в пользу ее были настолько сильны, что убеждали всякого мудрого человека; советники князей были бы поставлены в слишком тяжкие условия, если бы они обязаны были приносить в советы не только соображения человеческого ума, но суждения астрологов, предсказания духов или пророчества святых.

Поэтому ты не виноват, если исход дела не отвечал данному тобой совету воевать; наоборот, ты заслуживаешь похвалы, и не малой: всякий, кто был к тебе близок в это время, знает, что ты в меру сил своих способствовал, чтобы последствия не расходились с предпосылками: если бы все, на ком лежало бремя войны, сделали бы на своем месте то же самое, что ты сделал на своем, если бы папа, пустившись в море, следовал бы во время плавания твоим указаниям, возможно, дело кончилось бы иначе.

Итак, на тебе нет вины ни за поданный совет, лишь бы он был разумен, ни за исход, если ты сделал все, что было в твоих силах; поэтому, раз ты считаешь себя со всех сторон невинным и свободным от ошибок, тебе, разумно говоря, не о чем горевать. Кроме того, можешь быть уверен, что дурная молва, пущенная о твоей корысти и о солдатских грабежах, скоро рассеется, истина станет известной, и с тобой произойдет то же, что с другими, на кого возводили такие же напрасные обвинения. Именно время само, без всякой иной помощи, их раз-

рушило и унесло; в твоём же деле в этих обвинениях не было ни красок, ни оснований, ни какого-либо правдоподобия.

Обвинения часто бывают ложными, а все же в них есть иногда такие указания и совпадения, такие видимости правды, что им справедливо верят даже мудрые люди, и, чтобы очиститься от них, требуются оправдания и некоторое время. В твоём деле ничего этого нет: обвинения похожи одно на другое, убоги, голы и бесцветны; ведь кто же не знает, как мало правдоподобно, что ты мог бы согласиться на разграбление нашей страны и захотел бы без всякой нужды навлечь на себя ненависть и позор! Что касается денег, истраченных в эту войну, то ясно по книгам и известно из тысячи других источников, что они через твои руки не проходили, даже если бы ты поручал их расходовать. Надо ещё спросить других, истрачены деньги или нет; люди, распорядившиеся деньгами, живы, они были уполномочены папой, и отчет, который они должны дать, не принесет тебе ни бесчестия, ни хвалы. Ты видишь, как бледно это обвинение, и неужели ты сомневаешься, что оно быстро исчезнет само собой? Кроме того, ведь не исчезла же в людях давняя память о твоём бескорыстии; если это свойство твоё стало известно и особенно прославлено в чужих краях, то и в нашем городе бесчестящий тебя слух только пронёсся и сейчас уже несколько заглох; чем больше обвинение будет стираться, тем сильнее будет оживать память о тебе, и правда с ее помощью тем легче уничтожит

нарекания, что они бесцветны и никакой опоры не имеют. Я совершенно уверен, что людей, высказывавших это обвинение, было больше, чем людей ему поверивших. Ведь наши граждане не привыкли терпеть ущерб, и многие высказывали эти упреки сгоряча, под свежим впечатлением солдатского грабительства; другие, которым не на что было жаловаться, распускали позорящие тебя слухи из зависти, и толпа охотно им верила. Но они исчезнут с той же легкостью, как возникли. Люди осторожные, не ослепленные страстью, этому не верили, и произошло то же, что было бы с плащом, о котором я говорил выше,—именно, видя, как тебя прохватил дождь, человек, стоящий далеко, легко бы поверил, что ты запачкан не водой, а чем-то другим, и только близко стоящий знал бы, в чем дело; однако через несколько дней и для далекого и для близкого стало бы ясно, что ни одного пятна не осталось и что это была только вода. Так и толпа, которая смотрит издалека, услышала от кого-то, что это масло, а не вода, и поверила; мудрые же, рассматривающие все вблизи, не верили, а когда дело остынет, всякий увидит, что это была вода и что плащ так же чист, как всегда. Я охотно распространился, доказывая тебе, что от этой гнусности ничего не останется, хотя тебе и не следовало бы обращать на нее внимание, если совесть твоя чиста; однако человеку, дорожающему своей честью, трудно помириться с тем, что она замарана даже во мнении невежд.

Не хочу с такой же пространностью доказывать, что недоверие к тебе народа, вызванное молвой о твоей преданности Медичи³⁷, также пройдет и что придет время,— может быть, скорее, чем ты думаешь,— когда доброе мнение и расположение к тебе восстановятся. Этот способ утешать тебя, даже если он подействует, кажется мне чересчур женским; если тебе не сделают много зла и только не дадут тебе хода по этой причине, я считаю, что ты должен вынести это без малейшего огорчения, если только в тебе есть то величие души, мужество и другие черты, в которых я не сомневаюсь. Я твердо верю, что если город наш будет жить и не задохнется в буре, бушующей сейчас, то пройдет немного времени, и ты не только будешь во всем восстановлен, но люди поймут, как много они потеряли, что не воспользовались в столь необычные времена твоими талантами и опытноcтью, о которой при нашей бедности в людях нельзя было не знать. Кроме того, образ жизни твоей, конечно, будет таков, что люди, вспомнив к тому же твое прошлое, легко поверят, что душа твоя не чуждается свободного строя, что тебе нравятся те правительства, которые для города выгоднее и полезнее, и что ты во всяком случае никогда не можешь одобрять или подстрекать тех, кто стремится к переворотам³⁸. Верю в это, но оставляю в стороне и ничего не хочу на этом строить. Я уже сказал, что, по-моему, ты должен быть доволен и так, и, наконец, ты прочел столько книг, так знаешь историю, был при-

частен к таким огромным делам, что это тебя научило, утвердило и умиротворило твой дух, и цель твоей жизни состоит в том, чтобы творить себе законы и правила сообразно истине и разуму вещей, а не пустым мнениям людей.

Знаю, что многие люди восхваляют праздность и спокойствие и доказывают это в самых высокопарных выражениях. На деле же лишь очень немногие, имея возможность участвовать в делах с честью и пользой, предпочитают этому покой. Наоборот, мы видим каждый день, что люди, удалившиеся в уединенную и спокойную жизнь, все почти недовольны, что бросили дела и честолюбивые замыслы, и как только заиграет перед ними хотя бы луч надежды на величие, они бросаются вперед и, не стесняясь, расстаются с прославленным покоем. Отсюда необходимо заключить, что такие люди обратились к спокойной жизни не из любви к богу, не от разочарования в делах и судьбах мира, не по истинному и твердому выбору, а по необходимости, гневу или безумию. И все же я повторяю, что, по-моему, ты должен быть доволен этой жизнью, и если не предпочитать ее, то, по крайней мере, не горевать, что ты ушел от жизни, которая должна казаться тебе несчастием или бедствием. Я считаю, что надо не осуждать, а скорее поощрять честолюбие тех, кто никогда не был у дел и хочет получить к ним доступ, чтобы показать свой ум, талант и дарования, природные или приобретенные случайно, ибо таким людям кажется, что если они этого не сделают, то проживут свою

жизнь как существа бесполезные, не нужные ни для блага других, ни для самих себя. Ты же не можешь поддаться такому искушению, ибо тебе предоставлено было все, и ты с величайшим успехом показал свою силу в самых крупных делах и на поприще столь видном, что оно могло быть доступно лишь человеку, рожденному в том же состоянии, как ты, и посвятившему себя тому же роду занятий. Поэтому, если ты хотел, чтобы люди знали о твоей неподкупности, о том, что ни деньги, ни дружеские связи, ни просьбы, ни уважение к сильным мира не могли сбить тебя с прямого и честного пути, то ты выдержал в этом смысле такие всенародные испытания, что большего желать не можешь. Если для тебя важна известность твоя, как человека мужественного и храброго, сохраняющего присутствие духа в трудные минуты и в великих опасностях, то история войн и осад, в которых ты участвовал, слишком ясно это показала. Спроси всюду, где ты был, спроси у жителей областей, которыми ты управлял, спроси у войск, среди которых так велико было твое влияние,— все признают, что ты человек настоящего ума, решительный в суждениях на совете, изобретательный в выборе средств и быстрый в исполнении. Если они даже сумеют отдать себе отчет в твоих недостатках (ибо никто не рождается совершенным), то тебя будут прославлять в главном и существенном; все это, правда, происходило далеко от родины, но молва разносилась, и так как дела церкви всегда соприкасались с нашим городом, а ин-

тересы бывали общими, то мнение, создавшееся о тебе за пределами страны, во всей своей целостности дошло до нас. С этой стороны тебе незачем стремиться к делам,— скорее надо от них отстраниться, чтобы уйти от волн и бурь, пристать в гавани и спасти корабль свой, который везет груз славы и восхвалений, редких среди людей.

Желание работать заслуживает величайшей похвалы по другой причине: когда человек, знающий свои качества, убежден, что, по условиям времени или по другим обстоятельствам, может быть полезен отечеству и другим, и хочет принести эту пользу, побуждаемый к тому своей природой. Не думаю, чтобы это тебя волновало, ибо, если ты даже более высокого мнения о себе, чем о другом, то знаешь, что, по строю жизни во Флоренции, один гражданин большого значения в ней иметь не может; наконец, если бы это было возможно, ты достаточно отдал дань побуждающему тебя чувству тем, что хотел и готов был работать, когда представится случай или когда отечество тебя призовет; не может быть страдания от того, что ты не сделал этого добра, если благодетельствовать было некому, потому что или не верили в твои способности или не хотели твоих услуг.

Человек может стремиться к участию в делах и по другой причине, не столь похвальной, как те, о которых я говорил, но все же не заслуживающей осуждения — именно из желания почета, не скажу доброго имени и славы, о чем речь

шла выше, а просто чтобы не прожить жизнь, не побывав на высоких должностях; в это искушение ты впасть не можешь, потому что ты еще в молодости занимал столько должностей, и притом таких высоких, что, кажется, за сотни лет не было в нашем отечестве гражданина, которого отличали бы больше, чем тебя. Другие стремятся к делам ради выгоды; помимо того, что эта цель изменная, не думаю, чтобы это тебя тревожило, ибо если бог тебя сохранит, то богатств на тебя еще хватит; помнится, я много раз от тебя слышал, что целью твоих трудов и забот было не богатство, ибо ты знаешь, что, сколько бы ты ни накопил, во Флоренции всегда будет много граждан, которые без талантов и редких качеств окажутся гораздо богаче тебя; ты же больше стремился идти путем чести, а в этом ты мог надеяться на то, что спутников у тебя будет меньше, а для присоединения к тебе доблести потребуются больше.

Есть люди другого склада, которые желают участвовать в делах не столько ради выгод и успехов, сколько потому, что их радует и питает сама работа; ты, может быть, не чужд этим людям, и мне всегда казалось, что тебя привлекает цель сама по себе, что ты склонен к этому от природы; не удивительно и нечего горевать, если природа сообщает людям склонность к делу, для которого она их создала; наоборот, было бы для тебя обидой, если бы природа сделала тебя неспособным к тому, чего ты так жаждал.

Здесь я тебе скажу, что дела того рода, о которых мы говорим, т. е. политика и управление, таят в себе столько тягот, огорчений и опасностей, что человек, не видящий в них другой цели, кроме удовлетворения своей склонности к работе, испытает несравненно больше тревожений, чем удовлетворенности, и во всяком случае разница не такова, чтобы ему надо было особенно тосковать, если судьба его от них избавит. Подумай как следует, и ты увидишь настоящую правду, именно: тот, кто не находит в делах других целей, из-за которых ими обычно дорожат, а видит в них только радость труда, поймет, насколько эта цель проста, бедна и скудна, и не станет особенно печалиться, если он ее не достигнет.

Остается последняя цель, которая для высоких душ и благородных умов заманчивее всех других: это — настоящее честолюбие, т. е. требование уважения и почета от людей, стремление к немеркнущей славе, к тому, чтобы на тебя как бы указывали рукой; так, рассказывают про Демосфена, что он, идя по улице, радовался, когда слышал, как старушка, возвращавшаяся от источника, куда она ходила за водой, тихо сказала своей соседке: «Вот Демосфен». Действительно, руководить государственными делами и стоять высоко — значит в известном смысле заставить других тебе поклоняться, и, может быть, такое стремление простительно: поклонение людей нельзя назвать иначе, как чем-то прекрасным, и ни в чем другом не можем мы угодить богу; тем не менее я считал бы

неправильным, чтобы тобою владела эта мысль, потому что, если ты подумаешь о том, сколько в такой жизни тревог, мучений, недоверия и опасности, и о том, сколько легкости, отдыха, безопасности и удовольствия душевного есть в жизни праздной и спокойной, тебе покажется, что она намного предпочтительнее другой, и во всяком случае разница не настолько велика, чтобы отказываться безмятежно жить так, как указывает тебе жребий. Люди необразованные и неопытные не обладают взглядом, способным проникнуть внутрь; они берут только внешнюю сторону вещей, и поэтому они дают ослепить себя блеском этого величия; ты же, видавший столько раз изнанку вещей и знающий, что такое мир, ты, имевший возможность познать по книгам и по опыту изменчивость счастья, ты, убедившийся, что все благо величия в том, что является снаружи, а под этим покровом все исполнено опасностей, гнева, горя и душевной тревоги,—тебя не могут волновать суетные силы, волнующие других людей, а лишь доводы истинные, крепкие, основанные на сути вещей.

Помню, как я много раз слышал от тебя в те времена, которые ты называл счастливыми, что ты, как и другие люди, хотел для себя чести и пользы и что, благодаря милости божией и счастьем, многое удалось тебе даже сверх ожиданий; однако ты иногда не находил в этом той удовлетворенности, которую вообразил себе вначале; ты говорил обычно, что для того, кто вдумается как следует, такого довода должно

быть достаточно, чтобы избавить людей от этой жажды; поэтому, если такой жизни, а это величайшая истина, радуются не те, о ком то думают невежды, зачем же стремиться к ней с такой силой?

Я готов признать, ибо это общий вкус людей, что прекрасно быть знаменитым и обращать на себя внимание, знать, что все считают с твоими словами и мнениями, и быть вообще в числе тех, кто пользуется властью в своем отечестве; однако, кто подумает как следует, поймет, что не хуже, когда человек живет свободным от алчности, зависит от себя, а не от человеческих мнений, проводит время по-своему, отдыхает, как хочет; живет, никого не обижая и никому не делая зла, не подвержен или по крайней мере гораздо меньше других подвержен колебаниям счастья, не досадует на успехи других, пользуется, как хочет, городом и деревней, чувствует, что душа его свободна и довольна; ничего этого нет у тех, кто волнуется жизнью честолюбивой. Если почет или, лучше сказать, поклонение создают сходство с богом, то не менее подобен ему тот, кто поставлен так, что может жить в безопасности и покое и в удовлетворении этим спокойствием презирать легкомыслие, пустые огорчения и волнения людей. Ты мог бы, конечно, не соглашаться с моими словами и мнениями, если бы я рисовал тебе презренное состояние частного человека, жизнь которого никому неизвестна; хотя это состояние при ясной совести и спокойствии духа должно было бы удовле-

творять человека чистой души, однако я не чувствую в себе такого совершенства и не требую его от тебя; я говорю только, что случай твой совсем иной, потому что крупные дела, которыми ты распоряжался в прошлом, приобретенная тобой знаменитость, мнение о твоих высоких качествах, которые я не буду перечислять, чтобы не показаться льстецом, все это создает тебе жизнь, хотя и оторванную от дел, но совсем не безвестную. Наконец, тебя окружают родные, пользующиеся почетом, так что ты всегда будешь живым в памяти людей, и с тобой всегда будут считаться; таким образом, не будет для тебя трудностей ни в устройстве дочерей, ни в других делах, о которых мы говорили раньше; жизнь твою не назовут просто праздностью, но, имея в виду твое прошлое, образование, знание вещей, умение распределять и приспособлять свое время, ее назовут скорее праздностью достойной; такая жизнь, по суждению древних писателей, столь же желанная, как и жизнь среди дел, безопасная, но издавна предпочитаемая жизни деловой, связанной с опасностями,—такова была жизнь, которой ты жил до сих пор.

Итак, ты будешь жить праздно, но с достоинством, обеспеченным тебе памятью о прошлом, известностью твоего имени, приобретенной долгими и опасными трудами, мнением, которое сложится о тебе; в конце концов ты будешь коротать время то в городе, то в деревне, то в одиночестве, то в общении с людьми, и оно всегда будет занято мыслями, делами и воспо-

минаниями, достойными тебя и твоей прошлой жизни. Или я обманываюсь, или состояние твое будет желанным, потому что оно будет спокойным, безопасным и почетным.

Примениться к этому как следует будет не менее похвально, чем жить среди дел, как это было раньше; наоборот, мне кажется, что для славы твоей хорошо, после того, как ты проявил себя в трудах и завоевал себе известность в этой жизни, проявить себя в праздности и показать, что ты можешь и умеешь так же хорошо устроиться в неделании, как и в деле.

Некоторые мудрецы говорят, что жизнь наша похожа на комедию, в которой для похвалы актерам важно не то, какую роль каждый играет, а то, чтобы каждый свою роль играл хорошо; всякий должен играть роль, которая ему дана, знать все, что для нее существенно и как ее играть.

Роль, которую мы играем в мире, дана нам судьбой; хвалят же нас за то, как мы живем в условиях, которые она нам создала, и если в комедиях надо хвалить того, кто хорошо изображает одно какое-нибудь лицо, насколько же больше будут хвалить актера, хорошо изображающего двух лиц самого различного склада! Таким образом, если ты подумаешь как следует, то переход от дел к праздности не отнимет у тебя славы, а, наоборот, удвоит ее, если ты сумеешь праздность свою хорошо применить; редкая слава твоя дана тебе ролью, которую ты играл до сих пор, но она станет еще больше в глазах всякого, кто будет знать, что ты пре-

восходно сыграл не одну роль, а две. Разве ты не читал о Сципионе Африканском, который удалился в изгнание, чтобы не видеть своей неблагодарной родины и был в таком почете у всех, что даже разбойники пришли к нему на поклон? Праздность не угашает памяти о доблести и делах прошлых, не омрачает славы, приобретенной людьми. Разве ты не знаешь, что Диоклетиан, отказавшись от престола, нашел такую удовлетворенность в своем саду и земледельческой жизни, что на призывы вернуться к власти отвечал отказом, считая ту жизнь жалкой и несчастной по сравнению с покоем, которым он наслаждался? Книги переполнены восхвалениями покоя и честной праздности; но я прославляю не ту праздность, когда можно ничего не делать, а то состояние, когда человек не связан ни честолюбием, ни политикой: заниматься, когда хочешь, книгами или земледелием, приятно беседовать и рассуждать с друзьями — не значит вовсе чуждаться гражданской жизни, а значит жить в ней свободно, безопасно и достойно. Жизнь эта, конечно, предпочтительнее царской, но я не стану восхвалять ее теми великолепными словами, которыми переполнены книги, так как напрасно было бы убеждать тебя словами, если она не нравится тебе по последствиям и если ты за эти несколько недель ее еще не оценил.

По моему суждению, ты или должен считать себя счастливым, что тебе представился случай жить таким образом, а если дух твой не настолько очистился, то прежняя жизнь во

всяком случае не должна казаться тебе настолько лучше настоящей, чтобы ты сейчас чувствовал себя недовольным: ведь обыкновенно все в мире с какой-нибудь стороны несовершенно, и нет такой жизни, в которой не было бы важного изъяна, но та жизнь лучше, в которой этих изъянов меньше, или они не так важны. Если взглянешь правильно, — увидишь, что твоя жизнь именно такова, ибо, кроме внешнего блеска, еще более суетного, чем все другое, я не вижу такой важной вещи, которой бы тебе нехватало; знаю, что тебе нехватает многого в деятельности, которая была у тебя действительно, а не только по видимости: напротив, по-моему, тебе скорее это кажется, а в действительности это вовсе не так. Подумай о состоянии, в котором ты родился, и о том, что ты считал бы величайшим счастьем достигнуть половины того, чего достиг вообще; ты добился гораздо большего, чем когда-нибудь думал, и скажи, можешь ли ты считать себя несчастным и не заслуживаешь ли ты за это названия неблагодарного. Если бы все почести, оказанные тебе в течение десяти или двенадцати лет, растянулись на всю твою жизнь, нельзя было бы сказать, что ты прожил, не зная великого почета и счастья; теперь скажи: счастье или несчастье, что ты получил все это скорее и что почести нагромождались одна на другую? Ты скажешь и не можешь не сказать, что это высшее счастье, и состоит оно не в том, конечно, что все быстро закончилось, а в том, что все шло скоро и не

запаздывало; ты похож на человека, которому дали целый день, чтобы сделать работу, а он стал бы жаловаться, что кончил ее в середине дня и что остальное время у него пропадает; таков был бы и купец, который скорбел бы о том, что думал нажить в тридцать лет тридцать тысяч дукатов, а счастье помогло ему нажить их в десять. Поэтому я считаю, что напрасные клеветы не должны тебя терзать, так как ты чувствуешь себя невинным, и потому у тебя нет главной причины для страданий; ты знаешь, что все это скоро пройдет, и останется то мнение о твоём бескорыстии и доблести, которого ты заслуживаешь по своим делам. Не должно тебя печалить и то, что ты советовал вести войну, которая не удалась; помимо того, что она была решена королем без твоего совета, ошибка эта, если она действительно есть,—это ошибка суждения, а не воли; однако совет твой по стечению обстоятельств был хорош, а за последствия советник не отвечает; главное же в том, что ты со своей стороны сделал столько, что если бы другие вели себя так же, все обстояло бы не так, как сейчас. Не мучайся потерей благ, доставшихся тебе от церкви, ибо это была собственность чужая, и ты знал, что можешь лишиться ее каждый день; наоборот, ты должен быть доволен и считать выигрышем, что милости эти продолжались гораздо дольше, чем можно было разумно надеяться вначале. Пусть не кажется тебе несчастьем отстранение твое от дел правления во Флоренции; если бы это продлилось

даже навсегда, что невероятно, ты, проживший долго и видевший много удач, знаешь, что во всем этом нет удовлетворенности души, как думают многие. Имущества у тебя есть настолько, что, если бог тебе его сохранит, ты можешь жить пристойно, согласно обычаям твоего отечества, и в этом ты приобрел себе то, что всего дороже — доброе имя, добрую славу бескорыстия и доблести и славную память о себе. Не следует особенно стремиться к почету и пребыванию в числе правящих, ибо слишком много в этом тягот и опасностей, и надо куда больше ценить отдых и душевную уверенность, которая заключается в спокойствии и честной праздности; твоя же праздность, когда тебя сопровождают книги, знания, известность, созданная добрым мнением о тебе и памятью о твоих делах, будет именно праздностью достойной. Благодаря этому, благодаря твоим родным и высокому положению в отечестве, жизнь твоя не будет жалкой и безвестной, не пройдет в забвении или пренебрежении; в ней не будет деятельности, но будут свет, знания, живая память о людях; она не отторгнута от гражданской жизни, а только не связана делами, если такое существование тебе не понравится, ты, по моему, будешь похож на человека, освобожденного от рабства и вздыхающего о прошлом, а источник таких вздохов не разум, а привычка служить. Доводов этих как будто достаточно, притом все они во вкусе современных, хрупких людей; поэтому я не напоминаю тебе о философах, которые совсем не дорожат этими дарами

фортуны, ибо получены они извне, слишком подвержены всяким колебаниям, и, наконец, если бы они даже оказались непреходящими, в них нет покоя и тишины душевной, т. е. главного плода счастья; забывается христианский закон, напоминающий нам о смерти, о том, что эта жизнь в сравнении с будущей только мгновение, что наше счастье или несчастье зависит от того, как воздается нам по делам нашим, что тревожения мира часто желанны, ибо для сильных духом это признаки посещения божьего и путь к вечному блаженству.

Итак, будешь ли ты рассуждать как христианин, как философ или как светский человек, ты найдешь, что такая жизнь более желанна или во всяком случае не настолько хуже, чтобы из-за этого стоило роптать. Наконец, помимо того, что она достойна, честь и слава твои состоят еще в том, что ты примером нас убеждаешь и исправляешь, и не только тот, кто родился вчера и ничего в мире не испытал, но всякий должен познать тебя как человека высокой доблести, высокого духа и опыта.

Членам балли и коллегии восьми ³⁹

12 декабря 1529 года в Болонье

Брат мой Якопо ⁴⁰ сообщил мне, что ваши светлости потребовали от меня ответа на обвинение, состоящее в том, будто бы я вместе с Алессандро Антинори и Джованни Мариа Бенинтенди злоумышлял против государства; ввиду того, что обвинение это само по себе ложно и

является очевидной клеветой, мне представляется ненужным утомлять ваши светлости своими оправданиями, но я считаю необходимым защититься, на случай, если бы обо мне в каком-нибудь другом смысле составилось неверное мнение. Скажу поэтому со всей возможной краткостью, что со времени государственного переворота я никогда не удивлялся и не жаловался на то, что мне выказывают недоверие, хотя душа моя перед отечеством совершенно чиста; имея в виду мою службу папе Льву и впоследствии Клименту, я понял, что не следует мне удивляться вещам, которые почти неизбежно свойственны государственным переворотам по самой природе их. Однако я скажу вашим светлостям, что всякий, кто посмотрит на дела мои, совершенные в то время, может быть обо мне только хорошего мнения; в возвращении Медичи в 1512 году я никакого участия не принимал; наоборот, будучи тогда послом в Испании, я верно служил свободе, точно выполняя все, что мне поручалось; пока Медичи были во главе государства, я жил почти всегда далеко от Флоренции, занимая должности, которые по природе своей не затрагивали других граждан и от города не зависели. Поэтому я могу по всей правде сказать, что во времена Медичи я делами нашего города не занимался, мне никогда не приходилось налагать на кого-нибудь несправедливые налоги, раздавать или отнимать должности и вообще участвовать в каких бы то ни было делах, навлекших ненависть на тех, кто был тогда у власти.

Взгляните на другие мои поступки того времени: я никогда не пользовался средствами города, никогда не был должен казне, платил в течение сорока пяти дней налоги на покупаемое имущество, никогда не пользовался особыми преимуществами, никому не причинял никакого ущерба и, приезжая во Флоренцию, жил всегда так же скромно, как и любой средний гражданин; по таким вещам можно знать, кто враг свободы. Ведь если человек обладает разумом, привык жить гражданской жизнью, никогда не пользовался милостью властей, чтобы присвоить себе общественное или частное добро, нельзя и не следует думать, что он предпочитает быть рабом других, а не жить свободно; если во времена переворота меня оклеветали, будто у меня на руках осталась большая сумма военных денег, я считаю ненужным оправдываться: счета были просмотрены первыми ревизорами, людьми, известными каждому своей честностью и высокими качествами; затем они перешли к их преемникам, и каждому, думается мне, должно быть ясно, что раз они меня не преследуют, значит я не должник. Не буду оправдываться и в упреках за грабежи, учиненные в стране солдатами Лиги при проходе ландскнехтов; помимо того, что это исконнейший обычай всех солдат, всякий, я думаю, знает, что войска эти принадлежали различным государям, что большая часть их совсем не оплачивалась или плохо оплачивалась французами и венецианцами и что у меня не было власти их усмирять; наконец, я сделал для этого все, что мог, с

опасностью для собственной жизни, как это известно всему войску; тогда было решено, что принять это подкрепление все же меньшее зло, чем оставить город в опасности и бросить всю страну на произвол неприятеля. Если во времена Медичи я не сделал ничего оправдывающего дурное мнение обо мне, то мне кажется, что после этого мне не может быть сделано, по справедливости, никаких упреков,—ведь я не захотел вернуться на службу папы после освобождения его из тюрьмы и сам отказался от наместничества Романьи, считаясь с нашим городом больше, чем с папой; более того — все это время я жил так, что дела и поведение мое не могли возбудить ни малейшего недоверия: я приобрел имущества больше чем на четыре тысячи дукатов, а это как раз обратное тому, что сделал бы человек, затевающий недоброе против государства; я жил большей частью в своей вилле; приезжая во Флоренцию, я часто бывал в Совете; я никогда не вел бесед, никогда не сказал ни одного слова, не сделал ни одного движения, которые могли бы бросить на меня тень; надеясь, что со временем невинность моя и правда станут известны, я терпеливо сносил все притеснения вроде непосильных налогов и требования уплаты денег. Меня прикрепили к банку⁴¹, и хотя это было для меня совсем непосильное бремя, так как я не торговец и торгового кредита не имею, но, желая показать свою преданность, я представил две тысячи пятьсот дукатов, занятых для меня Сальвиати и Франческо Бандини; я готовился пре-

доставить и остальные деньги, но налетевшая ужасная буря заставила меня уехать, и я не мог из-за этого ни гроша получить в кредит. Пусть ваши светлости поверят, что причиной этого отъезда был только страх; я не говорю о страхе перед неприятельским войском, хотя благодаря присутствию в нем графа Сан Секондо и многих других, всенародно угрожавших мне еще в Риме, я мог бояться за себя больше, чем кто-нибудь другой; я говорю о страхе, вызванном нашими внутренними делами, ибо угрозы с разных сторон, неуверенность, что в случае приближения войск я не буду схвачен по приказу властей, мысль о страшной опасности, которой подозреваемый человек подвергается в городе, где все так неспокойно,— все это после известия о взятии Арццо привело меня к решению, ради собственной безопасности, не возвращаться во Флоренцию. Я мог бы, вероятно, защититься от кар, угрожающих всем, кто не вернется, как бунтовщикам⁴², так как мне говорили, что они имеют в виду только тех, кто уехал из Флоренции после 19 сентября, а я уехал гораздо раньше, но я все же предпочитаю надеяться на доброту и снисходительность ваших светлостей; прошу принять во внимание, насколько страх и особенно страх личной опасности лишает людей власти над собой; я уехал не потому, что хотел ослушаться, не из презрения к властям, не потому, чтобы у меня были какие-нибудь дурные замыслы, и отъезд мой надо назвать скорее отсутствием, чем неповиновением, так как о поступках людей надо

судить больше по намерениям, чем по последствиям. Если это даже неповиновение, оно произошло не от злой воли, а от страха, и хотя бы это был страх чрезмерный или излишний, но иной причины, кроме страха, не было, и названия злого умысла он не заслуживает.

Не думаю, чтобы меня можно было справедливо упрекать за то, что я сейчас нахожусь здесь; да будет известно вашим светостям, что я уехал из Флоренции с твердым решением не появляться там, где мог бы быть папа, и я направился в Казентино с намерением остаться там, так как считал себя в этом месте в безопасности; однако неприятель овладел Вальдарно, и было более чем возможно, что он двинет войска на Казентино⁴³, как впоследствии случилось, а потому мне в течение восьми дней пришлось уезжать; желая остановиться в месте, не вызывающем подозрений, я удалился во владения графа Солиано, где пробыл двадцать два дня, и не уехал бы оттуда, если бы папа, вопреки всем ожиданиям, не проехал в Болонью. Он ехал через Римини, около которого я жил в восьми милях расстояния, и дабы иное поведение не показалось признанием многих обвинений, будто я во время войны дурно служил папе, я счел себя обязанным честью своей проехать туда, решив сейчас же уехать после того, как найду возможности с ним говорить. До разговора с папой я посетил в Римини послов нашего города; они убеждали меня рассказать папе о делах нашего города, и я исполнил это в Римини, а на следующий день в Чезене⁴⁴, со всей убедительностью,

на которую я был способен. Таким образом, папа решил принять во внимание некоторые особые обстоятельства, чего он до тех пор не делал; послы сочли это важным и решились послать к нашим великодушным синьорам Франческо Нази. На следующий день я говорил им в Форли, куда мне пришлось поехать для последнего разговора с папой, что я не хочу больше следовать за курией, а собираюсь отправиться в Анкону, но все они вчетвером просили меня приехать в Болонью и дождаться возвращения Франческо Нази, чтобы я мог быть полезным на коллегии; отказать им в этом я считал бы немалой ошибкой. Что это так, могут удостоверить Андреоло Никколини и Пьер Франческо Портинари, а если захотеть вдуматься, можно убедиться в этом по самому положению дел; война шла тогда для нашего города удачнее, чем когда-либо, так как страх перед неприятелем сильно ослабел, а папа, не встречавшийся еще с послом, был в нерешительности, тем более что турки стояли под Веной; таким образом, я легко мог убедиться, что, если бы просьбы послов не заставили меня проехать сюда, для меня было бы лучше запереться где-нибудь в стороне. Очувшись в Болонье, я после перерыва переговоров, вследствие возвращения Франческо Нази, охотно бы уехал, чтобы избежать всяких упреков, но меня удержали две вещи: никто никогда бы не поверил, что император останется здесь так долго; папа же после отъезда его, конечно, должен был возвратиться в Рим, и в этом случае я

намерен был остаться здесь; кроме того, мне всюду грозили опасности, так как я не мог уехать отсюда, не попадая или во владения герцога феррарского или в Ломбардию, а и там и тут у меня было в прошлом много неприятных дел, и я нажил себе много сильных врагов. Когда я думал сейчас о положении, в котором я оказался, мне кажется, что если мне раньше завидовали, то сейчас должны сочувствовать больше, чем кому бы то ни было из равных мне людей. В такие трудные для нашего города времена мне не только не пришлось показать ему свою преданность, чего я больше всего желал, но страх вынудил меня уехать. Однако этого мало, и мне грозит не только потеря того малого имущества, которое я приобрел ценой бесконечных трудов и опасностей, но, что для меня большее горе, потеря отечества, которое я всегда уважал и любил больше всего; в довершение всех бед у меня много сильных и могущественных врагов, и в Италии почти нет места, где бы я мог жить без явной опасности.

Таковы причины, заставившие меня остаться в Болонье; как это могут удостоверить многочисленные флорентийцы, находящиеся здесь по разным причинам, я не только не захотел вернуться на службу папы, но вообще не занимаюсь никакими делами. Можно скорее сказать, что я живу в Болонье, а не при дворе папы, так как проходит иной раз шесть или восемь дней раньше, чем я его увижу. Ввиду того, что вы меня вызываете⁴⁵, я, чтобы быть ближе

и лучше знать дела нашего города, которых здесь не знают, и чтобы отважиться предстать перед судом, решил перебраться в Лукку и сообщил об этом брату моему Якопо. Однако все дороги туда оказались отрезанными, и поэтому, не ведая более, по причинам, о которых ваши светлости узнают от моего брата, какое место будет для меня подходящим, и также беспокоясь о последствиях, я решил в настоящее время отправиться куда-нибудь в Романью и уехать отсюда в какую-нибудь местность комиссариата Кастрокаро, если только ваши светлости согласитесь на безопасное мое пребывание там до конца этого похода, о чем прошу вас, насколько могу. Когда все кончится, я не только сюда не вернусь, но готов остаться там, где будет угодно вашим светлостям, а если получится ваше приказание, я, может быть, решусь сам явиться на суд. Если же из страха допроса,— понаду ли я за это под кары, объявленные в приказе о бунтовщиках или нет,— я не решусь подвергнуть свою жизнь опасности, то я верю в милость господ, знающего невинность мою во всем, что когда бы то ни было касалось государственных дел, в разум ваших светлостей и тех, кто будет судьей этого спора. Облеченные высшею властью и не связанные никакими законами и статутами города, они, надеюсь, не захотят судить меня заочно, когда отсутствие мое вызвано причинами справедливыми или по меньшей мере извинительными, и не станут основываться на клеветах и неопределенных мнениях, которые каждому

вольно выдумывать себе по произволу. Они будут судить меня по ходу всей моей жизни, по правде и невинности моей, и я верю, что, по милосердию своему, они всегда будут помнить о том, как опасно для совести и каким дурным примером для свободы и гражданской жизни будет осуждение невинных и объявление врагами отечества тех, кто не преступен перед ним ни словом, ни делом; наконец, судьи вспомнят, что, ради суровости или чрезмерной строгости, они не захотят лишиться себя возможности сказать из глубины души богу в ежедневной молитве: «и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим»; наоборот, милостью, добротой и нежеланием отнимать у других блага, которых они хотели бы от бога для себя, они побудят его пожалеть как их самих, так и вообще бедный наш город. Я же каждый день горячо молюсь, чтобы ему было угодно отстранить от города этот бич, сохранить его свободу, объединить и спасти всех, кто желает праведно жить.

Тем же

2 марта 1529—1530 в Лукке

Всем сердцем прошу всемогущего бога, которому открыты все мысли людей, чтобы он наставил вас осудить меня, как преступного гражданина, если намерения мои были когда-нибудь враждебны свободе города и если я когда-нибудь погрешил против блага его словом, делом или помышлением. Если же ему, всемогущему,

известна истина, состоящая в том, что я всегда любил отечество и общее благо как самого себя, да удостоит он меня милостью, чтобы предстоящий приговор согласен был с истиной и моей невиновностью.

Обвинение, насколько я могу его очертить, содержит три части: первая, что я не остался во Флоренции согласно объявленному приказу; второе, что я был в Болонье при папе; третье, что в это время я поступал как дурной гражданин: отправлял во Флоренцию гонцов и писал шифром письма против правительства.

По первому обвинению скажу вашим светлостям, что никогда я не подумал бы об отъезде, если бы знал, что мне грозят только те опасности, которые были бы для меня общи со всем городом; меня испугали опасности, угрожавшие лично мне и немногим другим, ибо вашим светлостям известно, какие страшные угрозы раздавались тогда отовсюду против тех, кому не доверяли; очутившись в этом положении, хотя без всякой вины, я испытывал страх, а кроме того боялся, как бы меня не схватили по приказу властей; поэтому, имея в виду ужас и опасность, в которых находится человек, подозреваемый в городе, где все так неспокойно, я, узнав о взятии Ареццо, решился уехать, рассудив, что для меня вернее положиться в конце концов на милосердие ваших светлостей, чем идти на опасности, которые, по условиям времени, часто возможны в таких трудных обстоятельствах даже против воли людей. Прошу ваши светлости принять во внимание, насколько

опасности, и особенно опасность личная, отнимают у людей власть над собой; прошу иметь в виду, что я уехал не из желания послушаться, не из презрения к властям, без всякого дурного намерения, и отъезд мой должен быть назван скорее отсутствием, чем неповиновением, так как о всех поступках людей должно судить больше по намерению, чем по последствиям; пусть этот страх был чрезмерным или излишним, но раз неповиновение ни на чем другом, кроме страха, не основано, не следует называть его злым умыслом.

Относительно моего приезда в Болонью ваши светлости должны знать, что, покидая Флоренцию, я решил не выезжать из пределов наших владений, если только меня не заставит необходимость, и поэтому я пробыл восемь дней в Казентино; однако место это стало опасным, так как принц Оранский остановился в Вальдарно; а кроме того, мне стало известно, что власти, предшественники ваших светлостей, продолжали каждый день требовать возвращения отсутствующих, под угрозой объявления их бунтовщиками. Чтобы избежать всех опасностей, я удалился в Солиано, владения графа Роберто Малатеста, который сам, как и близкие его, был другом нашего города. Затем дней через двадцать совершился приезд папы в Римини⁴⁶, отстоящего от Солиано почти на десять миль; я должен был дать отчет во многих своих делах времени моей службы ему на войне, и поэтому я считал себя обязанным доехать до Римини. Я думал, что могу это сделать без греха перед

нашим городом, так как, если бы мне пришлось говорить с папой, я надеялся помочь городу, а не повредить ему; главное, здесь были флорентийские послы, которым я сообщил по приезде, что я здесь не для того, чтобы сопровождать двор, а хочу, после посещения папы, отправиться в Анкону, причем я предложил им сделать для города все, что смогу. Они одобрили меня, и я говорил с папой, от которого услышал вещи, совсем отличные от того, что он всегда говорил послам; я не мог уведомить об этом послов, уже раньше уехавших в Чезену, и я тоже поехал туда, чтобы с ними переговорить; в Чезене я провел их к папе, а на следующий день в Форли добился того, что папа, отказавшись от прежних условий, именно от требований безусловной сдачи, выразил согласие на мир, с сохранением свободы и Большого совета. Поэтому послы решили, что папа возвращается к условиям, которые прежде всегда отвергал, и отправили во Флоренцию Франческо Нази с донесением. Не стану утверждать, велись ли эти переговоры для видимости или нет, хотя, по моему мнению, было бы полезно согласиться на предложение папы; потому ли, что турки стояли у Вены⁴⁷, или по другим причинам, но дела приняла в это время такой оборот, что папа сделал бы по необходимости все, что он, может быть, не хотел делать по доброй воле. Как бы то ни было, для меня достаточно, что флорентийские послы наглядно убедились, с каким жаром отстаивал я на деле пользу нашего города; по этой же причине, когда я после

беседы с папой хотел ехать в Анкону, они убеждали меня ехать в Болонью, чтобы, в случае приказа из Флоренции продолжать переговоры, я мог бы возобновить и закончить их с той же пользой, с какой я их начал. Когда я ссылался на то, что, следуя за папским двором, я вызову в городе нарекания, они предложили мне удостовериться во Флоренции, что они сами просили меня об этом; думаю, что они так и сделали, а если бы этого не было, то, конечно, они всегда скажут правду, когда их о ней спросят. Итак, ваши светлости видите, что за проезд в Болонью я заслуживаю скорее похвалы, чем обвинения; если я даже остался после окончания переговоров, причина была в том, что император должен был пробывать там всего несколько дней, и было известно, что сейчас же после его отъезда уедет и папа, я же решил оставаться в Болонье; ведь я не мог не только уехать, но даже проехать безопасно через Романью, Ломбардию или владения герцога феррарского из-за разных неприятных дел, возникших между мной и его отрядом, когда я был еще на службе церкви. Когда я подумаю, до чего я доведен, мне кажется, что если мне раньше завидовали, то сейчас должны сочувствовать больше, чем всякому другому, мне равному. Ведь во времена таких тяжких опасностей для моего города мне не только не представился случай показать ему свою преданность, чего я желал больше всего, но страх заставил меня бежать; мало того — мне грозит в этом споре не только потеря того малого имущества, которое я

приобрел ценой бесконечных трудов и опасностей, но, что гораздо печальнее, потеря отечества; в довершение стольких бед у меня много сильных и могучих врагов, так что в Италии почти нет места, где я мог бы укрыться сколько-нибудь безопасно. Эта причина удерживала меня в Болонье гораздо сильнее, чем я бы хотел, и правда слов моих подтверждается тем, что, как только открылся для меня безопасный путь в Лукку, я уехал туда и намерен остаться там, пока не кончится эта смертоносная война; неправду говорит обвинение, великодушные мои синьоры, будто я подстрекал к ней делом или советом, писал письма или делал еще что-нибудь против нашего города. Наоборот,— и свидетелями этому могут быть все ваши граждане, бывшие тогда в Болонье,— я не захотел вернуться на службу папы и вообще браться за какие-нибудь дела; таким образом, можно по правде сказать, что я был скорее в Болонье, чем при папском дворе.

Я желал бы, чтобы условия времени позволили мне приехать защищаться, ибо невинность сильна, и я уверен, что убедил бы в ней ваши светлости словами, движениями, видом, наконец, раскрытием сердца, если другое не поможет. Но так как я приехать не мог, то должен взывать к разуму, осмотрительности и доброте ваших светлостей. Прошу вас подумать о том, какой отклик встречает эта клевета, и о том, что недостаточно, если ее выскажет или напишет человек, меня не знающий; раз сказана такая ложь, это должен быть кто-нибудь,

питающий против меня особенную злобу или без должной осторожности поверивший лжи и написавший неправду. Где же перехваченные письма? Где допрошенные гонцы? Где какое-нибудь сообщение, проверка или признак правды?

Простые слова не должны иметь силы судебного приговора, а клеветы, высказанной без всякого основания, недостаточно, чтобы карать людей, как преступников. Что знаешь ты, написавший, будто я преступно вел себя в Болонье, что тайны мои уже открыты, когда есть свидетельство стольких послов и есть дела, по которым очевидно, что я делал совершенно обратное в Римини, Чезене и Форли? Что знаешь ты о моих письмах, написанных шифром или направленных против правительства, если письма не перехвачены или если ты не говорил с кем-нибудь, кто их видел, читал или писал, хотя это величайшая ложь! После отъезда моего из лагеря я никогда и нигде не писал шифром, а после отъезда из Флоренции я и вовсе не писал даже и без шифра, если не считать двух или трех писем к брату моему Якопо, когда мне сообщили о возведенном на меня обвинении; в письмах этих я защищался, просил дать мне свободный пропуск, чтобы проехать в комиссариат Кастрокаро или через Пистойю в Лукку. Я сообщал ему о приготовлениях и силах врагов, чтобы он мог говорить здесь, с кем следовало, и все эти сообщения были точны и правдивы. Одно письмо я послал через слугу своего из Перетолли, другое с человеком из Монарды и

с приказанием показать его, когда их остановят у ворот; я знаю, что слуга из Монарды был проведен с письмом в коллегию десяти, и там не нашли в нем ничего, за что можно было бы меня упрекнуть. Все это чистая правда, и ваши светлости никогда не скажут, будто я писал иное или давал иные приказания; наоборот, если вы взглянете на дела мои в какое бы то ни было время, то легко убедитесь, что я люблю свободу; силы мои не столь малы и прошлое мое не таково, чтобы можно было обо мне думать, будто я хочу рабства для своего отечества. Зачем? Для чего? Я никогда не пользовался средствами города, никогда не делал никому зла, никогда не тратил больше, чем мог, вообще никогда, с возвращения Медичи и позднее, не был причастен к городским делам и могу сказать, что ни выгод, ни почестей от них не видал. Где же причины, по которым я мог бы стать врагом свободы? Не видны они и по моему поведению после государственного переворота, которое было таково, что не могло сделать из меня врага, которого держат на подозрении: я приобрел собственности больше чем на четыре тысячи дукатов, а человек, который затевает что-нибудь против правительства, обычно поступает наоборот; я жил большей частью в своей вилле; когда бывал во Флоренции, я часто приезжал в Совет, никогда не общался с людьми, не сказал ни одного слова, не сделал ни одного движения, которые могли бы бросить на меня тень, и всегда надеялся, что со временем узнается правда о моих мыслях.

Я не стану больше утомлять ваши светлости, но всеми силами ума и души прошу вас не ограничивать суждения свои различными и туманными клеветами, которые всякий может выдумывать по-своему, а судить меня по непрерывному течению моей жизни и подумать о том, как опасно для совести, какой дурной пример для свободы и гражданского строя, если будут приговаривать невинных и объявлять врагами отечества людей, никогда перед ним не провинившихся. Вспомните также, что если бы меня осудили, то потом, даже если выяснится моя невинность, не во власти ваших светлостей вернуть мне имущество, имя, отечество и возвратить моим несчастным дочерям положение, в котором они находятся сейчас. Если же меня оправдают, как я на то надеюсь по доброте ваших светлостей, то ведь оправдание можно всегда взять обратно, установить мои ошибки, и если я не явлюсь на суд в такое время, когда не будет тех препятствий, которые имеются сейчас, то осуждение мое будет справедливым; если бы я явился на суд,— а я без сомнения сделал бы это,— можно было бы лучше узнать правду и тяжелее покарать меня за ошибки; поэтому насколько более верным, справедливым и святым делом было бы мое оправдание, которое можно всегда взять обратно, чем осуждение, которое было бы ударом неисправимым.

Наконец, пусть вспомнят ваши светлости, что, ради излишней суровости и строгости, они не захотят лишать себя возможности сказать из

глубины души богу на ежедневной молитве: «и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». Наоборот, милостью, добротой и нежеланием отнимать у других блага, которых они хотели бы от бога для себя, они побуждают его пожалеть как их самих, так и бедный наш город, отстранить от него этот бич, сохранить его свободу, объединить и спасти тех, кто желает праведно жить; считая себя одним из числа их, снова от всего сердца прошу всемогущего бога оказать мне милость в том, чтобы суд ваших светлостей отвечал истине и был бы таков, какими были всегда дела мои перед отечеством.

Брату моему Якопо

25 апреля 1530 в Риме

18-го дня прошлого месяца я уехал из Лукки в Лорето, чтобы исполнить давний обет; когда я приехал в Фано, меня догнало там письмо ваше от 18-го, в котором вы мне сообщаете, что 17-го Кварантия признала меня бунтовщиком и что я могу быть оправдан тридцатью двумя голосами членов синьории и коллегий, если я в течение апреля лично явлюсь перед синьорами; вы убеждаете меня переносить это терпеливо, не поддаваться отчаянию и оставаться в Лукке, так как думаете, что я еще там. Если я буду вести себя так, то вы надеетесь, что все кончится хорошо. Известие это сильно

меня удивило, ибо, чувствую себя совершенно невинным, я не могу поверить, что Кварантия, выносящая обычно справедливые приговоры, решила бы в моем деле настолько отклониться от справедливости; не могу поверить, чтобы люди не понимали, как жестоко выносить такое обвинение гражданину, отсутствовавшему и не выслушанному, которого вместе с тем нельзя считать уклонившимся от суда,— настолько известны препятствия, помешавшие ему явиться. Однако я решил, что гнев никогда не должен побуждать меня к поступкам, недостойным меня или памяти нашего отца и других наших предков, о которых каждый знает, что это были за люди; если Кварантия может лишить меня отечества и отобрать у меня имущество, нажитое такими трудами за пределами Флоренции, не в ее власти отнять у меня чувства и природу хорошего гражданина или позволить кому-нибудь справедливо сказать, что я злоумышлял против города: что бы ни случилось, я буду верен этому решению до смерти. Если несчастная моя участь никогда не позволяла сослаться в доказательство честности моих намерений на должности и почести, оказанные городом, как это могли сделать многие, я сошлюсь на эти свои невзгоды, и это доказательство будет тем сильнее, чем меньше причин у меня к нему прибегать. Опыт прошлого отнимает у меня всякую надежду, что дела мои во Флоренции когда-нибудь поправятся, и при таких мыслях я охотно последовал бы вашему совету остаться в Лукке или в каком-нибудь месте в этом роде,

если бы необходимость не заставляла меня думать о средствах к жизни теперь, когда у меня так несправедливо отнято мое имущество; главное, я считаю, что надежда, которую вы мне подаете, исходит скорее от желания мне добра, чем от основательных причин, так как я знаю, какую силу имеют во Флоренции приговоры Кварантии, и не могу надеяться их изменить. Получить тридцать два голоса за оправдание так трудно, что это подходит к невозможности, и являться на суд в расчете на это слишком опасно. Эта причина побудила меня проехать в Рим, хотя бы для того, чтобы попытаться получить от папы какую-нибудь должность, которая дала бы мне возможность поддерживать себя и свою семью; я никогда не приму места, на котором я прямо или косвенно должен был бы делать что-нибудь против нашего города, и притом, как я уже сказал, не из надежды, что это может мне помочь, а только потому, что хочу всегда поступать так, как это мне, по-моему, подобает.

Вчера я получил другое ваше письмо, от 3-го числа текущего месяца, где вы пишете, что со своей стороны убеждаете меня явиться в течение всего этого месяца, если мне дадут свободный пропуск, как это, по-вашему, и будет, и вы питаете надежду на благополучный исход, если я на суд явлюсь. На это я скажу, что я так и не мог решиться на это по краткости времени и другим причинам. Дело не в том, чтобы я хоть сколько-нибудь сомневался в обещании властей, если бы оно мне было дано, а

в том, что ехать далеко не безопасно, так как все дороги захвачены разнузданными солдатами. Кроме того, я должен был бы иметь пропуск отсюда и от принца Оранского, чтобы через лагерь проехать во Флоренцию. Я не знаю, легко ли получить его для этой цели; и все же я постарался бы преодолеть все эти трудности, если бы была надежда на оправдание, которое кажется мне почти невозможным, раз для этого нужно тридцать два голоса; я ведь видел здесь по опыту, что моя спокойная и честная жизнь, когда ни малейшей тени на мне быть не могло, все же не смягчает недоброжелательство людей; поэтому я не знаю, как я могу решиться идти на все эти трудности и подвергать себя опасности только для того, чтобы без конца увеличить свои заботы.

Я знаю, что приезд мой сюда будет истолкован дурно, и это меня настолько заботит, что я не сделал бы этого, если бы мог найти другой способ жить; однако лишиться себя всякой надежды и довести себя до нищеты казалось мне неблагоприятным; твердо решившись, как я это и выполню, никогда не вредить нашему городу ни делом, ни советом, я буду по крайней мере доволен тем, что совесть моя чиста. В этом будет у меня та удовлетворенность, что богу такое поведение мое будет тем угоднее, чем меньше у меня надежд извлечь из этого выгоду; ведь только то заслуживает названия доброго дела, что делается без другой цели, кроме мысли о добре и о доблести.

Судьи, об одном только должны мы были молить бога и только одно могло быть полезно для республики,— это сразу же подтвердить на заметном примере новый закон об обвинениях ⁴⁹, принятый усилиями тех, кто так ревностно охраняет нашу свободу; случай сейчас так подходящ, что о большем нельзя было бы думать, и не может быть сомнения, что он дан указанием божественной воли, а не советом или делами людей. Глядя на то, как противились эти важные граждане, желавшие угнетать других, как они добивались отклонения такого святого закона, весь почти город уже был уверен, что, если они, при всех своих ухищрениях, не смогли добиться у большинства народа провала закона, они будут добиваться того же окольными путями у немногих; они заранее делали все, чтобы исполнение закона осталось пустым звуком, старались настолько задобрить или запугать судей, чтобы они никогда не осудили никого из сильных людей. Не знаю, есть ли для республики что-нибудь более губительное, и я горячо этому противился,— вернее, даже не я, а всевышний, бог всемогущий, явный покровитель нашего города; я задумал вызвать на суд, при несказанном восторге всего народа, не темного гражданина, обвиняемого в неведомых и легких ошибках, не человека столь незаметного, что осуждение его было бы бесполезно для республики, а мессера Франческо Гвиччардини, рас-

хитителя общественных денег, грабителя ваших земель, человека презренной частной жизни, желающего возвращения Медичи, сторонника тирании, захватчика вашего дворца⁵⁰, величайшего врага городской свободы, словом, виновного в столь тяжких, известных и ненавистных преступлениях, что оправдать его было бы невозможно; притом он настолько влиятелен, что осуждение его принесет величайшую пользу: оно вытравит из тела республики эту язву, и — что еще важнее — покажет пример; каждому станет ясно, что в новых судах истина, религия и строгость судей значат больше, чем страх или подкуп.

Если бы меня не побуждала любовь к республике, великое желание прочно обеспечить нашу свободу и сознание, что одна из живых ее основ — это ужас и огонь настоящего закона, будьте уверены, судьи, что мной не двигала бы никакая другая мысль, ведь, я не питаю к мессеру Франческо никакой личной вражды; наоборот, с молодых лет я с ним общался и был к нему расположен; мне не надо считаться с тем, что после этого обвинения я наживу множество врагов; всякому известно, что я от природы никогда не был склонен угнетать других и находить удовольствие в чужом несчастье; я не надеюсь услышать особенные восхваления, если он будет осужден, так как преступления мессера Франческо настолько велики, опасны и очевидны, что это случится само собой без всякого искусства обвинителя, и меня порицали бы так же сильно, если бы он был оправдан;

ведь в памяти людей все тяжелое хранится крепче, чем приятное, и если успеха нет, люди всегда больше смотрят на исход, чем на намеренье. Однако природа дела избавляет меня от этих страхов; ведь если бы мессер Франческо был виновен только в честолюбии и в том, что его злые замыслы угрожают свободе города, а в остальном жизнь его не была бы запятнана тягчайшими грехами, или, наоборот, если бы он был человек развратный, но не замышлял бы государственного переворота в республике, я думаю, что чистота его нравственности могла бы защитить его от обвинений в честолюбии, а если он не страшен свободе, то, для оправдания других его грехов, неумеренные старания и необычайные средства, к которым прибегают его друзья и родные, оказались бы сильнее справедливости. Однако в нем соединяется все, и притом так, что не легко различить, преобладает ли в нас страх или ненависть к нему; нет человека, который сомневался бы в осуждении с того дня, как он был вызван на суд. Начнем с его алчности, с грабежей и разорения страны, которое я покажу вам с такой наглядностью, что, если эти судьи и этот народ еще смогут тебя слушать, это будет более удивительно, чем, если весь город не вынесет таких преступлений, не допустит, чтобы среди нас завелась такая чума, яростно ворвется к тебе в дом и справедливо заставит тебя испытать в твоих дочерях и имуществе то зло, которое по твоей вине безвинно испытало столько людей.

Я говорю, что мессер Франческо Гвиччардини расхитил в этой войне несметные богатства, принадлежащие нашему городу; ради этого, он позволил нашим солдатам жить за счет страны, а это значит не что иное, как согласие его на то, чтобы солдаты воровали и грабили как враги⁵¹; власть, данную ему для защиты и сохранения нашего государства, он употребил на то, чтобы отдать его в жертву. Верю, что он сделал то же самое во владениях церкви, но я не стану обвинять за несправедливости, причиненные другим, так как наши обиды столь велики, что у нас уйдет слишком много сил на то, чтобы почувствовать собственное несчастье. Я не клеветую и не говорю как обвинитель, потому что свидетелей здесь без конца, все ясно и ничего нельзя ни утаить, ни укрыть. Все это говорит не один человек, не два, не три, не четыре, не шесть, не десять, это говорят не подозрительные личности, не враги, не люди, которые могут безопасно на тебя клеветать; это говорят сто, двести, триста, пятьсот, тысяча человек; это говорит, в конце концов, целое войско, войско, облагодетельствованное тобой и тебе подчиненное, войско, которое не посмело бы обвинять тебя напрасно, которое в надежде на тебя скорее бы ложно тебя оправдало. Это говорят целые области, Романья, подчиненная нам, Муджелло, Казентино, Вальдицеца, Вальдарно, Ареццо, Кортонна со своим округом, говорят все жители нашего города, деревни и предместья; это сказали бы птицы, камни и деревья, если бы они могли говорить,

сказали бы наши стены и башни, слышавшие плач несчастных крестьян и крики маленьких детей.

Сколько было допрошено ваших граждан — людей, весьма достойных доверия, которые показали, что не раз, не два, не три, а бесчисленное количество раз слышали, как ты говорил войску, что, если ему не платят, значит оно вольно жить чем хочет; однако по книгам, которые предъявил он сам, видно, что жалование войску посылалось каждый месяц. То же, что говорят ваши граждане, скажут и крестьяне, живущие в Кортоне и Романье, скажут аретинцы и все другие ваши подданные; я знаю, что жители Пьяченцы, Пармы, Болоньи и вся Романья говорят это о церкви; в этих местностях, как и в нашей стране, произошли бесконечные грабежи, много пожаров, немало убийств, изнасиловано бесчисленное множество женщин всякого возраста и состояния, старых, молодых, девочек и девушек, замужних и вдовых. Сколько ваших замков и земель разграблено с такой жестокостью, до которой не дошли бы враги!

Прошу народ слушать терпеливо и, внимая рассказу об этих бесчинствах, беззакониях и разорении вашем, прошу вас не поддаваться гневу и не побивать злодея камнями; будьте довольны тем, что дело находится здесь, что кара будет установлена судьями; может быть, было бы полезнее, больше отвечало бы достоинству города и внушило бы больше ужаса другим, если бы гнев народный уничтожил его еще до приговора, сжег бы его дом, растерзал бы его

на страх потомкам в дверях этого дворца, значение которого он всячески подрывал; пусть это случилось бы здесь, у ног вот этой Юдифи *, чтобы одно и то же место хранило память о славе той, кто спас отечество, и о казни того, кто его угнетал; однако сейчас, когда дело уже началось, когда оно вынесено на суд, убивать мессера Франческо было бы дурным примером; пока дело слушается, пока оно перед судьями, прошу вас не мешайте ходу суда. Ваши судьи — люди разумные, гражданственные, честные, преданные нашей свободе в меру возможного; они не могут погрешить незнанием важности этого приговора, их не испугать пустыми угрозами, не подкупить ни просьбами, ни другими средствами; они знают вашу волю, — не надо бояться, что они откажут нам в правосудии, что они не подумают об общественном спасении; наконец, если у них нет недостатка в людях, кто стал бы обвинять; если у меня достаточно решимости для обвинения, то ни у вас, ни у республики не будет недостатка в судьях.

Говорю вам снова, что из-за неслыханной жадности мессера Франческо разрушена ваша страна и множество других областей, всюду грабежи, пожары, насилие над женщинами и девушками, убийства, множество ваших крепостей разграблено вашими же солдатами с большей жестокостью, чем это сделали бы враги. Свидетели моих слов — Барберино, Борго Сан Лоренцо и Декомано. Свидетели этому Понтас-

* Статуя Донателло, стоящая в Лоджии Приоров.

сиеве, Сан Кашьяно, прекрасные и богатые местечки в Вальдарно, почти совсем такие, как города: свидетели — Фильине, Сан-Джованни и Монтеварки, разгромленные с такой безбожной яростью, что они могли позавидовать Латерине, Кварате, Киассе и другим местам, где были испанцы. Хуже, в сто раз хуже врагов поступали с нашими подданными наши же солдаты, для которых мы каждый месяц выдавали мессеру Франческо жалование; не говорю об истреблении хлебов, не говорю о том, как пьяные солдаты разбивали винные бочки и вино разливалось по подвалам, превратившимся в озера, не говорю о том, как они уводили скот на продажу в другие области, если не могли съесть его на месте, о том, как бесчисленное количество трупов животных валялось на полях и досталось на съедение волкам; обо всем этом я не говорю и не скорблю. Таковы уже военные вольности, что когда страна отдана на произвол солдат, то уничтожается не только все съестное, но и все, что вообще можно взять в рот; пусть по милости мессера Франческо у них будут все эти преимущества и даже бóльшие; но по той же его милости ушли к ним вещи, движимое имущество наших вилл и дворцов, товары, которых было так много в этих землях, особенно в Вальдарно: ни в домах, ни в лавках, куда заглянули солдаты, не осталось ни одной вещи, которую можно было бы унести; говорили, что вещи даются в уплату жалования. Солдаты разбивали, разрушали и уничтожали не только все, что можно было взять с собой,

но драгоценности и украшения ваших дворцов. А пожары, вспыхнувшие по всей стране? Повсюду поджоги домов, грохот разбитых вдребезги вещей, осады замков, не пожелавших открыть двери своих башен; солдаты являли образец жадности, разврата, жестокости, и это было для них тем легче, что никто не бежал, а все, или по крайней мере большая часть жителей, ждали их как друзей. Да и кто мог думать иначе о нашем же войске, во главе которого стоял наш гражданин. Кто бы мог помыслить, что рассадником этих злодейств окажется сын Пьеро Гвиччардини, что это ядовитое растение выросло от такого хорошего корня, что это сын примерного отца и такого доброго католика? Сколько женщин было изнасиловано, сколько мужчин избито и изранено, сколько уничтожено народу! Повсюду захвачены ваши крестьяне, ваши подданные, ваши управители поместий, которым пришлось откупаться и платить этот выкуп нашим же солдатам.

Но что же я оплакиваю участь крестьян и подданных? Слава богу, если бы зверство ими насытилось и ограничилось. Ваших граждан бросали в тюрьмы, вымогали с них деньги, подвергали их пыткам; так поступали с вашими гражданами, которые закладывали все свое добро, лишали себя сами последнего куса, чтобы платить повинности и налоги, только бы солдаты получали свое жалование; ведь обычно, когда граждане Флоренции ехали к войскам, их приветствовал и чествовал весь лагерь; теперь их убивали, хватали, вязали и мучили те же

солдаты, для которых они собирали жалование, которых они сами призывали и поселили чуть не у себя дома. Спросите солдат, почему они истребили ваши хлеба, ваше вино, ваш скот,— они вам скажут, что им не платили, и значит им надо было жить тем, что попадет под руку; спросите их, зачем они громили и продавали вещи в домах и товары, зачем хватили людей в плен,— они вам скажут, что солдату нужна не одна еда и что все это позволил им мессер Франческо. Спросите их, почему они насиловали женщин, жгли дома, убивали людей, почему они разбили и уничтожили столько украшений, зачем натворили столько зла без малейшей пользы,— они ответят вам в один голос, что, видя, насколько в мессере Франческо нет ни уважения, ни жалости, ни преданности родине и своим гражданам, они считали, что должны их ненавидеть и смотреть на них, как на врагов, а потому, чем больше они делали им зла, тем больше надеялись сделать ему приятное. О, злодейство! О, неслыханное преступление! О, странное легкомыслие! О, невероятное терпение и мягкость флорентийского народа! Ты, мессер Франческо, натворивший столько бед, так жестоко и всеми возможными способами оскорбивший каждого, как гражданина и как частного человека, причинивший нам больше зла, чем нам когда-нибудь причиняли враги, отдавший нас на разгром, чтобы исторгнуть у нас деньги, убивший нас нашим же оружием, которое мы тебе вручили для нашей защиты, ты после этого смеешь возвращаться в город,

приходить в синьоршу, ежедневно с надменным видом показываться народу; когда тебя вызвали на суд, ты смеешь на него являться, смеешь надеяться на оправдание, а народ этот так мягок, добр и терпелив, что он не рвет тебя на части. Думаю, что у тебя бы нехватило духу появиться в Монтеварки или в Фильине; я вижу тебя каждый день во дворце и на площади, смотрю на тебя каждый день, как ты стоишь перед судьями с такой наглостью и бесстыдством, точно ты гражданин, а не жесточайший враг этого города, точно ты защитник отечества, а не преступнейший грабитель и разбойник, точно ты хранитель его свободы, а не ужасающий, вредоносный тиран.

Однако, судьи, не следует удивляться, что на лице человека, в котором обитает столько злодейства, нет даже краски стыда, что в нем нет ни малейшего признака духа скромного, чинного и умеренного, что он не похож на других; наоборот, надо было бы удивляться обратному, ибо разве может быть уважение и стыд там, где мы видим скопище самых страшных и вредных пороков; как говорят мудрецы, трудно человеку иметь одну добродетель, если в нем нет многих; так и порок редко бывает один, а чем грех больше, тем труднее ему обойтись без многих и дурных спутников. Когда я смотрю, какое множество зверских преступлений слилось в одном событии, я не могу найти слов, которые бы это выразили, не могу придумать для этого достаточной кары; ведь грех его не только в том, что он сделал, но и

меньше и в том, что он допустил, а особенно в том, что было сделано по его приказу и поручению. Скажем ли мы, что он виновен в краже, так как расхитил деньги, назначенные на жалование? Остаются еще грабежи с насилем, совершенные солдатами на глазах у всех; остаются бесконечные изнасилования и убийства. Скажем ли мы, что он виновен в жадности? Ведь к этому присоединяется столько примеров разврата и жестокости; здесь же святотатство, потому что разграблены и осквернены церкви и священные места. Скажем ли мы, что в нем грех трехголовый, как говорят поэты о Цербере: разврат, жадность и жестокость? Сюда же прибавляется измена — безбожный и злодейский грабеж всей нашей страны, убийство стольких наших граждан, совершенное властью и оружием, данными тебе для их защиты. Скажем ли мы, что он отцеубийца? Ведь поругано не только отечество, но общее достояние и частное имущество, подданные, друзья, соседи. Нет достаточных слов, и ни Демосфен, ни Цицерон не сумели бы их найти; это преступление, у которого больше голов, чем у гидры, это чума, это пламя, это огонь, это ад; преступление так велико, что топоры, виселицы и все наказания, которыми можно карать за другие грехи, — всего этого будет мало. А ты еще смеешь защищаться и хлопотать об оправдании?

Насколько было бы лучше и достойнее удалиться тебе от суда, не появляться больше здесь, не бередить жестоких ран, не уклоняться от приговора; ты показал бы этим, что не со-

всем еще погиб, что в тебе сохранился какой-то стыд, что в тебе еще шевелится совесть; если ты не можешь уменьшить кару, не старайся увеличить негодование, не возбуждай еще большей ненависти.

Зачем, спрашиваю я тебя, явился ты сюда защищаться, на что ты рассчитываешь? Может быть, ты надеешься на свое красноречие? Но преступления твои так велики, что их нельзя ни извинять, ни отрицать. Надеешься ли ты сослаться на какое-нибудь добро, которое ты сделал для этого города? Но ты образец зла, которое гражданин может сделать отечеству. Надеешься ли ты на нашу доброту, на мягкость нашего народа и судей? Но слишком свежи в памяти обиды, нанесенные тобой всему народу и каждому в отдельности; они так велики, что забыть их нельзя; простить тебя было бы делом слишком опасным и вредным. Ни среди судей, ни среди множества сбежавшихся сюда людей нет никого, кто бы не был жестоко оскорблен тобой или через тебя; у одного разграблено имущество, у другого сожжен дом, одного бросили в тюрьму, другого истязали; те, кто меньше пострадал, должны были заплатить такие налоги благодаря твоим грабежам и разбоям, что они лишены теперь необходимого или должны тратить средства, предназначенные на приданое дочерям, или вынуждены залезать в долги и обращаться к ростовщикам. Может быть, ты скажешь, что надеешься на свои деньги и средства? Я знаю: ты столько награл, что мог бы подкупить десять судей и целых два города;

но наши судьи слишком хороши, слишком любят свободу; они знают то, чего не знаешь ты, именно: насколько честь дороже денег. Надеешься ли ты их запугать? Я вижу твое надменное лицо, вижу, сколько в тебе гордости и гнева; ты, кажется, думаешь, что ведешь с собой войска, что мы все повергнуты в ужас, как бы ты не устроил нам второй погром. Я хорошо знаю, что ты этого хочешь, что ты к этому стремишься, но только время твое прошло; тебе придется жить частным человеком, презираемым и ненавистным, бессильным и безвластным, на которого смотрят хуже, чем на зверя, и преследуют хуже гадюки; наконец, если бы все это можно было даже изменить, то судьи наши настолько смелы и мужественны, что, конечно, не преминут исполнить свой долг, так как поступить наоборот они могут только под страхом вечного позора. Надеешься ли ты на силу и влияние родни, на помощь множества друзей, на происки всех сторонников Медичи? Неужели ты не видишь, несчастный, что на эти деньги сейчас уже никого не купишь, что город свободен, а не под властью тиранов, что в нем господствуют законы и суд, а не частные вождедения, что друзья Медичи, стараясь за тебя, портят и вредят твоему делу; так свежа память о тех временах и злодействах, что родню твою, повинную в таком множестве жестоких преступлений, все ненавидят, и она не только не может тебе помочь, но если бы все Гвиччардини и Сальвиати были назначены судьями, они были бы вынуждены тебя осудить. На что

же ты надеешься? Слушайте, ради бога, его превосходную защиту.

Он утверждает, что все деньги, истраченные в эту войну, шли через руки Алессандро дель Качча⁵² и он их не получал, а по книгам Алессандро ясно, что деньги тратились на солдат и прочие нужды, книгам же и бумагам надо верить больше, чем словам людей; лица, близко стоявшие к делу, достовернее тех, кто в нем не участвовал; конечно, это защита замечательная и достойная твоего бесстыдства, так как, если бы правда не открылась другими путями, я признаю, что пришлось бы верить книгам, и мы держались бы их не столько потому, что мы им верим, сколько по невозможности поступить иначе. Но там, где правда ясна до конца, где доказательства так очевидны, там не нужны мне его догадки. Я говорю, что мессер Франческо расхитил наши деньги, и в свидетели этого зову не одного, не двух и не десяток людей, а сотни и тысячи; это — свидетели всякого рода и состояния, принадлежащие к разным народам, свидетели, у которых нет интереса об этом говорить, а скорее они предпочли бы молчать; на противной стороне я вижу только одного свидетеля — Алессандро дель Качча. Кто получал наши деньги? Алессандро дель Качча. Кто говорит, что наши деньги истрачены правильно? Алессандро дель Качча. Кто говорит, что мессер Франческо денег не получал? Алессандро дель Качча. Кто вел эти книги, кто писал это евангелие? Алессандро дель Качча.

Вся эта игра только поспешное бегство. Даже в частном, самом мелком деле одному свидетелю доверяют только при отсутствии других доказательств противного; и неужели мы допустим это свидетельство одного человека в общественном деле такой важности, в котором имеются тысячи свидетельств обратного? Таким образом, если говорить о численности, какое может быть сравнение между целым войском и одним человеком? Что касается достоинства лиц, которое так важно для показаний свидетелей, то будет очень странно, если в целом войске, в котором столько знатных, столько благородных людей, столько военачальников, не найдется свидетелей более высокого достоинства, чем Алессандро дель Качча. Пусть все другие его показания совпадают с правдой, но в этом случае слова его подозрительны; ведь нельзя поверить, что он предоставил грабить другому, а сам не захотел иметь долю в добыче; кто же поверит свидетелю, который, оправдывая мессера Франческо, оправдывает себя и не может обвинять его, не обвиняя себя. Кто поверит бумагам, написанным рукой человека, бывшего его сотоварищем по воровству? Можно ли удивляться, что у человека, которого ни стыд, ни страх, ни укоры совести не удержали от убийства, хватило смелости на подлог? Скажи мне, Алессандро дель Качча: ты — купец, привыкший управлять денежными делами, знающий всю важность этих вещей, считал ли ты честным, чтобы громадными суммами денег в сотни и тысячи дукатов можно было распорядиться так

потихоньку, без настоящего отчета, доверяя их только тебе? Как ты не позаботился оправдать свои денежные выдачи расписками получателей, удостоверениями третьих лиц и другими ясными доказательствами; а это легко было сделать, чтобы не оставалось места для сомнений. То, что делают осторожные купцы для какой-нибудь сотни дукатов, показалось тебе ненужным при расходе таких огромных денег? То, что ты привык делать, защищая неважные интересы Якопо Сальвиати⁵³, ты не нашел себя обязанным сделать для правительства твоего отечества. Неужели вас обоих так одолели жадность и грех, и вы поверили, что подобное безмерное воровство, задевающее столько людей, так и не выйдет на божий свет? Неужели вы думали, что все в этом городе так просто, так нерассудительны, так неопытны, что эти счета, ничем не подтверждаемые и опровергаемые с разных сторон, будут приняты? Я уверен, что вы не можете так мало нас уважать, чтобы этому поверить, и если бы вы подумали, что вам придется отдавать отчет здесь, вы делали бы свое злое дело осторожнее или прикрашивали его искуснее. Здесь зарыта самая суть дела, и состоит она вот в чем: ты думал, что раз война велась во имя папы, а ты был при войске его советником, тебе придется отчитываться в Риме; там же дела ведутся широко, там можно подкупить каждого, там папа, как и в прошлые времена, мог бы оказаться столь же щедрым на чужие деньги, как он всегда был скуп на свои; там власть мессера Франческо зажала

бы каждому рот, а милость, в которой был у папы Якопо Сальвиати, защитила бы Алессандро. Кто же, наконец, знает, был ли Якопо Сальвиати в стороне от этого воровства? Ведь добыча так жирна, что один мессер Франческо, хотя желудок у него и здоровый, едва ли переварил бы ее, и трудно поверить, чтобы вся добыча попала в одни сети; не так он плохо себя ценит, чтобы дать одному Алессандро десять сольди на лиру. Правдоподобно другое: они окружили папу вдвоем; Якопо постарался вызвать мессера Франческо в Рим, один перебрасывал мяч другому, и, вероятно, они, как сотоварищи по честолюбию, были сотоварищами и по добыче.

Вы видите, судьи, как все разъясняется, как мы, разбираясь в одном преступлении, открываем их два, а разыскивая одного вора, находим нескольких; воровство открывает нам подложность книг, вместе с вором мессером Франческо мы видим вора Алессандро дель Качча, узнаем некоторые следы Якопо Сальвиати, и мы дошли до того, что все выйdet на свет; этого хочет божественная справедливость, этого требуют и наши грехи. Прикажите мессеру Франческо вернуть деньги, как это и справедливо, потому что он стоял во главе, имел право распорядиться деньгами, должен был заботиться об уплате солдатам и вообще ведать все расходы; вы увидите, что, не желая платить чужую долю, он будет вынужден открыть тайные книги, обнаружить своих товарищей и просить вас взыскать с каждого его часть. Он будет ссылаться на времена, когда он управлял землями церкви и

славился бескорыстием, он скажет, что раз он старался создать себе доброе имя на чужой стороне, то странно было бы ему стремиться к дурной славе у себя на родине: он добудет свидетельства, удостоверения и письма из тех городов, он будет убеждать нас поверить делам далеким и отделенным от нас горами, больше чем тому, что делается у нас на глазах.

Я не знаю, каково было твое положение в чужих землях, и не хочу этого доискиваться, однако я утверждаю, что, если ты там был плох, неудивительно, что ты продолжал упорствовать во зле, ибо кто привыкает к нему с самого начала, становится потом всегда хуже: если же ты там был хорош, тем меньше заслуживаешь ты оправдания, тем более достоин ты ненависти; ведь ты отдался злу, будучи уже не юношей и не во времена твоей бедности, что заслуживало бы некоторого сострадания; ты сделал это, когда был уже богат и имел огромнейшие доходы, тебе было за сорок лет, и, таким образом, для тебя не может быть ни милосердия, ни прощения; если ты в такие годы, с таким опытом обратился к злу и не беспокоился, что пропадает твоя добрая слава, насколько же легче тебе упорствовать в нем теперь, лишь бы представился случай! Поэтому брось эти показания из Ломбардии и Романьи, эти бумаги, выпрошенные тобой у городов, потому что не стоит трудиться их опровергать. Я хорошо знаю, как живет в этих городах, знаю, что люди эти никогда не видели ни свободы, ни власти, знают только свой интерес и умеют только угождать

более сильным; в них нет ни достоинства, ни стыда, ни совести, в душе они не менее рабы, чем по необходимости; по письму какого-нибудь графа из Ломбардии, по просьбе наместника в Романье, по знаку епископа, а того больше — кардинала, они готовы были бы каждый день давать тысячу лживых клятв; раз они это делают у себя дома для первого встречного, неужели им трудно сделать это в чужом интересе, когда они считают, что все сойдет им безнаказанно! Я никогда не был ни в Ломбардии, ни в Романье, но я не так уж беден друзьями, и, в конце концов, не так уж бессильна правда, и если бы дело стояло только за этим, я завалил бы тебя письмами и показаниями свидетелей; все это легковесно, ничего не стоит, и, кажется, я напрасно трачу здесь слова; тебя же мне жаль, что ты терял деньги и труд, чтобы доставать все эти доказательства.

Итак, воровство ясно, — не показано только количество, потому что здесь нет ни правила, ни меры, ни достоверности; каждый брал, сколько хотел; подумайте, что из этого получилось; не постигаю ни умом, ни воображением, как теперь надо поступить. Вы рассудите, конечно, что все расходы, не оправданные законом, должны быть возвращены, потому что тот, кто ведает доходами, обязан доказать законность издержек. Так поступили бы со всяким честным человеком, ибо несправедливо, чтобы небрежность вредила кому-нибудь другому, кроме самого виновника; тем более следует так поступить, когда достоверно известно, что он был бессовестен. Если

же этот способ вам, судьи, не понравится, то законы предусмотрели и другой путь: они требуют, чтобы каждый раз, когда ущерб достоверен и неясно только количество, размер устанавливался бы клятвой истца; не может жаловаться на суровость такой меры тот, кто своими мошенничествами вынудил нас к этому прибегнуть. Вы слышали, судьи, о грабежах и несчастиях, причиненных его жадностью,— вы знаете не все, а только то, что я мог вам представить, потому что грабежам не было конца и все знать невозможно. Послушайте теперь о преступном его честолюбии и об опасностях, грозивших с его стороны нашей свободе, если бы не были приняты меры.

Я утверждаю, что нет в этом городе гражданина, который столько получил бы от Медичи, как мессер Франческо; никто столько не потерял от их падения; никому возвращение Медичи и расцвет их величия не могут быть выгоднее, чем ему; наконец, нет другого человека, о котором можно было бы сказать, что ему по многим причинам так ненавистна частная жизнь; ведь другие видели от Медичи меньше добра, чем он, а если кто-нибудь получил больше, это дано было не ему только, а всему роду, в память каких-нибудь давних услуг, оказанных Медичи в тяжелые времена. Если люди, получавшие от Медичи деньги, бенефиции и другие выгоды, сохраняют их до сих пор и не лишились всего после переворота, они вовсе не убеждены, что возвращение Медичи будет для них полезно; дары Медичи были не таковы, чтобы они могли

извлечь из них какую-нибудь особенную пользу. Этого же человека не связывали с Медичи ни кровь, ни какое-либо обязательство или зависимость, если не считать общей, давней близости к ним его рода. Но с течением времени и благодаря множеству различных событий это почти уже изгладилось из памяти людей; однако он одиннадцать лет сряду получал от них почетнейшие и важнейшие должности, из которых извлек неисчислимую пользу и выгоду, и создал себе такое имя и такое величие, что можно сказать, много лет, а пожалуй и целые века не видано было во Флоренции гражданина, которому за пределами города оказывались бы подобные почести. Он не получал этих должностей на определенное время, а твердо рассчитывал сохранить их за собой, пока будет жив папа, ибо при нем он занимал высокое положение и управлял, по его поручению, такой большой и важной областью, как Романья; во время войны он ведал всеми папскими войсками, а во время мира был назначен состоять при папе советником и исполнителем по самым важным делам. Все эти места настолько большие и выгодные, что нельзя указать границу его доходов, исчисляя их одной, двумя или тремя тысячами дукатов в год, а надо сказать, что это суммы неопределенные, которым нет счета; не менее велика знаменитость его имени, потому что человека, близкого к папе, знает вся Италия, за ним следит весь двор, ему поклоняется все папское государство, и, в конце концов, он большой человек при дворах всех властителей в мире; он

был близок к папе, захватившему власть в нашем городе, и поэтому пользовался властью, какой хотел сам, и мог раздавать почетные и выгодные места своим родным, друзьям и вообще кому хотел. Действительно, как мог бы папа отказать в чем-нибудь человеку, в руках которого были все его тайны, все управление его государством; те же, кто были здесь его викариями,— а унижение, в котором тогда находился этот бедный город, заставляет меня употребить именно это слово,— как могли они не потакать мессеру Франческо во всем, если ему внимал и верил тот властитель, от которого зависели все их блага и надежды?

Выгоды, величие, почет пропали для мессера Франческо вместе с падением Медичи, но, если бы они снова возвысились, он мог бы надеяться вернуть это обратно, а может быть получить еще больше; пока же Медичи унижены, как этого желают все хорошие граждане, мессер Франческо остается без доходов, без силы и власти, забытый и уничтоженный в глазах других властителей; он равен всем вам, которым он считал себя вправе приказывать, многим другим, которых он не удостоил бы ни слова. Ведь он привык властвовать над благородными и великодушными городами, в войсках ему повиновались знатнейшие вельможи и дворяне Италии, целых одиннадцать лет его дом, жизнь, расходы, двор — все это напоминало князя, а не простого гражданина; сейчас нет у него больше ни доходов, ни власти, он подчинен законам и мнениям людей и обречен, как это для него ни

жестоко, жить у себя дома, не на виду, такой же частной и смиренной жизнью, как и любой из нас.

Не думайте, судьи, что города, которыми он управлял, так же бедны и слабы, как ваши; не думайте, что наместник церкви не имеет достаточной свиты и силы, что власть его ограничена подобно власти ваших правителей, которые получают малое жалование, подчинены вашим законам, живут близко от этого города, куда подданные могут жаловаться в любой день, и, таким образом, про них можно сказать, что и на деле и по видимости они немногим важнее частных людей. Вообразите себе большие, изобильные, богатые города, переполненные знатью, графами и баронами; губернаторы получают там громаднейшие постоянные и чрезвычайные оклады, власть их куда больше, чем здесь, не подчинена никакому закону или правилу, все зависит от их произвола. До папы далеко, и он занят более важными делами, так что подданные могут дойти до него со своими жалобами только с величайшими трудностями и затратами, а польза от этого для них ничтожна; таким образом, они считают меньшим злом терпеть притеснения губернаторов, чем, в поисках за средствами спасения, терять время и деньги, подстрекая правителей к новым преследованиям; поэтому губернатор и есть и кажется господином тех городов. И действительно, если бы вы, судьи, посмотрели на мессера Франческо в Романье, где видели его, кажется, многие из присутствующих, в его доме, роскошно обставленном, где

все полно было серебра, где толпились слуги, куда стекалась вся область! Ведь кроме папы, который целиком на него полагался, он не знал никого выше себя; кругом стояла стража больше чем из сотни ландскнехтов и алебардистов, другая стража, сотня конных, сопровождала его в город; когда он выезжал, он никогда не ездил меньше чем со ста или ста пятьюдесятью всадниками, голова его кружилась от власти и титулов, так что вы никогда не узнали бы в нем вашего же гражданина, подобного вам; наоборот, если подумать о громадных делах, о безмерной власти, об огромном наместничестве, он показался бы вам равным скорее какому-нибудь герцогу, чем иному властителю. Точно так же, когда он был при войсках, не воображайте кого-нибудь из ваших комиссаров, которые могут казаться каждому большими людьми, но не высшими созданиями, потому что войска наши не так велики, а власть города сильнее и по многим другим причинам; не таков был он, в руках которого находилась вся власть столь великого государя, как папа, постоянного главы огромнейших союзных войск, в которых сражались все большие полководцы и правители Италии, где было столько дворян и знати; здесь он, как никогда, мог быть полезен многим, мог создать им известность, и его не то что почитали, а почти поклонялись ему.

Конца не было стечению народа, гонцам, делам, письмам от послов и герцогов, вплоть до короля Франции. Мессер Франческо уже не сознавал себя частным человеком ни по образу

жизни, ни по мыслям, ни по желаниям. Его слова, повадка, надменность, желание, чтобы его слушались и понимали по знаку,— все это черты человека, рожденного и живущего князем, которому всегда предстоит и жить и умереть как князю; ему наскучил титул комиссара, недостаточный для его величия,— он приказывал называть себя наместником, а это не что иное, как сказать, что он и папа — одно и то же. Неужели мы поверим, что человек, который так много потерял, может быть доволен падением Медичи, что тот, кто еще надеется столько получить, не мечтает дни и ночи о восстановлении их величия, что, привыкнув столько лет жить, как он жил, он может смириться и спрятать голову под обыкновенный капюшон? Любой из нас, бывший членом синьории, еще целый месяц после этого не может приспособиться к прежней жизни, а ведь это двухмесячная должность, в которую мы вступаем, зная, что скоро ее оставим; она ограничена, обставлена всяческими условиями, а если говорить правду, то от господства в ней мало что осталось, кроме названия. Неужели же мы поверим, что тот, кто одиннадцать лет сряду жил среди такого изобилия, в славе, величии, пышности и почете, кто всегда больше думал о том, как бы продлить это навсегда, чем о том, чтобы это заслужить,— что он может терпеливо переносить частную жизнь, спокойно смотреть, как его лишают всего, что отличало его от других, и выносить, что мы, средние граждане, будем ему равны?

Будем говорить о делах города с ним или без него, как о деле общем; ведь никто из нас не стыдится иметь сотоварищей по должностям, никто не возмущается, что он может быть подвластен и судим равными, что, в конце концов, он может быть вами осужден. С мессером Франческо это не так. Дело не только в том, что все его мысли и желания обращены к единственной цели — вернуть то, что он потерял; каждый, кто мог бы знать правду, сказал бы, что он спит и видит во сне только стражей, власть, войска, господство и тиранию. Конечно, я от природы склонен больше думать о людях хорошо и желать им добра, чем толковать все во зло, и если бы я не знал его жизнь за последние годы и не видел в нем этого ненасытного честолюбия, я легко дал бы себя убедить, что душа его успокоилась; ведь он скромно довольствовался столько лет тем, что судьба дала ему сейчас, и, как человек благоразумный, легко приспособился к перемене, а как добрый гражданин он меньше думал о своих личных делах и о своих обязательствах перед тиранами, чем об общем благе и свободе. Но, когда я представляю себе его прежние дела, его прошлую жизнь, я снова узнаю его нрав, его злые замыслы, его неизменную природу; тогда во мне побеждает рассудок, и я вынужден даже против воли признать, что он хочет и думает только о том, как бы удовлетворить свою алчность и вернуться к той жизни, в которой он полагает счастье.

Вспоминаю, что я его знал и общался с ним, когда он был еще юношей; нельзя даже пере-

дать, до чего он был беспокоен, как он жаждал верховодить своими сверстниками и всегда быть первым среди всех в обществе товарищей, как он всегда вербовал себе сторонников, сеял всюду раздоры и волнения. Я ничего не выдумываю, судьи, и ясно вам это покажу: ведь живы еще многие сверстники, достойные полнейшего доверия, и, если их спросят, они, конечно, не станут отрицать правду и скажут вам, кроме того, что его неугомонность и честолюбие были нам так хорошо известны, что некоторые из вас называли его Алкивиадом; они хотели этим показать, что в нем сидит дух алчный, беспокойный, всегда жаждущий перемен; это, к несчастью для нашего города, было не только верное и проницательное суждение, а настоящее пророчество, потому что Флоренции мессер Франческо принес не меньше несчастья, чем Афинам — Алкивиад. Если в таком нежном возрасте человек показывает и раскрывает в себе подобную природу, чего ждать от него в жизни потом? Разве народная поговорка не говорит, что каково утро, таков и день? Это правильно, ибо каждый человек в зрелом возрасте лучше умеет притворяться и скрывать свои наклонности; молодые люди этого не умеют, и все, что сидит у них в самой глубине сердца, выступает наружу без остатка. Если он был таков еще в нежном возрасте, когда вкус к власти и почестям кажется чем-то противоприродным, каков же он должен был стать потом, когда избрал образ жизни и испытал счастье, способное растравить честолюбие даже в уме холод-

ном и вялом, а не только в таком характере, как у него, который сам себя разжигал!

Трудно, судьи, противиться природе, трудно истребить в себе привычки, вошедшие в плоть, всосанные с молоком матери еще в колыбели. Даже тот, кто по необходимости или случайно идет путем, противоположным своей природе, заглушает свои естественные влечения лишь после долгого времени; тот же, кто выбирает себе дорогу по склонностям своим и идет по ней с успехом, тот питает и взращивает их с каждым днем, так что, если он, например, был честолюбив от природы, его честолюбие уже не знает границ. Разве вы не слышали о Цезаре, в котором семена эти обнаружались еще в детстве, а последствием была гибель отечества? Я не могу долго говорить о следующих годах, потому что мессер Франческо уехал из Флоренции учиться; однако разум говорит нам, что каким вы знали его вначале, каким вы видели его в дальнейшем ходе жизни, таким он был во время своего отсутствия, потому что средние полосы жизни всегда находятся в соответствии с крайними. Окончив свои занятия раньше времени, он уехал в Испанию, хотя жил по преимуществу на средства, которые получал от своего знания законов, и надеялся извлечь из этого пользу и почет; в городе тогда начались распри между гонфалоньером и теми из главных наших граждан, которые на словах осуждали гонфалоньера, захватившего слишком большую власть, а на деле не могли выносить правление народа, и мессер Франческо уже в

те времена обнаружил кое-какие признаки своего беспокойного нрава, но распознать это мог только человек, который видел бы его ближе: граждане, народ, весь город его не разглядели, так как по возрасту он не занимал должностей и не выступал на советах, а жизнь его по видимости была образцом сдержанности и скромности. Сам он был беден и, несмотря на это, почти против воли отца женился, взяв небольшое приданое, на одной из дочерей Аламано Сальвиати, который тогда больше других открыто выступал против гонимого гонимого; мессер Франческо сделал это с одной только целью — вмешаться в смуты и заручиться благоволением друзей Медичи; замысел его обнаружился бы еще ярче, если бы отец его, — дай боже, чтобы он на него походил, — гражданин добрый и далекий от таких затей, не заставил его своей властью действовать осторожнее; по этой причине, по краткому сроку должности, не превышающему трех или четырех лет, по доверию, которое он приобрел как доктор прав, ввиду его возраста, по хлопотам многочисленных родственников, по облику его жизни, казавшейся разумной и добродетельной, он был избран в двадцать восемь лет, при полном одобрении коллегии восьмидесяти, послом в Испанию, и этим ему оказана была честь, какая еще никогда не выпадала в нашем городе на долю молодого человека. Конечно, если не говорить о семенах его честолюбия⁵⁴, о чем знали тогда лишь немногие, качества его должны были завоевать ему доверие, так как в нем есть все таланты,

необходимые для политики. Не думайте, что он так легко добился бы подобной чести, если бы был менее одарен; тем опаснее в нем жажда величия, потому что, если бы это свойство сочеталось в нем с леностью и медленностью ума, мы бы его, может быть, упрекали, но, конечно, не боялись бы; если же в человеке соединяется столько разных черт, как в нем, было бы неосторожно смеяться над ним или его презирать.

Посольство мессера Франческо возбудило очень много толков, и если бы я вызвал его на суд из ненависти к нему или из своих личных целей, а не из подлинной любви к республике, я бы ухватился за этот случай и говорил бы как обвинитель; ведь обязанность обвинителя — не только преувеличивать правду, но прикрашивать вещи сомнительные, сеять всевозможные подозрения, не пропустить ничего, что может быть обвиняемому во вред; но я действую не как обвинитель, я ищу не победы, а блага общественного, мне было бы неприятно, чтобы мнимые грехи принимались за настоящие; поэтому я рассказываю дело просто, как оно есть, и оставляю в стороне догадки, не желая отягощать себя утверждениями о вещах, которых я не знаю, и убеждать судей верить чему-нибудь, кроме той правды, на которую наводит их самая суть дела.

Многие говорили, судьи, что хотя мессер Франческо был послан в Испанию республикой и для защиты свободы города, он в действительности хлопотал перед королем о возвращении Медичи и был во многом виновником по-

сылки королем войск для их восстановления. Ссылаются при этом на всякие догадки, потому что в таких делах уверенности быть не может: когда при дворе узнали о возвращении их, король во всеуслышание поздравлял с этим мессера Франческо, как друга Медичи, и этому будто бы есть свидетели; зная, что он посол республики, король должен был бы думать о нем совсем иное, если бы с самого начала не почувствовал в нем приверженца Медичи. Ведь после своего возвращения Медичи оставляли его в должности около года, что казалось неправдоподобным, так как он не был их доверенным лицом. А вернувшись из Испании, мессер Франческо, который даже не видал Медичи и ничего для них не делал, был так ими обласкан и отличен, что больших знаков благоволения и доверия нельзя было бы оказать человеку, им известному и с ними единомышленному. Все эти догадки могут, конечно, казаться убедительными, но я их не преувеличиваю, не раздуваю и не хочу утверждать, что они стоят больше, чем это допускает истина.

Однако, если бы это обвинение было справедливо,— а я полагаюсь в этом на вашу мудрость,— то никакая речь не могла бы достаточно показать, какое это великое злодейство; самая жестокая казнь не могла бы сравниться с подобной низостью, с таким обманом, с такой неслыханной изменой! Ведь из всех преступлений, на которые способны люди, нет большего, чем быть участником порабощения отечества, так как все страшные последствия этого нельзя

даже вообразить себе, а не только выразить словами; насколько же оно отягчается обстоятельствами, если преступление совершено человеком, которому город доверился, который согласился быть его слугой, который употребил против города и во зло ему имя и влияние, которым город почтил и облек его на пользу свою! Не могу назвать этого ни изменой, ни убийством, ни отцеубийством, потому что слова эти слишком слабы.

Что бы там ни было, не могу без величайшего негодования вспомнить о его странной неблагодарности, не могу также не удивляться испорченности его вкуса и суждения; в такие молодые годы он, с общего согласия людей, облеченных властью по закону, удостоен отечеством чести, какая никогда еще не оказывалась такому юноше, чести, которой всегда гордятся даже старые люди; по этому началу он мог быть уверен, что от него не уйдут ни первые места, ни влияние, какое только возможно в республике для гражданина; забыв все эти благодеяния, забыв все расположение, проявленное к нему, все доверие, ему оказанное, забыв всякое благоразумие и совесть, он мог после этого сделаться другом и советником тирании, стать ее орудием, помочь тирану придавить отечество, перед которым мессер Франческо нес все обязанности наравне с прочими гражданами, и особую обязанность, столь же редкую, как редка оказанная ему честь; для него оказались дороже благосклонность и величие, которые могли дать ему во Флоренции

тираны (нельзя добиться его, не сделав низости, не подвергнув себя опасности, не чувствуя постоянных и горьких укоров совести), чем те отличия, которые он мог получить от свободного города, безопасные, приносящие славу и дающие неиспорченному человеку бесконечную удовлетворенность души.

Не могу вспомнить об этом без огорчения. Я ненавижу твои пороки, меня страшит опасность, грозящая нам всем от тебя, но зла я тебе не желаю; наоборот, помня, что все мы люди и граждане одного отечества, помня наше общение с тобой в прошлые времена, я чувствую скорбь и сострадание к тебе, когда думаю, что твоя природа и злые задатки оказались в тебе так сильны, что все дары, которые я признаю в тебе, дары обильные и великие, ум и красноречие употреблены тобой во зло; имея возможность быть одним из редких украшений нашего города, стоять на вершине славы, быть для каждого желанным авторитетом, пользоваться невиданным благоволением сограждан, ты из плохо рассчитанного и ложного стремления к власти предпочел стать орудием гнета и унижения отечества, врагом всех граждан, сделаться, если можно так сказать, ненавистным самому себе и в конце концов загубить себя в памяти людей.

Однако перейдем к другим его делам.

По возвращении из Испании он был самым милостивым образом принят пришедшим тогда к власти Лоренцо Медичи⁵⁵, которого он никогда не видел, и удостоился от него таких по-

честей и знаков доверия, что-это не без оснований усилило подозрение тех, кто раньше сомневался в том, что мессер Франческо, будучи послом, продал нас и изменил нашей свободе. Он был сейчас же назначен членом коллегии семнадцати, в которой сидели самые близкие друзья Медичи, наиболее ими почитаемые; он получил все отличия, которые мог получить по возрасту, приглашался на тайные советы, куда допускались только самые избранные, причем все были старше его по меньшей мере на двенадцать или на пятнадцать лет; не было просьбы за братьев, родных и друзей, в которой ему бы отказали. Какова была тогда его жизнь, какими средствами сохранил он благоволение и милость тирана,—этого точно знать нельзя; ведь в такие времена все делается обычно не в советах и не всенародно, как это происходит сейчас,—дела вершатся частным образом, в отдаленных покоях, с глазу на глаз, и лучше всего познаются по их последствиям. Можно сказать, что приглашение мессера Франческо по возвращении его из Испании в число ближайших друзей Медичи произошло по ошибке; однако постоянные дальнейшие почести, все новые ежедневные знаки любви и благоволения, явно показывают, что его считали другом и человеком, полезным для тирании, а ни на что другое тиран не смотрит; он занят единственно тем, чтобы проникнуть в мысли людей, и приближает к себе тех, кто покажется ему человеком надежным и желающим его величия. Итак, надо сказать, что Медичи нашли мес-

сера Франческо. Поэтому, пока он был во Флоренции, они не только оказывали ему почести, о которых вы слышали, но очень скоро, без всяких просьб и мыслей о том с его стороны, послали его губернатором в Модену; способствовали этому все и в Риме и во Флоренции, так как, благодаря тем же приемам, он был в милости у всех, особенно у мадонны Альфонсины, дамы, как мы все знаем, ненасытно жадной и честолюбивой, которая его на это место предложила и всегда к нему благоволила. Что каждый любит себе подобного,—это величайшая правда, которая достаточно доказана тем, что мессер Франческо заражен честолюбием и жадностью, а дама эта — настоящий источник и образец того и другого.

От этого начала пошло его величие, почести так на него и сыпались, потому что с каждым днем доверие и милость тиранов к нему возрастали; вскоре он получил управление Реджо и Пармой, был послан генеральным комиссаром с высшей властью на войну против французов; получил наместничество Романьи и в конце концов был вызван папой в Рим, чтобы состоять при нем как бы советником и секретарем; затем он был наместником папы в этой смертоубийственной войне и был облечен такой властью, что казался не слугой, не советником папы, а его сотоварищем, братом, вообще вторым папой. Нельзя поверить, чтобы все это дано ему было с самого начала и разрасталось с каждым днем, по мере того, как его узнавали на деле, если бы его не считали довереннейшим,

совсем своим человеком, деликом преданным тирании; наконец, если эти милости оказывал бы ему кто-нибудь один, можно было бы думать, что дело здесь в каком-нибудь ложном мнении, в сходстве характеров, в совпадении влияний, но когда я вижу, что его любят и принимают все, что он довереннейший человек у всех, у Льва, у Климента, у Джулиано, у Лоренцо, вплоть до мадонны Альфонсины, женщины, как вы знаете, безбожной и бесчеловечной, я уже не обязан верить, что все обмануты, и скажу, что у всех такие же склонности, как у него, что все они одним миром мазаны.

Совпадение характеров, влияний, стремление к тирании, вражда против свободы отечества — вот звено, скрепившее тебя с ними, вот средство, которым ты приобрел такое расположение и милость их; не будь этого, у тебя не было бы главного, чего тираны желают и доискиваются в людях, не было бы первоначальной основы; если бы в тебе не было этих черт, которыми они больше всего дорожат, ты не был бы у них в такой милости, в такой близости, не был бы их вторым я.

Знаю, судьи, что сейчас ответит мессер Франческо с целью затемнить очевиднейшие вещи: он скажет, что Медичи, может быть, и требовали преданности тирании от людей, которых они приближали к себе во Флоренции, но что он служил им за пределами ее, по делам, зависящим от церкви и подвластным им как князьям, а не как тиранам; он будет говорить нам о своем бескорыстии, преданности, о своих спо-

собностях, об опасностях, которым не раз подвергался; он постарается обратить себе во славу и в честь то, что останется на нем вечным пятном и осуждением.

Я сознаюсь вам, судьи, что эта защита могла бы привести меня в ужас и поколебать мою решимость, потому что на первый взгляд она правдоподобна и великолепна; меня укрепляет ваша мудрость, ваше знание вещей, столь глубокое, что вы не позволите обмануть себя видимостью, а захотите проникнуть в самую их суть. Я вам уже говорил, что, как бы человек ни был малоопытен и несведущ в мирских делах, он не может не знать, что тиран прежде всего добивается от гражданина и дорожит в нем одной вещью: он хочет быть уверен, что гражданин любит его власть, что он к ней привязан, а потому тиран неослабно и всеми способами старается докопаться и раскрыть, есть ли в подданном этот дух или нет. И действительно, таковы должны быть его первые мысли и заботы, потому что первая основа и цель его — сохранение тирании. Читайте у Корнелия Тацита, поучительнейшего писателя, как Август до последнего дня, до последнего вздоха своего, уже сокрушенный старостью и недугом, убеждал своего преемника Тиберия помнить о людях, которым нельзя доверяться⁵⁶.

Поэтому тиран не может оказывать милость гражданину и возвышать его, если он не верит в его дружбу и желание сохранить тиранию⁵⁷; ибо, как верно говорил ученику Соломон, согласно преданию о нем, любить и быть уверен-

ным, что ты любим — это вещи взаимные; не может тиран возвышать человека и создавать ему известность, если тот ему не друг, если тиран не уверен, что может на него положиться, если он думает, что гражданин может оказаться ему враждебен. Поэтому в городе, привыкшем к свободе, не может быть вообще ничего среднего. Каждый по необходимости любит свободу или любит тирана; кто любит одно, должен ненавидеть другое; и неверно различие между делами Флоренции и делами церкви, потому что если ты не хотел тирании во Флоренции, ты также не мог хотеть и величия папства; если же ты стремился к одному, то необходимо стремился и к другому, ибо это вещи настолько связанные между собой, что нельзя разрушить одно, не разрушая другого. Если бы тебя не знали и не испытали, тебя оставили бы во Флоренции, как всякого другого, тебе равного. Почему же нужно было необычно тебя отличать, — тем более, что ты человек светский и жепатый, а места, на которые тебя назначали, должны были даваться и обычно даются прелатам? Ты скажешь, что была нужда в таких одаренных и способных людях, как ты; скромная, нечего сказать, защита, и как раз необходимая в подобном собрании, дабы более молодые учились у тебя говорить со скромностью, как подобает истинным гражданам; честолюбие должно сопровождаться дерзостью, и мы не можем гневаться и удивляться, что человек, на котором столько пятен, вдобавок еще надменен; наоборот, если надменность — мать честолюбия,

как это и есть в действительности, то хорошо, что мы видим их вместе.

Я признал и снова признаю, что ты одарен, как немногие, и способен для государственного дела, так что, если бы папа мог выбирать себе советников только из числа граждан одного города, это возражение могло бы еще сойти, да и то не без труда, потому что я считаю тебя хотя одаренным человеком, но вовсе не чудом божьим. Однако папа, может, и привык выбирать себе советников среди людей всякого состояния и народа; около него толпится бесконечное множество людей, добивающихся его милости, и ты слишком превозносишь себя и слишком веришь в наше преклонение перед тобой, если думаешь убедить нас в том, что необходимость заставила папу отнестись с таким презрением к просьбам и честолюбиям всех его придворных, что папа из-за этого решил оторвать от книг и занятий именно тебя, хотя жил ты от него далеко, думал о других вещах, ничего не знал о церковных делах и никакого опыта в них не имел. Поэтому, прошу тебя, брось эту защиту, тщетную, дерзкую и способную скорее обнаружить твою природу и неумеренное мнение твое о самом себе, чем дать нам какие-нибудь указания на твои добродетели или уменьшить в чем-нибудь наши подозрения.

Однако зачем я трачу столько времени, зачем без нужды строю догадки, как будто я не могу сослаться на вещи, говорящие сами за себя, на доказательства точные и неопровержимые и даже не на одно, а на несколько. Скажи мне,

разве не известно, что после смерти Лоренцо кардинал Медичи, нынешний папа, утвердившись во главе правительства Флоренции, хотел оставить тебя здесь, сохранив за тобой управление, и взять тебе в заместители брата твоего Луиджи? Он хотел этого не даром и вовсе не для того, чтобы ты служил по делам церкви и папства,— он хотел иметь в тебе слугу, который бы охранял его могущество, которому он мог бы доверить все тайны тирании. Все хорошо знают, как он на тебя рассчитывал; сношения ваши раскрыты, хотя они окружены были тайной; известно его намерение с тобой породниться; если он не оставил тебя при себе, это произошло не потому, что все сказанное мною неправда, а потому, что началась война, и он хотел воспользоваться тобой в делах, всего более важных для его власти.

Затем смерть папы, другие события и, наконец, избрание кардинала папой изменили эти намерения. Скажи мне еще, разве ты, сидя в своих покоях в Риме, не слыхал о делах Флоренции и не распорядился ими, как другими? Ведь ничто важное здесь не решалось, а все отсылалось в Рим, и оттуда получали мы законы для всего, даже по самым ничтожным делам. Как же можешь ты после этого отрицать, что папа, в сущности, так же доверил тебе дела Флоренции, как и все другие, и как можешь ты верить, что, пользуясь тобою столько лет в таких больших и разнообразных делах, он не имел тысячу раз случая узнать тебя с головы до пят и не избрал тебя вернейшим орудием своей тирании.

после того, как испытал тебя и понял, что ты для этого годишься?

Подойдем, наконец, к тому, что мы видели все, чему свидетель весь этот город, на что мы все смотрели тогда глазами, полными слез, с отчаянием в душе, о чем мы вспоминали с несказанным желанием мести. Кто в день святого Марка отнял у нас наш дворец? Кто лишил нас вновь обретенной нами свободы? О, дни, о которых никогда нельзя вспомнить без слез! О, дела, которые должны остаться в памяти и явить нам пример, который будет жить так же долго, как камни этого города и как память о нем! О, гражданин, если ты только заслуживаешь это название, более страшный и губительный для нашей республики, чем Алкивиад в Афинах, Сулла или Цезарь в Риме! Те раздавили свободу уже стареющую и умиравшую,— ты же уничтожил нашу свободу в тот день, когда она родилась и воскресла; те, побуждаемые какими-нибудь несправедливостями и опасностями, враждою против других соперников, хотели захватить власть над городом,— ты же, которого никто не притеснял, кого все прославляли и чтили, продал в рабство отечество, себя и каждого из нас; те увлекли за собой часть города и многих, хоть и дурных граждан, но все же граждан, угнетая с ними других,— ты же, один во всем отечестве нашем, надел каждому на шею ярмо.

Не было в этом городе человека какого бы то ни было состояния и возраста, который бы не стремился во дворец, вплоть до тех близких друзей Медичи, которые или не хотели отли-

чатся от всех, или не решались противопоставлять себя другим; верховный магистрат, во главе которого стоял твой брат, законным и обычным порядком, установленным в этом городе, объявил Медичи бунтовщиками; каждый сам по себе был от этого в восторге, а все вместе несказанно поздравляли друг друга; старые люди плакали от безмерной радости, юноши так и прыгали, все были вне себя от счастья. Все в один голос говорили: мы вернули нашу свободу, мы воскресли душой, мы живы, свободны, мы больше не в рабстве, мы теперь не невольники, мы вышли из тьмы, мы ушли из Египта. О, радостный день, вечно памятный, когда бог, наконец, посетил народ свой! Среди этого шума и стечения народа, среди этого всеобщего веселья солдаты рассеялись, а Медичи, готовясь к бегству, уже садились на лошадей, причем маркиз Салуццкий считал, что надо пустить их на все четыре стороны, а герцог урбинский⁵⁸ думал, что их надо подхлестнуть; один ты остановил крушение, поднял дух тиранов, собрал солдат, упрашивал синьоров и всех. Ты явился на площадь, как вождь, как гроза для всех; простодушный и безоружный народ, годный больше для торговли и мира, чем для боя, не мог устоять против такого натиска, бороться против такого яростного нападения, драться с вооруженными людьми и бойцами; поэтому ты прогнал его с площади и вернул Медичи господство. Не останавливая своего злого дела, ты сейчас же повел войска к дворцу, в котором воплощено величие города,

к дворцу — хранителю законов, месту, где заседают все коллегии, твердые и основе свободы и нашей славы, к дворцу, по малейшему знаку которого повиновался и смирялся всякий гражданин, даже самый надменный и высоко стоящий, по голосу которого люди преклоняли колени и трепетали даже камни; почтение к этому месту заставило бы и тебя упасть на колени и затрепетать, если бы ты был гражданин и человек, а не зверь и не чудовище, если бы не было в тебе твердости камня, жестокости тигра, зависти Люцифера; мало тебе было окружить дворец, но ты отнял его у нас не силой, а предательством, обманом, коварством и изменой.

Вспомните, как он, получив наше согласие на переговоры, пришел с синьором Федерико; он предрек нам бесконечные опасности, явную гибель нашу и всего города; ведь против нас столько латников, пушек и пехоты; народ частью разогнан, частью вооружен в пользу Медичи; каждое слово его было насыщено лживыми угрозами; лицо пылало, глаза смотрели дерзко, слова дышали гневом, он весь горел; мы поверили, что в нем говорит преданность городу, желание избавить нас от опасности; мы подумали, — он вспомнит, что он флорентинец, что он близок по духу братьям, родным, всем родственникам, всей знати города, находившейся здесь. Когда начались волнения, мы написали ему, прося его прийти на помощь отечеству и привести с собой для спасения нашего войска, которым мы же платили; мы не знали, что под образом человека кроется столько злобы, столько

яда; мы думали, что в этом теле заключена душа, а не дьявольский дух. Мы верили не синьору Федериго, так как знали, что он чужой и что раз он не любит свое отечество, то не может любить и наше; мы верили тебе, мы уповали на тебя, полагались на твои пышные слова и клятвы. Ты убедил нас в том, что имеются опасности там, где их не было, что приготовления огромны, когда они на деле были ничтожны, что народ истреблен или восстал, что спасение наше только в близости ночи; ты так старался, что мы поддались твоим обещаниям, хотя ты сам знаешь, как они соблюдались; ты убедил нас покинуть дворец, вновь согнуть шею под ярмом, отчаяться на вечные времена, и только бог чудом спас нашу свободу. Вот все твои дела, вот как ты прекрасно показал себя в этой войне, вот твой триумф, о, гнусный враг отечества! Оно не может простить тебе такие злодеяния, и не простил бы их и отец твой, если бы только был жив.

Можно ли после этого еще спорить о том, друг ты тирана или нет? Все так явно, что говорить больше не о чем; в каждом движении, во всех твоих делах и поступках — одно только безмерное честолюбие; ясно как день, что ты не можешь спокойно жить частной жизнью, что ты жаждешь вернуть утраченное величие и что ты готов ради этого на все. Все эти стремления твои меня бы не заботили, если бы я думал, что ты можешь добиться своего без восстановления Медичи во Флоренции. Нери ди Джино⁵⁹, заключая с графом Поппи⁶⁰ на мосту через

Арно условие, по которому граф покидал свои владения, говорил ему: я хотел бы, чтобы ты был великим государем, но только в Германии. Твои доходы, громкое имя, пышные титулы, хотя бы ты был властителем, а не наместником Романьи, советником и руководителем всех пап, какие есть и будут,— все это меня мало тревожит, лишь бы ты мог этого добиться, не делая нас рабами. Но папа Климент не может больше ни возвыситься, ни вернуть прежние церковные владения, сейчас, как вы знаете, разграбленные и разоренные, если он не вернется к власти во Флоренции и не сможет больше воевать на наши деньги; наконец, даже если бы для папы одно без другого было возможно, оно немыслимо для тебя, ибо ты можешь быть уверен, что город, ревниво защищающий свою свободу и научившийся по примерам прошлого разгадывать будущее, никогда не позволит ни тебе, ни другим гражданам поступать на папскую службу; он никогда не согласится, чтобы вы общались с тем, кто дни и ночи только о том и думает, как бы снова надеть на нас ярмо, под которым его предшественники и он сам заставили нас изнывать столько лет по милости дурных наших граждан. Итак, раз ты не можешь иными путями достигнуть цели, в которой ты видишь высшее благо, кто же станет сомневаться, что ты хочешь и должен готовить рабство отечества и вообще добиваться всего, что поможет тебе в твоих замыслах? Скажу больше, судьи: по тем же причинам, к которым надо еще прибавить его интерес и надежду на папу,

нет сомнений, что он хочет власти Медичи во Флоренции; ведь мы видели, что он склонялся к этому еще раньше, чем уехал в свои наместничества; он не привык к равенству и гражданственности, он воспитан на тиранических мыслях и поступках, он не знает любви к свободе и славе, которой может достигнуть гражданин в свободном городе, не знает удовлетворенности и плодотворности частной жизни, протекающей в спокойствии душевном, в любви и благоговении к тебе твоих сограждан.

Но, может быть, кто-нибудь переубедит вас и в уме вашем, судьи, появится такая мысль: все это неоспоримо верно, и нельзя не признать, что человеку с испорченным желудком никогда не понравится никакая пища, кроме той, к которой он привык за всю свою жизнь; одно бессильное желание неважно, и не надо считаться с его дурными намерениями, раз он не в состоянии их осуществить; каково бы ни было его прошлое, мессер Франческо сейчас частный гражданин, подвластный законам наравне с самым ничтожным человеком в городе, у него больше нет власти ни над войсками, ни над народом, которому он мог бы приказывать, а потому в чем же он может нас угнетать? Это безмерное честолюбие, эта жажда величия способны скорее заставить его жить в постоянных терзаниях и муках, чем удовлетворить его порочную алчность; это кара для него, а не опасность для нас. Не дай мне, боже, навлечь на себя сразу укоры, опасность и вражду, но я скажу, что тот, кто так думает, ошибается, по-

тому что в мессере Франческо сочетаются многие особенности, о которых необходимо тщательно подумать.

Прежде всего у него, как вы знаете, много родственников и друзей в городе, а сам он очень влиятелен в округе; он долгое время вершил крупнейшие дела, и поэтому у него есть имя и много дружеских связей за пределами Флоренции; его знают при дворах всех властителей, он опытен в политике, в нем соединяются дар речи, смелость, ум и многие свойства, которые, если бы он был добрым гражданином, были бы так же полезны отечеству, как они опасны для него сейчас. Свобода наша молода; город еще далеко не единодушен, умы многих граждан колеблются; правительство, как это неизбежно бывает вначале, до сих пор еще скорее в разброде, а не в силе; все кругом изменчиво и внушает подозрение. Нам надо страшиться не тирании частного человека, а власти папы, который сейчас как будто сокрушен, но может в любую минуту воскреснуть; в итальянских делах царит смута, какой не было тысяча лет. Вообще, нельзя нам довольствоваться тем, что мы видим мир, каков он сейчас,— надо помнить, что в любую минуту могут наступить самые разные события, которые неизмеримо увеличат трудности, сомнения и опасности. В таком состоянии, когда все кругом так неясно и сомнительно, слаб и неопытен тот, кто не понимает и не видит, как опасно иметь в своем доме врага, у которого есть сторонники здесь и имя во вне, которому поверят, хотя бы он обещал

больше, чем может сдержать; который достаточно смел, чтобы пойти на переворот, достаточно умен, чтобы его подготовить, умест убеждать людей словом и пером и, наконец, доведен до того, что дни и ночи думает только о том, как бы восстановить тиранию и задушить нашу свободу.

Ни по опыту, ни по влиянию нельзя сравнить с мессером Франческо людей, прогнавших гонфалоньера в 1512 году; тогда казалось, что тираны истреблены, что город, как и сейчас, дорожит народным правлением, которое было много лучше устроено и куда крепче, чем теперь; итальянские дела стояли гораздо вернее и прочнее; если при всем этом неопытные и мало кому известные юноши⁶¹ могли так легко сбросить правительство, если малое семя дало такие смертоносные плоды, потому что никто о нем не подумал и не позаботился, чего же не сделает такой человек, как мессер Франческо с его способностями, влиянием и умением пользоваться случаем! Как разрастется этот тополь, корни которого уходят так глубоко, а ветви раскинуты широко? Ведь в 1512 году никак нельзя было подумать, что нашей свободе грозит опасность,— так крепки были ее корни и основы: у нас был гонфалоньер, человек безупречной жизни и любимый народом, Большой совет, существовавший уже так давно, правительство, которое нравилось почти всем и не внушало страха никому, потому что к нему все давно привыкли, а перевороты уже изгладились из памяти.

И действительно, свобода не могла бы погибнуть и никто бы ее у нас не отнял, если бы мы во-время оценили опасности и приняли меры с самого начала, если бы чрезмерная мягкость или слишком большая уверенность не привели нас к тому, что мы оказались слишком небрежны или слишком нерешительны; у Пьеро Содерини, судьи, было много качеств, много прекрасных добродетелей, делавших его достойным столь высокого положения: осмотрительность, ум, большое красноречие, богатый опыт, честность и бескорыстие, выше которого и желать ничего нельзя; величайшая осторожность, как в том, чтобы не обижать других, так и в том, чтобы не позволять своим обижать себя, необычайная ревность и бережливость к общественными деньгами, любовь к свободе и народу, как к самому себе; это был самый добрый и терпеливый человек, самый преданный католик, до своего избрания гонфалоньером много потрудившийся для родины; его знали во всей Италии, к нему благоволили во Франции, от которой тогда зависели наши дела; это человек знатного и почитаемого рода, отец и братья его были украшением города, сам он благородной и видной осанки, детей у него не было; он стоял в стороне от всех раздоров и волнений того времени. В нем сочеталось так много даров природных и случайных, что когда его выбрали гонфалоньером, радость была несказанной, а ожидания были еще больше; нет сомнения, что он оказался бы достоин надежд, возлагавшихся на него, если бы к столь обильным

дарам судьбы, тела и духа прибавилось одно единственное качество — умение быть более подозрительным и не доверять дурным гражданам или бóльшая решимость обезопасить себя от людей, которым он не верил. Он же верил, что в других людях живет та же доброта, как и в нем, или считал несправедливым преследовать кого-нибудь по одним подозрениям, пока заговор не открыт или пока дело не зашло так далеко, что притворяться дальше было бы уже невозможно; может быть, он думал, что трогать граждан для города невыгодно и опасно лично для него, но он ничего не предпринял с самого пачала, не лечил болезни, когда это было легко, позволил ей разрастись до того, что, когда он вздумал действовать, было уже поздно. Его небрежность, терпение или ничтожество — вот причина того, что сам он умер в изгнании и что нас пятнадцать лет продержали в такой жестокой, обидной и унижительной неволе. В его времена произошло не мало таких событий, что стоило бы во-время пресечь хоть одно из них, и наша свобода была бы утверждена навеки; ведь кара, постигающая одного, полезна не только тем, что устраняет замышляемое им зло, а гораздо больше примером, потому что страх заставляет других, ему подобных, воздерживаться даже от мысли злоумышлять против государства.

Филиппо Строцци⁶², — имя которого я называю не из ненависти и не с тем, чтобы его оскорбить, так как я ему друг и, как, вероятно, хорошо известно, многим ему обязан, — Филиппо

Строцци, будучи еще отроком, женился на Клариче, дочери Пьеро Медичи. Друзья свободы подняли из-за этого большой шум и доказывали, какой дурной пример подается тем, что наш гражданин без разрешения или общественного согласия породнился с семьей бунтовщиков, стремившихся к тирании; говорили о том, как опасно допускать браки с лицами могущественными и знатными, как вредно, если другие тоже вздумают теснее с ними сблизиться и перестанут вести дела друг с другом; невероятно, чтобы такой мальчик отважился на все это сам,— надо думать, что его уговорили и подстрекнули другие, которые, видя наше долготерпение, с каждым днем делали все смелее и только тем и занимались, что расчищали путь для возвращения Медичи. С другой стороны, ссылались на лета юноши, на то, что подобные замыслы с его стороны невероятны, на то, что закона, запрещающего такие браки, нет, а есть только древний статут, налагающий за это очень легкую денежную пеню; говорили, что здесь нет никакого заговора, никакого злоумышления против государства, а есть обыкновенный брак, заключенный по легкомыслию или по жадности, подготовленный монахами и тому подобными людьми, а вовсе не гражданами, что разговоры о чьем-то подстрекательстве и о более широкой основе дела — только догадки и клевета на людей, совсем неприличная в таких важных случаях; уголовные дела надо судить по законам, а не по предположениям; здесь нет преступления против государства, а есть лишь

нарушение статута, притом настолько неясного по букве, что его можно толковать как угодно. Поэтому надо, как полагается в случаях сомнения, применять закон в более мягком смысле и оправдать Филиппо, а если уж прибегать к суровости, его можно осудить только на основании того же статута; увеличить кару было бы тиранией, отвратительной в свободном городе, где люди и власти должны жить и судить по закону. Чего же больше? Все эти прекрасные слова обманули и неопытных, и гонфалоньера по благодушию его природы; таким образом, Филиппо был присужден к легкому взысканию⁶³, а через несколько месяцев и совсем восстановлен; если бы речь шла о преступлении против государства, как это было необходимо, наказание устрашило бы других, а безнаказанность придала им храбрости и вовсе их распустила; дело, которое могло стать основой защиты свободы, было началом ее гибели.

Все вы знаете Бернардо Ручеллаи, гражданина знаменитого по своей образованности, уму, опытности и замечательному знанию дел, но более честолюбивого и беспокойного, чем это полагается в свободном городе. Он много лет был врагом Медичи; и он, и его сыновья не мало помогли их изгнанию; потом из вражды к Пьеро Содерини, которого он не взлюбил еще до избрания в гонфалоньеры, или по свойствам своей природы, не мирившейся с равенством, он изменился и стал думать об их возвращении. Началось с того, что он стал прибежищем для недовольных, развратителем юношей, которые

легко поддаются злу, окрашенному в цвет добра. В садах его образовалась как бы академия, сюда сходились ученые, юноши — любители книг, здесь говорили о науке, о многих прекрасных вещах. Бернардо слушали как сирену, так как это был всеми уважаемый и красноречивейший человек, и с виду здесь не было решительно ничего предосудительного или наказуемого; однако и природа этого человека, и его знаменитость, и стечение такого множества недовольных и юношей — все это пугало людей, смотревших на дело глубже; многие мудрые настаивали на том, что надо действовать заранее, и утверждали, что нельзя терпеть человека влиятельного, честолюбивого, недовольного и имеющего сторонников; они говорили, что в политике надо пресекать зло вначале и в корне; козни и заговоры, особенно подготовленные людьми осторожными и опытными, не легко доказать и раскрыть, и нельзя ждать, пока каждый о них узнает; необходимо их предупредить и спасти всех, покарвав одного или двух. С другой стороны, говорили, что нехорошо думать о людях дурное, пока это не обнаружено опытом; невыгодно озлоблять знаменитых граждан; если без нужды проливать кровь или изгонять, получится только зло; мало одних подозрений и догадок, — нужно искать очевиднейших доказательств, которые были бы наглядны; иначе можно только напугать всех, и никто не поручится, что люди, вовсе не думающие о переворотах по своей гражданской добродетели или потому, что не хотят подвергать себя опасности,

не начнут замышлять их со страху или по необходимости. К этому мнению склонялся и гонфалоньер по своей недоверчивости или по малодушию. С отъездом Бернардо было бы вырвано растение, источающее яд, убийственный для нашей свободы, а наше терпение дало ему возможность сплотить и объединить недовольных, расшатать умы множества юношей, так что из его садов, подобно рассказам о троянском коне, вышли заговоры, возвращение Медичи, и отсюда же начался пожар, испепеливший этот город; в конце концов все раскрылось, так что всякий мог об этом знать, но раскрылось в такое время, которого предвидеть не мог никто.

В таких случаях, судьи, люди всегда защищаются одинаково; поэтому не думайте, что мессер Франческо и его защитники сознаются в заговоре или в том, что они замышляют возвращение Медичи; он не скажет, что от вашего милосердия зависит простить его на этот раз, что полезно привлечь этим благодеянием его самого и его родных, что этот пример вашего милосердия, доброты и мягкости обяжет перед вами на вечные времена множество людей, которые боятся сейчас зависти или гнева. Ничего этого сказано не будет, потому что такие вещи говорятся отцам, а не судьям.

Будут говорить, что мессер Франческо живет честной жизнью, что никто не знает за ним ни одного подозрительного поступка, что в его поведении нет ничего заслуженно внушающего недоверие; он унижен, насколько это

вообще возможно, и непонятно, почему мы хотим видеть зло там, где легко могло бы оказаться добро. Он столько вынес, столько раз был в опасности, что нет ничего удивительного, если он сейчас любит покой и хочет насладиться плодами своих трудов; не следует без самых важных причин создавать себе за пределами Флоренции врага в человеке, которого можно иметь другом у себя; если его осудят по одним только подозрениям, то многие прежние друзья Медичи начнут опасаться того же; многочисленная знать придет в отчаяние и постарается силой ненависти погубить власть, которая могла быть крепка благоволением. Будут говорить это и многое другое, так как защитники зла обычно более изобретательны, чем ревнители добра; все эти доводы, судьи, по видимости прекрасны, привлекательны, любезны, выгодны и безопасны, а на деле они скверны, коварны, опасны, ядовиты, и обязанность ваша — вспомнить и затвердить в своей памяти, что мессер Франческо благодетельствован Медичи не в пример другим, что он всегда был их орудием и советником, что он недоволен до крайности и хочет, чтобы они вернулись; он честолюбив, он лишился благодаря падению Медичи величайших почестей и выгод, которые надеется вернуть, если они снова возвысятся; он не может примениться к частной жизни, к мысли, что он равен людям, на которых привык смотреть сверху; он так оскорбил весь народ, особенно захватом нашего дворца и уничтожением только что обретенной свободы, что должен всегда ждать себе кары, и во вся-

ком случае изверился в том, что может получить какую-нибудь власть при свободном строе; мысли, намерения, поступки, дела его таковы, что их нельзя ни оправдать, ни прикрасить, и нет никакого сомнения, что он кстати и некстати только о том и старается, чтобы уничтожить вашу свободу, в которой он видит для себя одно наказание, бесчестие и рабство.

Вы, судьи, обязаны твердо это запомнить, и чем настойчивее будут слова, доказательства, заискивания, просьбы, убеждения, восклицания и угрозы, тем тверже должно это запечатлеться в вашем сердце, в мыслях и в душе. Надо помнить, кроме того, что в делах о заговорах и происках против государства нельзя поступать, как в частных или менее важных делах общественных; все прочие проступки считаются таковыми, когда они обнаружены, и наказываются, когда они совершены; не наказуются ни воля к ним, ни покушение, которое не перешло в дело. Только преступления против государства по важности своей считаются таковыми раньше, чем о них становится известно, и преследуются раньше, чем совершены; карается не только виновник или покушавшийся, но и тот, кто хотел или соглашался на них, и даже больше — тот, кто о них только знал.

Во времена наших предков отрубили голову мессеру Донато Барбадори за то, что он знал о заговоре и не раскрыл его; в наши дни за то же самое казнили Бернардо дель Неро; введено это не только вашими статутами, но и общими законами, изданными мудрыми основателями

республик, которые при этом думали скорее о том, чтобы не допустить таких преступлений, чем о мести; поэтому они ввели в дело расследования и наказания много необычного, побуждаемые одинаково чувством справедливости и благоразумием; ведь это преступление против родины, которой мы больше обязаны, чем родным, чем отцу, чем самим себе. Законы установили жесточайшую казнь для отцеубийц; насколько же худшую казнь заслуживает убийца родины, с которой мы соединены более крепкими узами, так что, оскорбляя ее, оскорбляют не одного, а бесконечно многих; жизни лишается тогда не один человек, которому оставалось всего несколько лет, а отечество, которое могло жить долгие годы, а может быть, и вечно. Другие преступления легко могут быть наказаны, когда они совершены, ибо живы служители закона. Когда же рушатся государства, когда подавлена свобода, виновный в этом, мало того, что может не бояться кары за содеянное им зло, властен еще угнетать и тех, кто делал всегда одно только добро. Другие преступления обособлены, это — всеобщее; при других преступлениях наказание хоть и не искупает ущерб, но дает удовлетворение, равное обиде или немногим ей уступающее; но что такое казнь злодея, похитившего свободу, по сравнению с бедствиями и разрушениями, происшедшими по его вине? Поэтому для преследования этого преступления со всей строгостью не нужно улик или достаточно самых легких; для наказания не нужно преступления, — достаточно, если

кто-нибудь его хотел или знал о нем; чтобы схватить человека, довольно одного подозрения, достаточно знать, что он на такое дело способен и может воспользоваться случаем.

Так поступали всегда те, кто был больше и мудрее нас, те, доблести которых мы можем больше удивляться, чем постигнуть ее рассудком. Так поступили в Риме, когда, после изгнания Тарквиниев, у них отняли все, уничтожили заговор знатнейших юношей, желавших их вернуть, утвердили свободу посредством многих хороших законов и учреждений; римлянам казалось недостаточным наказать виновных, устранить подозрительных, принять меры заранее против всего, что при малейшем признаке опасности могло бы быть вредным не только делом, но и примером; они сочли, кроме того, необходимым уничтожить всякую власть, которая могла бы показаться опасной для свободы, и предпочли навлечь на себя обвинение в излишней ревности, чем допустить даже намек на небрежность. Поэтому они изгнали Люция Тарквиния⁶⁴, родственника царей, хотя тот был их заклятым врагом: ведь прелюбодеяние и насилие, за которое были изгнаны Тарквинии, совершилось над его женой, и такое оскорбление побудило его одним из первых открыться Бруту, чтобы изгнать их; любовь его к свободе была всем известна, и он вместе с Брутом выбран был консулом. Однако римляне считались больше с пользой, которую, по их мнению, должно было принести республике уничтожение самого имени тиранов, искоренение самой памяти о них в го-

роде. Они предпочли поступить несправедливо с одним гражданином и воздать злом тому, кто едва ли не первый помог им освободиться; это было правильно, так как надо больше считаться с безопасностью всех, чем с благом одного.

В Афинах, обучивших не только всю Грецию, но и многие чужие народы наукам, мудрости и искусствам, суд над злоумышленником против свободы был скор и суров, но кроме того они считали опасным позволять жить в городе людям, которые своей знатностью или многочисленной родней, чрезмерным богатством или известностью как будто оттесняли других; они находили, и это величайшая истина, что настоящие друзья свободы — это граждане средние и незначительные, что те, кто удаляется от среднего состояния и приближается к величию, скорее ищут случая угнетать других и вовсе не думают о равенстве; что безопасность республики требует удаления не только тех, кто не хочет свободы, но всякого, кто может ее попортить. Поэтому у них был закон, по которому все граждане каждые десять лет подвергались голосованию в народном совете, и тот, кто получал больше голосов, осуждался на изгнание; таким образом, изгонялся не тот, кто злоумышлял против республики, потому что такие дела ведались общими судами, — изгонялся человек, который стал выше и был известнее других, а такими часто были люди, создавшие себе имя доблестью и трудами и подвергавшие себя опасности ради отечества. Мудрые правители республик всегда знали, что у свободных

государств много врагов, что им всегда грозит много опасностей, а защитники по сравнению с нападающими малочисленны и прохладны; поэтому, чтобы сохранить свободу, необходимы крайнее внимание и бдительность, нельзя ждать, пока зло разрастется и окрепнет, а надо бороться с ним с самого начала, у истоков его, вырывать растения слишком роскошные, которые только глушат другие, устранять не только подозрительное сейчас, но все, что может когда-нибудь внушить подозрение в будущем, наконец, из жалости к одному не быть жестоким в деле спасения всех. Однако зачем же мне искать примеров у чужих, когда я могу найти их у нас!

Во времена наших предков мессер Корсо Донати⁶⁵, доблестный и прославленный гражданин, сделавший больше, чем кто бы то ни было, для правительства, находившегося у власти, женился на дочери могущественного человека, Угуччоне делла Фаджола, чужеземца и главы партии, возбудив этим подозрение, что он стремится захватить власть; предки наши, люди по-настоящему мужественные, по-настоящему мудрые, не сочли нужным в этом случае наблюдать за его действиями, трудиться над выяснением спора, имеется ли здесь обычный брак или он заключен с умыслом произвести в городе переворот. Они знали, что вещи, затаенные в душе, открываются не легко, что откладывать решительные меры иногда бывает опасно, что по закону подозрения имеют иной раз силу доказательств даже в частных делах, а не только

в деле такой огромной важности. Поэтому, как только поднялась тревога, против Корсо Донати в один и тот же день начали дело, возбудили обвинение, вызвали его на суд и приговорили; более того, весь народ, вооружившись, сейчас же бросился к его дому, чтобы вести его на казнь, и только тогда поверил, что свобода спасена, когда увидел, как волокли по улицам его изрубленное тело.

Если бы в нас был разум этих мудрых республик, если бы мы обладали силой и благородством души наших дедов и прадедов, если бы мы действительно ревновали эту невесту нашу, как было бы должно и как учил нас давний опыт, мы в таком отвратительном и ужасном деле, в деле, достойном такого осуждения, подающем пагубные примеры, поступали бы с меньшей осторожностью и не стали бы так долго выжидать. Не тратилось бы столько усердия, чтобы найти доказательства и допрашивать свидетелей; не стоял бы здесь праздничный народ, как будто ему нечего делать, а надо слушать речи и выжидать исхода суда; не позволили бы защищаться по установленным законам тому, кто был всегда врагом законов, не дали бы наслаждаться благами свободы тому, кто всегда хотел ее уничтожить; никто, мессер Франческо, не стал бы слушать твою речь, которой ты всегда пользовался, чтобы не дать никому возможности говорить, не позволили бы тебе защищаться здесь, на этой площади, откуда ты с такой жестокостью изгнал вооруженной рукой флорентийский народ, тебе не раз-

решили бы оставаться в этом дворце, столь преступно отнятом тобой у наших граждан ложью и обманом. В тот же день, когда ты после изгнания Медичи дерзко и вопреки всем вернулся из лагеря в этот город, и даже не в тот же день, а в тот же час, народ яростно побежал бы к твоему дому; он растерзал бы тебя и этим исполнил бы приговор, который ты уже так давно заслужил, приговор, написанный на твоём челе; глаза всех насытились бы самым добродетельным, справедливым, желанным, долгожданым зрелищем, какое видел когда-либо этот город, и кровь твоя была бы достойной жертвой свободе и нашему отечеству. Пусть бы синьория, по крайней мере, велела выбросить тебя из окна на улицу, когда ты, забыв содеянное тобой, несколько дней тому назад осмелился по неосторожности или по надменности войти во дворец! Пусть не допустили бы тебя сойти по тем ступенькам, по которым ты с такой бодростью поднимался, готовясь отнять у нас вновь завоеванную свободу! Такими средствами утверждаются республики, так показывают примеры, остающиеся на долгие годы в памяти людей.

Во время моей юности, когда народ волновался из-за фра Джироламо, Франческо Валори⁶⁶, гражданин добрый и высокопочитаемый, направляясь по приказанию синьории из дома своего во дворец с одним только жезлоносцем впереди, был убит по дороге родственниками Никколó Ридольфи и другими, которые усилиями его были незадолго до этого осуждены

по делу о заговоре в пользу Пьеро Медичи. Мы же, целый народ, не осмелились теперь ради нашего спасения справедливо покончить с преступником, тогда как у нескольких частных людей хватило духа несправедливо убить такого доброго и знаменитого гражданина; надо ли удивляться, что так часто находятся люди, которые стараются уничтожить нашу свободу, что они каждый день строят козни и заговоры, если мы оставили в живых человека, который так явно и всенародно нас угнетал; мы не только сохранили ему жизнь,— мы позволили ему пользоваться благами родины, гражданственностью, всеми благодеяниями и законами свободы, как пользуется ими тот, кто эту свободу утверждал. Раз это так, посмотрим, не захочет ли он сейчас защищаться по-иному.

Он сам или другие за него, притворяясь сторонниками республики, будут напоминать вам о том, как вредно изгонять граждан, потому что такие долголетние изгнанники всегда опасны для города и подстрекают против него других властителей. Он скажет, что легче привлечь граждан на свою сторону благодеяниями, чем истребить их карами, а потому полезнее, чтобы они были друзьями здесь, чем врагами во вне; положение, в котором он очутился, доведет многих до отчаяния, если они каждый день будут бояться за себя, а оправдание его успокоит всех и утвердит колеблющихся друзей; если он увидит, что этими доводами ничего не добьешься, он постарается добиться своего просьбами, призывами к милосердию и состра-

данию. Он будет кричать о своих несчастиях и о преследовании, приведет тысячу примеров вашего великодушия, будет просить вас не менять своей природы, не вводить новых обычаев, не вступать в разлад с самими собой, с богом, примером и источником милосердия.

Ко всему этому можно было бы прислушаться, если бы оставалась надежда, что ты станешь теперь непохож на себя или что эта милость не приведет к полной гибели города; так можно было бы поступить, хотя грехи твои неисчерпаемы; они несравнимо тяжелее всех грехов, совершенных гражданами этого города за столет, и не подобает пользоваться примерами милосердия человеку, который прошел все степени порока. Однако я, обвинитель твой, готов был бы поднять голос за тебя и погрешить ради тебя, и просьбы мои были бы не менее горячи, чем обвинения. Я сделал бы это ради твоих родных, ради прежней дружбы с тобой, ради заслуг твоего отца; но если ты неисправим, если это великодушие, к которому ты взываешь, окажется жестокостью к отечеству, кто же не поймет тогда, что ради твоего спасения нельзя губить нас?

Дела прошлого, принесшие нам столько вреда, должны предостеречь нас на будущее время, и если людей не научил разум, их должен был бы научить опыт. Мы должны были бы перестать путаться в словах, знать, что есть разница между добротой и дряблостью: одна сохраняет добрых, другая прощает злым. Отцы наши в 1494 году оказали это милосердие

друзьям Медичи, простили им все прошлое, возвысили их без различия; от этого они не переменились; наоборот, это дало им смелость начать сызнова, в надежде на то, что этот пример обеспечит им такую же безнаказанность, а кончилось это уничтожением нашей свободы; милосердие привело к тому, что нас снова затоптали, и мы вновь оказались во власти фараона. Если мы сейчас поступим так же, последствия будут те же, но к большему позору для нас; счастлив, кто учится за счет других, безумен, кто учится за свой. К чему ведут эти примеры, если не к тому, что они дают дурным гражданам смелость злоумышлять, и у тиранов поэтому никогда не переводятся сообщники и слуги? Кто не захочет быть другом тиранов, если это доставляет, пока они во Флоренции, выгоду и силу? А когда тираны в изгнании, друзья их отделяются тем, что в течение нескольких месяцев им вслед кричат ругательства, не оказывающие действия, или им приходится раз или два заплатить на несколько десятков дукатов больше налога. Все другие города стараются сделать так, чтобы граждане не стремились к восстановлению тиранов, не ухаживали за ними и с ними не няньчились, если тиран находится в городе. Мы же делаем все наоборот, потому что, когда тираны далеко, мы только и стараемся открыть им городские ворота и вернуть их обратно, а если они здесь, мы только думаем, как бы ворота закрыть, чтобы они не ушли. Это не милосердие и не великодушие; это разложение правитель-

ства, это расшатывание порядка, это жестокость к самим себе. Когда у нас нет свободы, мы ничего, кроме нее, не хотим, только о ней думаем и вздыхаем; когда она у нас есть, мы совсем забываем о том, что надо ее беречь.

Вспомните, судьи, как долго и трудно тянулось для нас это время нашего рабства; вспомните, как мы молились и плакали, сколько раз давали обеты вернуть себе свободу; вспомните, что не добродетели и дела наши, а сам бог чудом ее восстановил. Когда мы брались за оружие во имя свободы, оно падало у нас из рук раньше, чем мы успевали его поднять; когда казалось, что мы смяты и придавлены до конца, бог, повторяю, чудом вернул нам свободу, и он сделал это не для того, чтобы мы снова ее упустили; не для того дал он нам возможность оберечь свободу, чтобы мы по дряблости своей ее потеряли. Не будем искушать господа, не дадим ему отвратить от нас взор свой; не всегда хочет бог творить чудеса; он хочет, чтобы люди помогали себе сами. Хорошо! Простите мессеру Франческо, если вы только уверены, что по природе своей он впредь не будет так же вреден, как раньше, и что милосердие ваше еще больше не утвердит его во зле. Остерегайтесь слишком пугать или доводить до отчаяния друзей Медичи, если вам не известно, что они неисправимы и что безумие пытаться упрямить тех, кого надо скрутить. Когда врачи, долгое время лечившие больного холодными примочками, видят, что это средство не помогает, они меняют лечение и

начинают согревать ему кровь. Сколько раз мы хотели оздоровить город великодушием и милосердием: мы видим, что больному от этого всегда становится хуже, поэтому надо применить строгость и суровость. Пугать друзей Медици — меньшее зло, чем придать им храбрости; пусть они лучше потеряют всякую надежду, чем слишком надеются; лучше и вернее удалить за пределы города тех, кто был бы опасен внутри. Я хотел бы, чтобы мы могли свободно разрешить всякому жить в нашем городе; однако из двух зол надо выбирать меньшее, и если враг во вне тебя пугает, то враг внутри — тебе вредит. Вы слышали о преступлениях мессера Франческо, признали их гнусными, неслыханными и невиданными, согласились, что такие вещи трудно даже себе представить и нельзя без отвращения о них слушать. Что же вы скажете, когда узнаете все, когда я покажу вам со всей ясностью источник и корень всех других его грехов и расскажу вам о тех его делах, которые превосходят всякие образцы честолюбия и алчности?

Как наместник Романьи, он держал себя настолько самовластно, что взял себе в помощники собственного брата; он стоял близко к папе и был советником и исполнителем по всем делам государства; как обширны дела папского управления, — это трудно даже себе представить, и еще труднее это выразить. Известность, власть и доходы мессера Франческо были так велики, что он, конечно, никогда не надеялся на это и даже мечтать об этом не смел; дей-

ствительно, есть высота положения, превосходящая меру флорентийских граждан, притом не частных людей, а важных особ; такими местами всегда гордятся даже кардиналы, а не только обыкновенные люди; однако ни почести, ни выгоды, ни величие не удовлетворяли эту испорченную душу. Он хотел быть во главе войск, покорить Ломбардию, показаться во всем блеске величия народам, которыми он управлял столько лет, считаться вершителем судеб войны и мира, единственным советником папы, а также, думается мне, иметь возможность расхитить все эти богатства, пользуясь одним из названных мною способов или всеми ими вместе, ибо корни такого преступления должны быть многообразны; он так много говорил, убеждал, доказывал, восклицал, подкупал, что заставил папу взяться за оружие, начать эту губительную войну, зажечь пожар, который уже уничтожил половину Италии и уничтожит ее всю, раньше чем прекратится. Такое решение не было для папы необходимостью, потому что врагов у него не было и никакая опасность ему не грозила; война велась не с ним, она шла между императором и королем Франции; каждый из них его берег и чтит; воевали не в Италии, а вне ее; от невмешательства в войну значение и вес папского имени могли только выиграть; долгом папы было установить мир, подумать о войне велась не с ним, — она шла между императором и королем Франции; каждый из них его берег и чтит; воевали не в Италии, а вне ее; от невмешательства в войну значение и вес папского имени могли только выиграть; долгом папы было установить мир, подумать о

война велась не с ним, — она шла между императором и королем Франции; каждый из них его берег и чтит; воевали не в Италии, а вне ее; от невмешательства в войну значение и вес папского имени могли только выиграть; долгом папы было установить мир, подумать о

что-нибудь в Венгрии, где уже занимался пожар, разгоревшийся через несколько месяцев. Это больше бы отвечало характеру папы, ко-

торый, как выяснилось потом и как, впрочем, было известно, до тех пор избегал трудностей и тягостей; однако честолюбие и алчность мессера Франческо, его беспокойная природа, его душа, не знающая меры, толкнули папу на решение неверное и опасное, стоившее бесконечных денег и мук; еще хуже было то, что в это дело вмешали наш город. Ни положение его, ни силы, ни средства, ни уклад не допускали его вмешательства в войну между этими великими государями; надо было, по примеру отцов наших, только защищаться и затем вознаградить себя за счет победителя, смотря по случаю или по обстоятельствам. Не наше дело было предписывать законы Италии, не нам быть учителями и цензорами и решать, от кого Италия должна избавиться; нечего нам было вмешиваться в споры между величайшими королями христианского мира; нам следовало быть в ладу со всеми, дабы наши кунцы, которыми мы только и живы, могли безопасно путешествовать повсюду; никогда не надо было задевать сильного князя без пужды, а если это случилось, то сопровождать обиду извинением и показать ему, что обижать мы его не хотели, а нас заставила необходимость. Нам надо не тратиться на чужие войны, а беречь деньги, чтобы защищаться от победителей; средства нужны нам не для потрясений, не для того, чтобы подвергать опасности себя и город, а для отдыха и собственного спасения. Мы можем спокойно смотреть, как воюют другие, и затем купить себе мир и безопасность, затра-

тив на это неизмеримо меньше, чем мы затратили в первый же день на войну и разрушение. У нас была тысяча способов спасения, а сейчас нет ни одного; если победит император, мы будем отданы на разграбление, если победят король Франции и венецианцы, мы будем попрежнему рабами, добычей победителей; один король нас ненавидит, другой презирает; мы расточили такие богатства, что сейчас ничего не осталось ни в казне, ни у частных людей; по нашей стране прошли войска друзей и врагов, и как те, так и другие зверски ее опустошали; мы добились того, что наш бедный город должен будет выдержать погром, пожар и самые страшные бедствия, и сейчас нам грозят большие опасности, чем когда-либо; расходы и беспорядки все растут; сбросить с себя это бремя мы не можем, а тяжести его мы не выдержим.

Все эти несчастья идут из одного источника, от одного корня: мессер Франческо добивался войны, мессер Франческо настоял на ней, мессер Франческо к ней подстрекал, мессер Франческо ее питал. Если вы скорбите, что ломбарды не дают дохода, что дочерей нельзя выдать замуж,— знайте, что виноват в этом мессер Франческо; если купцы жалуются, что дела не идут, виноват в этом мессер Франческо; если несчастные граждане разорились, облагались и облагаются неимоверными налогами, заложили свои доходы, вошли в долги, терпят крайнюю нужду,— знайте, кто всему этому причина; если весь город в ужасе от грозящей

опасности погрома, посмотрите, откуда она идет.

Но что же я оплакиваю одни только несчастья этого города! Весь свет гибнет и рушится, и виноват в этом один только ты. Из-за тебя забыто священное слово «мир», весь свет находится в войне, под оружием, в огне. Ты виновен в том, что Венгрия стала добычей неверных, в зверском разгроме Рима, во всеобщем разорении такого множества наших граждан; благодаря тебе хозяйничают в святых местах еретики и бросают мощи собакам. Ты чума, ты гибель, ты огонь, уничтожающий мир,— а мы еще удивляемся, что там, где живешь ты, враг бога и людей, враг родины и других стран, там свирепствуют мор, голод и муки!

Хотите вы, чтобы прекратился мор и возвратилось изобилие? Хотите вернуть мир и обратит все наши ужасы на еретиков и неверных? Изгоните мессера Франческо в Константинополь, в Саксонию, а лучше всего в ад. Вздохнет страна, очистится воздух, даже камни обрадуются; где будет жить мессер Франческо, там будут всегда ужасы и беды, там будет обиталище дьяволов. Вот как обстоят дела, судьи, и вы видите, что речь идет не о неважных и темных грехах, не о маленьких интересах, а о свободе, о спасении нашей жизни; надо покарать сейчас не гражданина и не человека, а бедствие, чудовище, фурию. Исход этого суда важен не для меня: он важен для этого народа, для этого города, для нашего спасения, для наших детей. Я обвинял его так,

что он останется осужденным во мнении каждого, и для моей чести этого довольно; остальное, судьи, ваше дело. Я один выступил его обвинителем, я, слабый гражданин, принял всю ненависть на себя; я принял ее добровольно, отечество этого от меня не требовало, никто меня к этому не обязывал; никто бы меня не упрекнул и не сетовал бы на меня, если бы я от этого обвинения воздержался. Что же теперь делать вам, собравшимся во множестве, высокостоящим и почитаемым гражданам? Долг вашей службы обязывает вас его обвинить; эта необходимость и многочисленность ваша спасут вас от вражды; народ избрал вас судьями, вручил вам высшую власть в республике, оказал вам самое высокое доверие, и не оправдать его было бы величайшим преступлением. Посмотрите на это стечение людей, посмотрите, как все ждут; каждый знает, что в этом приговоре его жизнь, спасенье его самого и детей его. Если мессер Франческо будет оправдан, это значит, что нет больше закона о государственных преступлениях, этого жезла свободы; не будет больше ни почтения, ни страха; оскорбления, грабежи, заговоры — все останется безнаказанным; не нужно больше ни законов, ни властей, ни судей. Все это умрет, если он будет оправдан, или останется навеки, если его осудят; в вашем приговоре заложена свобода или тирания, спасение или гибель для всех.

Нет, судьи, дело идет здесь скорее о спасении вас и всех тех, кто так неосторожно помогает этому злодею; если он уйдет из ваших

рук, он не уйдет из рук народа, если его не убьет ваше оружие, его побьет камнями толпа, которая начинает расправляться своим судом, и кто вам ручается, что она не поддастся справедливому гневу и отчаянию? Кто знает, удовольствуется ли она кровью этого чудовища и не обратится ли на тех, кто хочет его защищать, бросая этим вызов небу и земле? Кто знает, что она не обрушится на тех, кто вкладывает в ножны меч, который был дан им, чтобы творить справедливость. У всякого, кто захочет возбудить народ, будет для этого достаточно причин; если нет других людей, возбудителем и подстрекателем буду я. Ведь что нам еще остается делать? Зачем жить, если у нас снова отнимут нашу свободу? Пусть смешается все, пусть все рухнет, пусть водворится новый хаос, но мы не стершим и не снесем подобного унижения. Снова повторяю: если понадобится, я буду возбудителем и подстрекателем, я первый схвачу камень и взбунтую народ за свободу, а впрочем — народ все сделает сам, и ему не нужно, чтобы его подогревали другие.

Разве вы не видите, судьи, как все возбуждены, как все кругом горит? Разве вы не видите, что все еле сдерживаются? Неужели вы не видите угрожающих движений, не слышите ропота? Самая страшная опасность сейчас в том, что это терпение может перейти в ярость и восстание, что эта туча и буря разразятся не только над виновниками зла, но над сообщниками, подстрекателями, над всеми, кто это

допускал, кто мог всему помешать и этого не сделал. Народ сдерживается только потому, что надеется на ваш суд; если эта надежда исчезнет, вы увидите, как все вспыхнет само собой; вы увидите народную ярость, от которой избави нас боже, и берегитесь ее разжигать! Поступите теперь с вашим обычным благоразумием, сделайте то, что требует от вас верность и мудрость, то, чего заслуженно ждет от вас каждый, будьте основой свободы и спасенья отечества и не подавайте повода для опаснейшего бунта, изменив своему долгу и самим себе, обманув всеобщее ожидание; для вас это был бы величайший позор, для города бесконечный вред, тем более, что сейчас легко залить этот пожар, а воды у нас довольно и в Арно, и в Тибре, и в море!

Защита

Я знаю, судьи, что того, кто сознает себя невинным и знает, что совесть его чиста, не должны страшить или смущать ложные обвинения, ибо в нем жива надежда, что господь, судья справедливейший, будет его покровителем и защитником и не позволит клевете задушить истину.

И все же это необычайное дело волнует меня не мало, потому что я окружен здесь несметной толпой, которая смотрит только на меня и видит мои терзания; смущает меня и то, что теперь, когда издан новый закон и установлен новый порядок, по которому разбираются дела и всенародно выслушиваются стороны, я первый вы-

зван на суд, все смотрят на меня как на пример, и мне грозит опасность лишиться всего, что есть или может быть у гражданина; если еще несколько месяцев тому назад казалось, что даже друзья завидуют моему счастью, то сейчас я так повержен, что даже враги должны меня жалеть. Однако я не теряю надежды на бога всемогущего, который не позволяет напрасно угнетать кого бы то ни было; меня поддерживает также ваша благость и мудрость, судьби, и я не только верю в свое спасение (чего же еще может ожидать невинный от таких судей, как вы?), но мне думается, что вызов мой на суд можно будет считать за счастье.

Было бы, конечно, еще большей милостью судьбы, если бы на меня не обрушивали с такой несправедливостью этих обвинений и рассказней, которые не основаны ни на чем; однако раз эти слухи уже ходят и запечатлелись в умах многих, мне остается только желать, чтобы наступил случай, когда я смогу показать каждому, что я невинен, и никто не смог бы больше в этом сомневаться; теперь я должен, наконец, предстать перед народом тем человеком, каким я был всегда и каким меня знали в прошлом. Время, конечно, сделало бы это само собой, ибо, как говорит пословица, время есть отец истины, и немислимо, чтобы она в конце концов не вышла на свет; однако благодаря этим противоречиям и спорам все станет ясно настолько, что истина, конечно, утвердится сейчас в еще большей чистоте. Поэтому, если обвинителя моего побуждает к обвинению только

ревность в служении республике, как он это сказал сам, я не могу желать ему зла за это доброе его намерение, ибо я тоже гражданин; если же его побудило честолюбие, как многие думали раньше и еще больше уверились в этом теперь, после его речи, я вынужден отдать должное его неосторожности, так как он не понял, что против оружия, которым думал меня уничтожить, я устою и останусь невредим, а о нем и о его целях я еще буду говорить дальше. Невинность моя покоится сейчас на вере в бога и в вас, судьи, но я всем сердцем прошу бога всемогущего, чтобы исход суда в точности отвечал моим поступкам и намерениям. Если я погряз в грехах, взведенных на меня, я не отказываюсь вынести заслуженное наказание и готов послужить примером вашей строгости, судьи; если же я невинен, мне должна быть дана возможность как следует выразить свои доводы и настолько осветить дело в уме судей, чтобы власть карать злых, данная им народом, не обратилась в истребление добрых. Поэтому я прошу у вас, судьи, не милосердия, не сожаления, не воспоминаний о прежнем благоволении ко мне многих из вас; я прошу об одном,— и каждый сочтет это справедливым и честным,— чтобы вы не приносили сюда суждений, составленных у себя дома, а чтобы ваше суждение о деле образовалось и созрело здесь, на суде; решайте не по слухам и мнениям толпы, не по клеветам злонамеренных людей, а по выводам из показаний свидетелей и по доказательствам, собранным на суде; подавите в себе впечатления, если они у

вас сложились, и настройте свои умы так, точно сегодня слушается дело, о котором вы никогда ничего не знали; скажите себе твердо, что вы будете судить не по рассказам, которым многие напрасно поверили, а по делам, которые обнаружатся перед вами здесь, когда вы будете разбирать дело и дотронетесь рукой до язвы. Это свойственно вашей добродетели, для которой возможность справедливо оправдать или, по крайней мере, не склоняться ни к той, ни к другой стороне должна быть более желанной, чем суровое осуждение. Это свойственно вашей мудрости, которая должна думать о том, как гибельно для республики, когда невинный угнетен напрасно по клеветам и предательским слухам; такова, наконец, воля народа, который если и поверил этой молве, а может быть верит ей и теперь, то все же пожелал, чтобы со всей тщательностью была установлена правда; народ не допустил, чтобы меня осудили, не выслушав, и поставил судьями не легкомысленных и невежественных людей, а мужей вашего разума, добродетели и серьезности, так как он знал, что искать правду для них не менее важно, чем ее знать. Нет сомнения, судьи, что если в вас есть то внимание и намерение, которые я предполагаю, я легко покажу вам, что стоит только поднять эту завесу, рассеять этот туман ложных обвинений и слухов, прекратить этот крик, поднявшийся против меня не только без причины, но даже без всякого предлога, и вы увидите, что никогда и никого еще не вызывали на суд по такой ничтожной и легкомысленной кле-

вете; никогда и никого еще нельзя было оправдать по таким ясным, здоровым и справедливым основаниям. Уверен, что, выслушав мои оправдания, вы испытаете не только сочувствие ко мне за то, что я без всякой причины стал жертвой злобной молвы, и за то, что все меня так несправедливо терзали, но вы увидите в моем деле свое собственное и дело каждого, так как все, что без всякой причины и повода случилось со мной, может каждый день случиться с вами и со всяким. Зависть и злоба могут так же обличать выдуманые преступления другого, ни в чем не повинного человека, как вопреки истине обличали меня; невежество и невежество могут так же напрасно поверить этому о другом, как поверили обо мне. Больше того: для других эта опасность гораздо страшнее, потому что я испытал уже давно и на самых разнообразных путях и местах; в этом городе гремит обо мне такая слава бескорыстия, утвержденная опытом не одного дня, а многих дней и лет, что ни мне, ни роду моему, говоря скромно, стыдиться нечего. Трудно было бы поверить, что обо мне так легко можно было пустить слух противоположный, еще удивительнее, что ему так легко поверили и сразу забыли мнение, уже давно утвердившееся; однако крик одного дня заставил забыть все, и люди за один час уверовали в обратное тому, чему верили столько лет; насколько же больше должны бояться те, кому до сих пор не пришлось себя показать, люди, на доблесть которых можно скорее надеяться, чем говорить о ней по опыту;

всякий ложный слух о человеке должен сначала одолеть прежнее мнение о нем, память о прошлых его делах; однако, не встречая препятствий, он утвердится легче и прочнее, а чем сильнее будет его основа, тем труднее будет уничтожить или искоренить его. Поэтому в моем деле речь идет о делах многих, и опасность, грозящая мне, угрожает многим, ибо то, что случилось со мной, может случиться со всеми, а со многими это произойдет еще скорее, чем со мной; ведь я в этом деле, судьи, имею право на вашу благость и мудрость, и вы тем охотнее должны ее проявить, чем глубже вы познаете, что спасение мое может быть по справедливости полезно и вам, и всем; пример зла, которое вы мне причините напрасно, может когда-нибудь повредить и вам, и всем прочим.

Итак, да будет основой моей защиты одна только высшая правда и справедливость, которым нельзя ни возражать, ни противоречить; пусть ищут здесь на суде правду, не обращая внимания на обвинения, на ропот и крики; пусть выслушивают тщательно свидетелей, взвешивают доказательства, рассматривают предположения; если мне сделают эту уступку (а отказать в ней мне никто не может), я уже оправдан и свободен. Я, судьи, не настаиваю на том, чтобы вы уже сейчас признали слухи обо мне ложными и противными истине; я вас об этом не прошу, хотя в подобной просьбе не было бы, как мне кажется, ничего особенно непристойного; ведь в этом деле на одной чашке весов лежит все мое прошлое, испытанное в течение стольких

лет, все, что и вы, и другие так давно обо мне знают, а на другой нет ничего, кроме вздорного мнения, которое держалось четыре дня, ничего, кроме темного слуха, неизвестно откуда взявшегося, неизвестно как распространенного, не имеющего ни малейшей правдоподобности; что же было бы несправедливого, если бы вы с испытанной твердостью вашей остановили бы этот суетный крик, в котором нет ни правды, ни даже намек на правду? Однако я об этом не прошу и не хочу, чтобы дело мое проходило в таких счастливых условиях; пусть не помогут мне прежние годы трудов и опасностей, забудьте о том, что вы в прошлом обо мне знали и думали; я доволен, я сочту для себя величайшим счастьем, если вы отнесетесь ко мне с недоверием и будете готовы поверить в справедливость обвинений, но я хочу, чтобы эта правда была показана не криком, а ясными доказательствами; если же обвинения по правде и справедливости окажутся лживыми, я хочу, чтобы вы не колебались признать их ложь.

Раз все дело и вся моя защита покоятся на этом, устраняются все трудности и споры; если бы я не вверился целиком вашей мудрости, я бы всячески напрягался, распространялся, приводил бы много примеров, которые убедили бы не только вас, не нуждающихся в этом, но и весь народ, особенно наиболее легковерных, что случившееся со мной сейчас, т. е. неправоное осуждение мое, бывало во все времена, как в этом городе, так и в других, и что страдало от этого многое множество людей величайшей

доблести, бывших образцом добродетели и украшением отечества; кажется даже, что зависть или судьба чаще и охотнее всего бьют именно тех, кто заслуживает этого меньше, чем другие; то, что во все времена бывало с другими, сейчас случилось со мной, а в будущем легко может случиться со всеми.

Надо ли говорить, что никогда не было в Риме гражданина, более полезного и мудрого, чем Фабий Максим, который своей осторожностью и умением выигрывать время остановил победное шествие Аннибала; однако именно в то время, когда он был для республики всего полезнее, его так корили за способы, какими он спасал город, что народ поверил, будто он сошелся с Аннибалом; его так опозорили, что дали ему сотоварища по диктатуре,—вещь небывалая в Риме ни раньше, ни впоследствии; это не умалило правды его дела, ибо позднее заслуги его были поняты, и все признали, что город обязан своим спасением ему одному.

Позволю себе сказать, что ни в Афинах, столь мудрых и знаменитых, ни в какой другой республике не было никогда гражданина более достойного и славного, чем Перикл; тридцать лет управлял он этим свободным городом, и правил не оружием, не подкупом, не через партии, а только силой, которую давала ему его доблесть; однако, когда начались неудачи в войне с лакедемонянами, на которой он настоял, на него посылались тягчайшие обвинения, и народ среди всеобщего ропота лишил его власти; однако скоро все признали, что были неспра-

ведливы к нему, навредили этим себе, и вознесли его еще выше, чем прежде.

Не будет недостатка и в примерах, взятых из жизни нашего города и, более того, в нашей же семье. Когда мессер Джованни Гвиччардини был комиссаром при войске во время осады Лукки и осаду пришлось снять, его без всякого основания оклеветали, будто он получил деньги от лукканцев, и обвинили его в этом перед правителями города; обвинение это за спиной его распространял сам Козимо Медичи, добивавшийся в это время власти; но невинность мессера Джованни возобладала надо всем, судьи торжественно его оправдали, и правда стала ясна всем. Помню также, когда я был еще почти ребенком, распространились дурные слухи о Пьеро Содерини, и дело зашло так далеко, что его осыпали оскорблениями при выходе его из дому; однако для всего этого оснований не было, от обвинений через несколько недель ничего не осталось, а Содерини меньше чем через год был при всеобщем ликовании избран пожизненным гонфалоньером. Я мог бы привести, кроме этих, еще множество других примеров, но для вашей мудрости, судьи, это лишнее, и вы сами знаете лучше всех, что одно дело — клевета, а другое — справедливое обвинение. Настоящий обвинитель известен с самого начала; обвинение ясно, оно различает средства и времена, все видят его корни, его рост, способы, к которым оно прибегает; как ни скрывай дело, от него не уйдешь, как ни отрицай, оно проявится, и чем дальше идет время, тем обвинение стано-

ВИТСЯ основательнее и сильнее; клевета же не имеет пачала, источник ее не виден, автор не известен; она разнообразна и смутна, не различает ни времени, ни средств; она может сказать только одно: ты крал; а если спросить, в чем же дело, каждый знает о нем так же мало, как человек, приехавший из Египта: чем больше ищут, тем меньше находят; чем больше хотят раскрыть, тем все становится неопределеннее; время само собой уничтожает и приканчивает ее, так что поверивший ей сам этого стыдится.

Посмотрим теперь, какова же наша клевета, и вы, судьи, судите уже сами, достоин ли я ненависти или сочувствия. Обвинение начинается с того, что я расхитил несметные суммы денег и, чтобы скрыть хищения, позволил солдатам грабить страну; если бы это была правда, преступление было бы так велико, безмерно и ужасно, что всех ухищрений речи обвинителя, всех его самых пламенных и грозных восклицаний было бы недостаточно, чтобы показать хотя бы малую долю его тяжести. Однако нельзя говорить о наказании, пока неизвестно преступление; надо сначала его выяснить и сказать самое главное; потом уже можно входить в подробности и рассыпать богатства красноречия, для которого у тебя, видно, нет лучшего дела, чем поддержка лживого обвинения; справедливое обвинение может доказать всякий, оно держится само собой, ему не нужны ни ум, ни речь оратора; чем щеголять искусством красноречия, было бы гораздо лучше проявить перед отечеством благоразумие и добродетель, пока-

зять, что за долгие годы чтения Цицерона и философов ты узнал, что отечеству нужны добрые, любвеобильные и деловитые граждане, а не цвистистые говоруны, которые или никогда не бывают полезны, или, по крайней мере, всегда вредны, когда красноречие не сочетается в них с благоразумием и серьезностью. В чем же состоит благоразумие обвинителя, как не в умении выбрать человека, которого трудно оправдать, не трогая тех, кого нельзя осудить? В чем же деловитость, как не в привычке основываться на чём-то твердом, обдуманном и достоверном, не теряясь в вымыслах, словопрениях и придирках, которые даже издали кажутся мало-важными, а если приглядеться к ним ближе, они улетучиваются как дым?

Обвинитель мой призвал в свидетели целое войско; он уже видит, как эта площадь заполнена вооруженной пехотой и всадниками; признаюсь, я испугался, ибо сейчас, когда я в таком унижении, когда меня так преследует судьба, мне трудно сражаться даже с одним человеком, не то что защищаться против всего войска. Однако где же это войско? Дай боже, чтобы все войска в мире были на него похожи! Нам никогда не пришлось бы страшиться войны или врагов, так как войска этого не видно и не слышно, оно никому не делает зла и никого не пугает; оно похоже на наши клеветы, которые кажутся чем-то страшным, когда знаешь о них понаслышке; но всякий, кто подойдет к делу ближе, увидит, что в них нет ничего. Таким образом, все эти тысячи людей, полководцы,

князя, легионы сводятся к четырем или шести свидетелям, и если распросить их как следует, они в конце концов сами скажут, что не знают того, о чем говорят. Я мог бы по всей справедливости их отвести, но не хочу этого делать, потому что все это люди, которые, по их же словам, не мало потерпели от проходивших отрядов во время постоев, и так как они бессильны против обидчиков, то хотят сорвать свой гнев, на ком это можно. Кто же не знает, что такое свидетельства на суде и как осторожно надо с ними обращаться, потому что показания не только должны быть чужды пристрастия, но свидетели обязаны говорить так, чтобы в словах их нельзя было уловить ни малейшей искры даже самого легкого гнева; ведь от того, что они скажут, зависит приговор над человеком, и законы охотно установили бы, чтобы такое дело не зависело от человеческих слов, ибо законы знают, как легко подкупить людей, и если подкуп не проявляется явно, всегда можно его подозревать; однако, ввиду трудности доказывать что-нибудь иными способами, пришлось допустить свидетельские показания, но законы при этом только подчинились необходимости, а вовсе не отказались от своего недоверия; поэтому они исключают свидетелей всякий раз, когда по делу можно предположить в них хотя бы легкое пристрастие. Поэтому я мог бы настаивать, чтобы этим свидетелям не давалось веры и чтобы с их словами не считались, так как они сами говорят, что понесли тяжелый ущерб; ни судьи мне бы не отказали, ни народ не стал бы

этому удивляться, и ты сам не знал бы, что возразить. Однако посмотри, как я осторожен, как глубоко я верю в правду, и только на этом строю свою защиту; я не возражаю против твоих свидетелей, не опровергаю их, верю им так же, как и ты, и даже больше; ты сослался на них как на солдат, а я согласен, чтобы судьи верили им, как евангелию, потому что я не знаю, говорят ли они правду или нет, но знаю хорошо, что слова их мне не вредят; тебе, может быть, покажется, что я оказал тебе этим великое одолжение,— по-моему, я не сделал ничего.

Что же говорят эти блаженные свидетели? Они говорят, что, когда творились все эти насилия, им не раз приходилось слышать,— причем одни свидетели ссылаются на начальников, а другие на простых солдат, которых наказывали за грабеж,— будто они грабят потому, что им не платят и что мессер Франческо им это разрешил: вот все, что можно было выжать из допроса. Нечего сказать, хорошие показания, убедительные доказательства, пугающие свидетели! Неизвестно даже, кто эти солдаты, из какого они отряда, что это — пехотинцы, получающие обычное жалование, или затесавшиеся в отряды бродяги, которыми всегда кишат войска. И мы признаем свидетельство этих людей и будем основываться на их словах в деле такой важности и такого интереса! Законы требуют, чтобы во всяком, самом маленьком деле были известны имена свидетелей, их отечество, происхождение, их жизнь, их зависимость от других; таким образом

можно их допрашивать, можно открыть, есть ли в них пристрастие, узнать их поступки; тем из них, о ком идет дурная слава, не дается веры, и принято думать, что человек, неосмотрительный в деле, еще менее осторожен на словах; даже от безупречных свидетелей закон требует, чтобы они говорили то, что знают, и, в частности, рассказывали то, что сами слышали и видели, откуда и от кого они это узнали; свидетель должен сообщить такие подробности, чтобы дело осветилось само собой, чтобы все стало наглядно; а здесь хотят, чтобы мы поверили свидетелям неизвестным, людям низкого состояния, головорезам, болтунам, привыкшим богохульствовать, а не говорить человеческие слова, более того — ворам, пойманым на месте. Ведь свидетели, которых ты привел, которым я верю и ни в чем их не оспариваю, говорят, что они слышали все это от солдат, которых наказали за грабежи. Значит, мы должны верить грабителю, когда он оправдывается, вору, пойманному на месте. Если так, то ни одного вора нельзя было бы повесить. Что же, ты хочешь, чтобы они сказали: мы грабим, потому что мы скверные люди, потому что мы воры и никогда ничего другого не делали? Какая женщина не сумеет оправдаться, если ее поймают с любовником? Какой вор сразу сознается в краже, даже сидя в тюрьме и на пытке, а не только разгуливая по площадям? И какое другое оправдание могут они найти, если не сослаться на то, что им не платят, так как для солдат, грабящих дружескую страну, это единственный ответ, ибо нет

ни закона, ни порядка, ни военного обычая, который бы это допускал?

Они не говорят, что мессер Франческо сказал им это сам, что они это слышали от него, не говорят, что им известно, будто он дал такое разрешение или приказ; если бы нечто подобное показали даже первые и лучшие люди этого города, самый маленький судья над ними бы посмеялся; ни один прокурор или адвокат не стал бы читать эти показания и не захотел бы терять время и деньги на допрос. Однако к чему я трачу столько слов, когда дело так очевидно, и зачем я навожу на вас тоску, когда мне нужно возбудить ваше внимание! Если эти свидетели сами по себе ничего не стоят и ничего не доказывают, если они только смешны, какие же другие доводы их поддерживают и дополняют их слова? Люди, ведущие дела, даже если у них есть сильные свидетели, стараются основываться на бумагах или других доказательствах, хотя бы приблизительных; если так поступают даже те, кто может выиграть дело одними показаниями свидетелей, насколько же это важнее для тех, чьи свидетели слабы, а особенно если их вовсе нет, как у нашего обвинителя; ведь иметь свидетелей, которые ничего не доказывают, все равно, что не иметь их совсем. Где же в этом деле доказательства? Нам их не только не привели, но даже не говорили о них и, повидимому, о них вовсе не думали. Скажем ли мы, что это происходит от неопытности обвинителя? Здесь не было бы ничего удивительного, ибо читать Полициано и Ари-

стотеля — это одно, а вести дело — совсем другое; однако, судьи, дело не в этом; обвинитель столько учился, что знал бы, как поступают в таких случаях, а если бы он чего-нибудь не знал сам, поверьте, что у него нашлось бы достаточно много советников из числа людей моей профессии, которых я не называю по именам, чтобы проявить к ним больше уважения, чем они проявили ко мне. Я не возбуждаю такого сочувствия, чтобы некому было меня преследовать; многие не довольствуются зрелищем моего унижения, им мало того, что я нуждаюсь теперь в тех, кто обычно нуждался во мне; они жаждут моей крови, моего окончательного разорения, им хочется сделать из меня пример всех бед и несчастий. Горе мне, что же я им сделал? Я никогда их не обижал, никогда не бросал им вызова. Если они мне завидовали, то сейчас я доведен до того, что должен был бы возбуждать сострадание; чувства людей ко мне должны были бы измениться в той же мере, в какой изменилась моя жизнь. Однако все идет не так: люди так же жаждут уничтожить и истребить меня, как они уже раньше хотели меня унижить; поэтому у обвинителя не было недостатка ни в советах, ни в напоминаниях, ни в подстрекательстве. Если бы можно было указать за мной какой-нибудь большой расход и уверять, что я деньги украл, поверьте, что сейчас это было бы сделано; если бы против меня были другие предположения, улики, слова, враги мои ревностно принялись бы за поиски и не пожалели бы труда, чтобы их добыть. Если бы в моей

жизни был бы намек на воровство, хищения или алчность, они бы на это сослались; они старались бы очернить меня моим прошлым и были бы правы, потому что каков был человек раньше, таков он, надо думать, остался и сейчас; если трудно поверить, чтобы хороший человек сразу испортился, так же неправдоподобно, чтобы человек, привыкший к злу, вдруг при таком удобном случае от него воздержался. Если об этих вещах молчат, значит их нет; нет ни свидетелей, ни бумаг, ни ясных улик, ни каких-либо доказательств, ни обычных догадок, ни поверхностных предположений, ничего, на что люди осмелились бы сослаться: все основано на слухах, на рассказах, которые вы уже отбросили, о которых вы уже сказали, что не следует и невозможно им верить. Итак, в этой части я уже оправдался, потому что хищения не только не доказаны, но не приведено даже тени доказательства; кто же не знает, что по уголовным делам и даже по грошовым тяжбам судья может только оправдать, если истец не представляет доказательств?

Я могу перейти теперь к другим обвинениям и скажу, что из многих способов защиты, доступных подсудимому, самый легкий, твердый и убедительный, посредством которого можно всего скорее заставить умолкнуть обвинителя, не утруждая судью,— это иметь возможность утверждать, что намерение не доказано. И, конечно, в первый же день своего вызова на суд, вернее — в день, когда было объявлено о выборе судей и когда выяснилось, что лучших

ни один невинный желать себе не может, я бы удовольствовался этой защитой и считал бы достаточным, что меня не объявляют злодеем, не требовал бы признания своих добродетелей, не будь у меня другой цели, кроме оправдания и спасения от ярости врагов. Однако с этого дня и до сей минуты я всегда надеялся не столько на оправдание, сколько на такое оправдание, которое заставило бы весь город, всех, кто поверил, что я есть зло, ощутить во мне добро, восстановить меня в милости народа, которой он по доброте своей дарил меня раньше; поэтому мне мало того, что сделано до сих пор,— я хочу пойти дальше, хочу сделать то, что должен был сделать обвинитель, хочу доказать и выяснить, что я не расхищал и не мог расхищать ваши деньги; если я этого не докажу, я готов понести наказание, которое полагалось бы мне, если бы противник свое обвинение доказал. Положение это столь необычное и трудное, что вы должны или считать меня сумасшедшим, или подумать, что я невинен. При этом я должен казаться вам не просто безумцем, а сумасшедшим особого рода, из тех, что бросают в человека хлебом, когда хотят ударить его камнем; ведь я уже оправдался и снова без нужды иду на опасность; более того: я не только обязуюсь доказать свою невинность, но доказать ее всеми способами, которые обычно приняты в судах, убедительнейшими доводами, свидетелями, документами. Если мне это удастся, граждане, я не прошу у вас ничего и хочу от вас только одной мило-

сти — отказаться от дурного мнения, которое образовалось у вас обо мне за эти месяцы; пусть поверят, наконец, правде, пусть укоры и зависть, которые так преследовали меня, обратятся в сочувствие. Однако перейдем к делу.

Я убежден, что никто из вас, судьи, и никто из граждан не верит, что я разрешил солдатам грабить окрестности города; если же кто-нибудь считает это правдой, то думает, что, раз я хотел присвоить себе жалование солдат, мне нужно было удовлетворить их тем или другим способом; потому, если неправда, что я расхищал ваши деньги, значит неправда, что я отдал на грабеж наши земли, ибо одно зависит от другого; если я докажу, что не расхищал денег, вы все согласитесь, что я не приказывал грабить. Ведь так? Но зачем же мне ставить эти вопросы вам, когда ваши ответы всегда исполнены разума и мудрости? Ведь даже обвинитель и его солдаты не говорили, что я дал им такое позволение, чтобы им не платить. А что я такого разрешения не давал, об этом говорит сам здравый смысл. Ведь люди вообще никогда не делают зла, если не находят для себя в этом пользы или удовольствия. Если я платил солдатам, зачем мне было разрешать им грабежи, какая в этом польза, радость, удовлетворенность души? Наоборот, одни только тягости, жалобы, шум, обвинения, вражда, которую вы видите. Когда расхищают деньги, обычно стараются свалить вину на других; я же за воровство других принимал бы вину на себя!

Другие, будучи злоедами, всячески стараются казаться добродетельными; я же, будучи добрым гражданином, сделал бы все, чтобы показаться злодеем! Согласимся же все, что если я не расхищал солдатское жалование, то я не приказывал грабить. Посмотрим, расхитил ли я это жалование.

Граждане и судьи! (Я обращаюсь сейчас также к гражданам, ибо помочь мне дойти до цели, к которой я стремлюсь сейчас, т. е. восстановить мое доброе имя, могут только все сообща; своей цели перед судьями, т. е. оправдания, я уже во многом достиг.) Я всегда говорю, что, когда разбирается дело о чьем-нибудь преступлении, у слушателей прежде всего, еще до всяких доказательств и свидетелей, является мысль: правдоподобно все, что говорится, или нет? Если правдоподобно, то доказательства, на которые ссылаются стороны, делаются сильнее и правдивее; если неправдоподобно, то свидетели должны быть достойны доверия, доказательства должны быть убедительными, бумаги должны быть ясными; очень естественно не верить, что то-то было, если это само по себе неправдоподобно и неразумно. Поэтому в делах уголовных обращается очень много внимания на предположения, и если они сильны, это для дела настолько важно, что им часто дается больше веры, чем свидетелям; ведь свидетели легко могут быть пристрастны или подкуплены, между тем как природа вещей ясна, всегда равна себе и не может быть изменена; если правдоподобная догадка так сильна даже

при показаниях свидетелей, то какова же должна быть ее важность в нашем случае, когда не доказано ничего?

Одной из важнейших улик этого рода всегда считалось и считается прошлое обвиняемого, его поступки, его образ жизни; ведь при сомнении надо думать, что человек в настоящем таков, каким он был в прошлом. Знаю, судьи, всю трудность такого рассуждения, ибо люди так же естественно получают некоторое удовольствие, когда слышат дурное о других, как оскорбляется их слух, если человек говорит хорошее о себе; тем не менее, раз обвинитель хотел сделать из меня вора, необходимость заставляет меня сказать все, что покажет, что я не вор; если вам кое-что паскучит, вините не меня, потому что я вынужден так говорить,— вините того, кто по злобе своей поставил меня в необходимость так защищаться. Человек вообще не может хвалить себя за качества, отсутствие которых было бы пороком: быть честным — не такое похвальное дело, ибо нечестность есть порок, а поскольку он заслуживает кары, показать, что ты честен,— значит скорее оправдываться, а не восхвалять самого себя. Я превозносил бы себя, если бы говорил, что я благороден, мудр, красноречив, потому что тот, в ком этих качеств нет, никакого порицания не заслуживает, ибо это дары природы и от власти человека не зависят.

Я не хочу, судьи, рассказывать вам свою прошлую жизнь до назначения меня губернатором в Модену. потому что о ней сказал сам

обвинитель, признавший, что я не без оснований был в такие молодые годы назначен послом в Испанию по выбору коллегии восьмидесяти; пусть меня ненавидят и клеветают на мою жизнь, но кое-кто, я надеюсь, еще помнит, как я держал себя в Испании, и знает, что никогда и никем не было сказано, будто я по скромности или добродетели был недостоин своего отца; нравственность и бескорыстие его были таковы, что обвинитель не раз хотел унижить меня сравнением; надеюсь, что заслуги отца и память о нем помогут мне и восстановят ваше расположение ко мне, когда всем станет ясно, что, будь он в живых, он не стыдился бы, что я его сын. Однако я не настаиваю на этих временах, так как можно было бы сказать, что случаев делать зло у меня было мало, и вместе с тем мне приходилось быть очень осторожным, потому что все происходило на глазах отечества и граждан, и надо быть совсем неумным человеком, чтобы не желать им угодить. Будем говорить о временах, для которых эти возражения силы не имеют, хотя во Флоренции среди людей, занимающихся тем же, что и я, никогда не было недостатка в негодах. Тридцати трех лет от роду я уехал губернатором в Модену с теми полномочиями, о которых говорил обвинитель, и, может быть, даже с большими; отчета о моем управлении у меня никогда не спрашивали, и решения мои не подлежали обжалованию; когда я приехал, в городе шла борьба партий, лилась кровь, вся жизнь была перевернута, так что награть я мог бы

там, сколько хотел, как в силу своей власти, так и ввиду состояния города; это было особенно легко еще потому, что, как сказал обвинитель, жизнь в тех областях идет иначе, чем здесь, ибо там нет республики, никто не считается с мнением других людей, и каждый думает единственно о своей выгоде; люди привыкли к тому, что все покупается и продается. Вскоре к управлению Моденой присоединено было управление Реджо, а затем и Пармой. Я был генеральным комиссаром при войске с неограниченной властью, был впоследствии наместником Романьи, причем всякий знал, что все правление поручено мне; и действительно, надо мной не было никого.

Представьте себе теперь эти времена, эти города с их богатством и борьбой партий, города, в которых так давно вообще не было суда, где накопилось бесконечное множество уголовных дел и конфискаций, где я один имел власть приговаривать, изгонять, миловать и заключать всякого рода мировые сделки; подумайте сами, что я только мог натворить, если бы хотел воровать и грабить! Будьте уверены, что этому не было бы ни предела, ни меры; я накопил бы столько, что только смеялся бы над сборщиками налогов, которые сейчас, помоги мне бог, заботят меня больше всего. Мне много раз предлагали тысячу, три тысячи, пять тысяч дукатов, чтобы купить жизнь человека, заслужившего смерть; таких предложений было больше, чем клевет, которые расточал сегодня обвинитель, т. е. их было не восемь и не де-

сять. Я жил там так и составил себе такую славу беспристрастия и честности, что правительства наперерыв поручали мне одно наместничество за другим, хотя я никогда ничего не просил; среди всех обвинений, иногда справедливых, а чаще всего ложных, которые сыплются на правителя, особенно в такое время и при такой власти, никто никогда не осмелился сказать, что я взял с кого-нибудь хоть грош. Вот грамоты трех пап; прочтите грамоту Адриана⁶⁷, еще более обширную и почетную для меня, чем остальные, прочтите письма трех городов — Пармы, Реджо и Модены, в которых они так часто и так настойчиво просили Адриана назначить меня к ним губернатором, — все они твердят одно: спасение этих городов только в том, чтобы туда послали меня. Вот вам постановления о выборах послов, которым поручено просить о том же; все это случилось не сейчас, свидетельства эти не выпрошены у графов, которые были моими заклятыми врагами, потому что я держал их в узде и не позволял им угнетать народ, как они к этому привыкли; так говорят целые города в минуту, когда для них решалось дело величайшей важности, ибо спасение или гибель их целиком зависят от того, кто ими управляет; происходит это в то время, когда они могли хорошо знать меня по прежнему моему управлению, когда никто подумать не мог, что я буду приближенным нового папы, который никогда меня не видел и никогда обо мне не слышал; папа должен был желать от меня отделаться, и не потому только, что ему, как

и другим в таких случаях, хотелось иметь вокруг себя новых людей, но особенно потому, что я зависел от кардинала Медичи, которого он тогда всячески отстранял и который был в такой немилости, что не решался оставаться в Риме. Однако папа внял свидетельству стольких городов, голосу всеобщей молвы и не только утвердил меня правителем Пармы, но вернул мне управление Моденой и Реджо, которое было у меня отнято коллегией кардиналов и дерзостью синьора Альберто и графа Гвидо Рангоне⁶⁸. Он вернул мне это управление не как старому своему советнику, не потому, что знал меня как друга тирании, а единственно во имя моих заслуг, так как я превосходно управлял этими городами, и бескорыстие мое было наше известно. Вот грамоты, в которых сказано обо мне так много почетного и прекрасного, что я из скромности о них молчу; таковы мои свидетели; это не грабители, не безвестные солдаты, не богохульники и не убийцы. Можете ли вы, судьи, вообразить себе радость всех, когда в этих трех городах получены были папские грамоты? Какое стечение народа, звон колоколов, пальба из пушек! Казалось, все ожили. Вот мои свидетели,—множество ваших граждан и торговцев, видевших и слышавших все это проездом через Ломбардию. Послушайте их, послушайте других, которые жили тогда в Романье и постоянно ведут там дела; вы услышите не только то, что они говорят сейчас, но каждый из вас помнит, что тогда только и было разговоров, что о моем бескорыстии, о

славе моего управления, о правом моем суде. Когда до меня доходили эти речи,— а слышать мне их приходилось часто,— то бог мне свидетель, что я радовался доброй славе моей среди вас несравненно больше, чем всем почестям и выгодам. Теперь же, горе мне! Не могу говорить от скорби! Теперь меня считают в отечестве моем вором, убийцей, грабителем и разорителем этой стражи! О, как презренны надежды, как неясны мысли, как туманны замыслы людей! Сколько раз я мечтал, что скоро кончатся мои наместничества, и я вернусь во Флоренцию, вернусь обеспеченным, как подобает моему положению, но буду гораздо богаче доброй славой, чем деньгами; я думал, что никогда не исчезнет слава о моей доброте и бескорыстии, и я буду жить счастливо, радуясь этому сознанию и доброму мнению людей; одного этого довольно, чтобы сделать меня самым удовлетворенным гражданином Флоренции. Как же я обманут! Ведь корабль дошел уже до места, откуда видна гавань, я начинал верить, что смогу насладиться плодами трудов и опасностей — делом тяжких и бедственных лет, когда богу известно, отдыхал ли я хоть один день; теперь же, когда я думал, что найду в жизни покой и утешение, все рушилось и разлетелось в прах. Если бы я лишился богатства, детей, отечества — это было бы вдвое меньшее горе; но лишиться у порога отечества своего доброго имени, ради которого я отверг в жизни больше золота, чем весит этот Гигант⁶⁹, — это слишком невероятно, несправедливо, позорно! Бог, кото-

рый видит человеческое сердце, от которого ничто не скрыто, знает, что я говорю правду; если бы не надежда на него, я, кажется, раскаялся бы во всяком добре, которое когда-нибудь сделал, пожалел бы о всяком зле, которое мог причинить и не причинил. Я хочу на него надеяться; может быть, он допустил все это ради какой-нибудь благой цели, дабы не дать мне возгордиться, дабы я знал, что всем добром обязан ему, а не себе. Отдаюсь на волю его, но прошу его всем сердцем повелеть, чтобы правда опять заняла свое место, и вернуть мне ту добрую славу, какая у меня была.

Однако буду продолжать свою речь.

Вы видите, как я управлял, как честно я жил, какое доброе имя я себе создал; если я был таким в чужом городе, где я знал, что мне не надо будет жить постоянно, откуда стоит только уехать и уже не важно пользоваться там любовью и славой, то как же я должен был поступать, управляя вашими делами? Надо полагать, что я дорожил вашим добрым мнением, так как мне надо было с вами жить, и хотя я мог быть тысячу раз уверен, что меня никогда не смогут обвинить, для меня, по бесконечному множеству причин, расположение ваше было слишком важно, а дурное обо мне мнение могло принести мне величайший вред. Неужели я стал бы больше считаться с теми, кого уже никогда не увижу, кто не мог быть мне ни полезен, ни вреден, чем с теми, на глазах которых проходит каждый мой день, от кого зависит, главным образом, сделать мне зло? Я по-

ехал в Ломбардию бедным юношей, и там мне в первый раз в жизни представился случай поживиться; однако ни легкомыслие возраста, ни нужда меня не совратили; так неужели я начал бы грабить теперь, когда мне больше сорока лет, когда я уже так привык противиться соблазнам, когда у меня есть средства, правда, не такие, как об этом говорят люди, но достаточные, чтобы прожить в этом городе скромным гражданином? Я мог бы воровать раньше с меньшим ущербом, потому что тогда у меня еще не было опыта в этих делах и не было имени нешодкупного; неужели теперь, когда я приобрел имя, которое для меня дороже всякого сокровища (не знаю, так ли это для других), я не буду стараться его сохранить? Значит, я воздержался там, где бывало столько хищных правителей, что о таких вещах вообще молчат, и захотел быть вором в стране, где поднимается величайший шум не только из-за большого грабежа, как сейчас, а из-за самой маленькой кражи? Значит, я остерегался притеснять людей в подвластных городах, где и жаловаться трудно, и не так легко добиться, чтобы тебе поверили, и стал грабить могущественную республику, которая умеет чувствовать обиду и достаточно сильна, чтобы меня наказать? Ведь, когда губернаторы грабят, это может не нравиться обиженным, но это очень правится всем, кто выигрывает от таких несправедливостей, и если я не захотел воровать во вред немногим, неужели я стал бы грабить впоследствии, оскорбляя этим всех; ведь там можно было бы

говорить о моем грабительстве, но доказать это было бы неммыслимо, потому что есть вещи, которые делаются втихомолку, без свидетелей и улик; так неужели я бы от этого воздержался, чтобы решиться на самый явный грабеж, который нельзя было бы скрыть? Люди говорят и верят даже тому, чего никогда не было; подумайте, что бы поднялось, если бы это была правда; ведь это значит, что, желая пограбить, я пропустил одиннадцать лет, когда я мог спокойно делать это один, и все выжидал, когда представится случай вовсе для этого не удобный, когда встретятся тысячи трудностей, и я во всяком случае могу грабить только в сообществе с другими? Ведь сам обвинитель признал, что для этого требовалось согласие Алессандро дель Качча.

Посмотрите, судьи, как дело раскрывается само собой! Посмотрите, как противоречивы все догадки и рассуждения! Если бы вам рассказали это дело, не называя имен, как случай, происшедший где-нибудь в далекой провинции, и спросили бы ваше мнение, вы бы сказали, что не только неправдоподобно, но и вовсе неммыслимо, чтобы тот, кто бедным юношей, находясь на полном просторе в чужой стране, с которой можно было не считаться, столько лет воздерживался от всяких хищений частного добра, хотя мог бы если не скрыть, то отрицать их, а многим эти хищения были бы даже на руку,— чтобы такой человек, будучи уже пожилым и состоятельным, начал бы грабительствовать у себя на родине, где ему надо было

жить, где его можно наказать при общей к нему ненависти и где ничего нельзя утаить. Ничего другого вы не могли бы ни ответить, ни подумать. Поэтому вы должны сказать и думать то же самое обо мне, если только вы судите не по первому впечатлению, если хотите судить по правде, а не по слухам; снова прошу вас, пусть ум ваш будет свободен, верьте только тому, что вы найдете сами, что можно доказать и показать. Неужели я столько лет был чист и воздерживался от мелких и обычных хищений, чтобы в один миг оказаться негодяем? Так по самой природе вещей не бывает и быть не может; древняя пословица говорит, что никто сразу не делается злодеем; на лестницу поднимаются по ступенькам; человек сначала пробует зло, потом втягивается в него, потом утверждает в нем; так всегда было с другими, так надо думать и обо мне. Считайте меня вором, сколько хотите, пусть все будет, как сказал обвинитель; значит, у меня та же природа, как у всех других воров, и я поступал не иначе, чем для них привычно; верится только тому, что правдоподобно, чему можно верить, не тому, что противно здравому смыслу любого человека, обычному строю и естественному ходу вещей.

Слушайте дальше, и то, что я скажу, будет уже несомненной правдой, а не догадкой. Если я нагребил столько денег, они или должны быть у меня, или я должен был их истратить; вот вам подсчет всего, что я приобрел; вот извлечения из всех книг, представленных мной, из

книг, которые я вел сам не по обычному торговому порядку, а с такой строгостью, чтобы по ним можно было знать правду,— вот выписка из торговых книг моего брата Джироламо. Посмотрите, какое у меня было имущество до войны; посмотрите, что прибавилось с начала войны и до сих пор: вот вам счет деньгам, переданным в Венецию, из-за которого поднялся такой шум, вот письма и счета, полученные из Венеции от Джироламо. Вы должны знать, судьи, что я все это представил в первый же день вызова на суд, так что ни порядок записей в книгах, производившихся время от времени, ни срок, которым я располагал, не допускают ни малейших подозрений, будто записи делались ввиду случившейся беды. Я не старьевщик, ведущий обычно двойные книги, и не гадалка, который уже два, три или четыре года тому назад предвидел, что произойдет, и заранее приготовился. Если так, куда же ушли эти деньги? Посмотрите, как верно говорит пословица, что ложь всегда хромает; посмотрите, какова сила правды и чистой совести. Обвинитель не ожидал, что я принесу сюда свои книги, ничто меня к этому не обязывало, но я сам отдал свое оружие и предоставил каждому употребить его против меня. Одно дело не явиться и бежать от суда, совсем другое — подчиниться ему даже больше, чем человек обязан, и, пожалуй, больше, чем это когда-нибудь бывало; будь я в Испании, я бы поспешил сюда, нигде не останавливаясь, а ты думаешь убедить меня уехать! Если я не ошибаюсь, я убедил

вас, судьи, убедил даже больше, чем вы ожидали сами, и во всяком случае больше, чем думал этот народ; однако я хочу привести вам еще новые доказательства.

Я утверждаю, что с самого начала этой войны и до разгрома Рима вся пехота, как ваша, так и папская, получала жалование каждые тридцать дней; если же иногда из-за отсутствия денег или задержки казначея жалование опаздывало против этого срока на два или три дня, солдатам выдавались расписки в счет платежа; таким образом, они ни одного часа без жалования не служили и, в частности, получили его как раз в то время, когда они вступили в Тоскану. Кто это говорит? Это говорят все. Вот письма графа Гвидо и графа Кайяццо, написанные в разные времена, где они отдают распоряжения начальникам, ибо вышел приказ платить жалование пехоте; вот удостоверения самих начальников; вот множество свидетельств, утверждающих, что никогда еще во время войны в Италии солдатам не платили так дорого. Вот письма папского нунция из Венеции, в которых он сообщает, что синьория просит, чтобы мы не платили каждые тридцать дней, потому что их пехота, которой платят позже, бунтует. Если бы мы могли исполнить их желание, мы сделали бы это, не дожидаясь их просьб. Но нашей пехотой начальствовали слишком знаменитые полководцы, как, например, граф Кайяццо, граф Гвидо Рангоне, синьор Джованни⁷⁰, так что я не мог распоряжаться ею по-своему, и, как я скажу дальше, это было

причиной больших беспорядков. Довольно этих доказательств? Мне думается, вам сейчас ясно, что я никаких денег не расхищал. Однако возьмем последнее доказательство, на которое нечем отвечать и которое само по себе считалось достаточным.

Все деньги поступали к Алессандро дель Качча, казначею, назначенному папой, а не мной, и обязанному отчетом папе, а не мне: по книгам его не видно, чтобы в мои руки попал хотя бы грош, кроме моего жалования. Почему же с меня спрашивают деньги, которые получались другими, а не мной? Меня еще можно было бы допрашивать об этих счетах как свидетеля, как лицо, которое могло кое-что о них знать,— но делать из меня сторону в этом деле, да еще главу его, настолько непонятно, что едва ли слыхано было что-нибудь подобное. Если вы подозреваете, что ваши деньги расхищены, спрашивайте отчета у Алессандро дель Качча, судите его: если он не крал, то его оправдание оправдывает и меня; если он крал, то я, конечно, не мог воровать без него, но он прекрасно мог воровать без меня. Где же суд, где правда, если за воровство должен отвечать тот, кто мог о нем не знать, а человека, без которого воровать было невозможно, оставляют в покое? Если здесь есть воровство, оно могло быть без меня, но без Алессандро оно было немыслимо, а взыскивают теперь не с него, а с меня. В этом ли любовь твоя ко мне, о которой ты, Якопо, здесь говорил? Однако оставим частные интересы. Неужели в этом ревностное слу-

жение республике? Обратите внимание, что отчет требуется от человека, который, может быть, и не воровал, а того, кто не мог не воровать, оставляют в стороне; преследуют одного, когда воровать можно было и без него, а упускают другого, без которого воровать было нельзя. Теперь ты уже не можешь говорить, что тебя побуждают любовь к республике или заботы о благе общественном, потому что ни для этого города, ни для других никогда не было никакой пользы в осуждении невинных: иной раз скорее уместно закрыть глаза на какое-нибудь зло, но наказывать безвинного — никогда. Теперь ты не можешь отрицать, что разговоры о хищениях — это только злоба; ты думал уничтожить меня криком, поднять на меня народ, добиться того, чтобы судьи от испуга или отвращения не захотели меня слушать; ты надеялся возвыситься на моей крови, прослыть ревнителем республики, которая в интересе своем не посчиталась бы с тем, что ты поступал из личной вражды. Если бы ты думал, что меня выслушают, что судьи будут разбирать дело по правде, а не по слухам, что народ проявит осторожность, ты не потратил бы на все это столько труда и не дал бы мне случая показать свою невинность; я благодарен тебе не за намеренье, а за твою злобу или неосторожность, потому что иначе правда узналась бы не так скоро и в умах людей могло бы остаться какое-нибудь сомнение; теперь, когда по милости твоей меня испытали, я уйду отсюда более чистым и светлым, чем

когда-либо в жизни. Итак, требуйте отчета у Алессандро, а не у меня.

Однако я готов согласиться с обвинителем, я хочу удовлетворить его во всем и признать, что отчет о деньгах, истраченных на жалование солдатом, касается меня так же, как и Алессандро; пусть я обязан отвечать, если хищения были; если откроется обман, пусть не ищут виновного, а скажут, что это сделал я. Вы видите, как велись книги, как они проверялись, в каком они порядке; вы слышали, как Алессандро вчера оправдался во всем, представил осмотренные книги, предъявил расписки военачальников, удостоверения, только что полученные от множества синьоров, из которых каждый охотнее согласился бы быть кредитором, чем сказать, что ему заплатили. Какое же осталось сомнение? О чем еще спорить? Я утверждаю решительно, что никакого воровства здесь нет, так как я ведал все эти дела и, кроме того, знаю, что если бы жалование не было роздано в те дни, как записано у Алессандро, ропот солдат дошел бы до меня; они пришли бы ко мне с жалобами и требованиями моих приказаний; я ничего этого не слышал, а книги большей частью я осматривал сам. Поэтому я знаю, что могу поручиться за Алессандро совершенно спокойно. Да будет вечная хвала богу, я, судьи, в одном доволен вполне и никогда не испытывал такой радости; всем ясно, что я не вор, народ видит, что я не расхищал денег, и я вернул себе, таким образом, свое старое честное имя; дела мои ясны и чисты, как ни-

когда. Я не расхищал и, значит, не отдавал ваши земли на разграбление, так как мы признали, что одно без другого быть не могло. Однако меня могут спросить, почему же нанесено столько вреда, откуда такая распушенность войск; если это не злой умысел с твоей стороны, значит это небрежность или неумение?

Я мог бы отделаться одним словом,— именно сказать, что меня судят за хищения, а не за неспособность; судьи имеют право расследовать и судить только те преступления, в которых я обвиняюсь. Однако я ставлю себе более высокие цели, чем избежать кары, и думаю не столько о выигрыше дела, сколько о том, чтобы оправдаться во мнении каждого, как по тем обвинениям, о которых здесь говорилось, так и по тем, о которых здесь, может быть, думали, но молчали; поэтому я глубоко благодарен, что мне дается случай об этом говорить, и прошу всех слушать меня с тем же вниманием; если я вам ясно покажу, что грех не во мне, я заставлю вас наглядно ощутить, что здесь нет вины и что никто из пострадавших за это время не претерпел того, что вынес и выношу я ради каждого из них; я не только приобрел жесточайших врагов, но не раз шел на верную смерть.

Судьи и благороднейшие граждане, не думайте, что пострадала только эта страна и что солдаты начали своевольничать только к концу войны. Знайте, что всюду, где они стояли, происходило одно и то же, началось это не со второго и не с третьего месяца, а с первого же дня, с первого часа войны; дело не в тех или

других солдатах, а во всех, как французских, так и венецианских или наших; когда мы подошли к стенам Милана, вся страна встретила нас как друзей, потому что видела бесчинства испанцев и надеялась, что войска Лиги ее освободят и будут обходиться с ней хорошо. Но оказалось, что ей стало хуже, а не лучше, и все сделались заклятыми нашими врагами. То же самое произошло впоследствии в Парме, в Пьяченце, в Болонской области; таким образом, когда мы вступили в Романью, многие города, до которых дошла эта молва, закрыли перед нами ворота, а те, кто этого не сделал, скоро раскаялись. Вы знаете, что случилось потом; то же самое произошло в Римской области, а это привело в отчаяние всю партию Орсини, ожидавшую нас с нетерпением; то же самое было всюду, где стояли или сейчас стоят войска. Спросите все эти страны, и вы увидите, что всюду и везде творилось одно и то же; из-за этого создались бесконечные трудности для самого дела, так как нехватало ни продовольствия, ни проводников, ни лазутчиков, — словом, всего, что можно найти в дружеской стране. Причина всех беспорядков и насилий прежде всего в природе солдат, всегда склонных грабить и обижать; этот печальный их обычай пошел не от наших времен, — это старое зло, родившееся вместе с ними. Разве вы не помните древней пословицы, что солдату платят за одно зло, а он делает еще худшее? Значит, они всегда были одинаковы. Спросите у старых людей, помнящих войну 1478 и 1479 го-

дов; они расскажут вам, что делалось в Вальдэльзе⁷¹ и во всех местностях, где только были лагери. В наши времена эти печальные дела пошли еще хуже, и это можно понять по примеру испанских войск, как известно, распущенных и жадных; однако у них есть некоторое оправдание или, вернее, извинение, потому что им почти никогда не платят, и они вынуждены жить грабежами; при этом они грабят так, что своеволие без жалованья выгоднее для них, чем жалованье без своеволия. Пример испанцев научил остальных, а так как человек по природе своей всегда преуспевает во зле, то другие войска привыкли жить по тому же образцу, хотя жалованье свое получали; из этого следует, что в наши дни войска всего хуже обращаются со своими; начальники их не властны или не хотели им мешать, потому ли, что природа склоняет их также больше к злу, чем к добру, потому ли, что от грабежей кое-что достается им самим, потому ли, что, позволяя солдатам все, что угодно, они обеспечивают себе их расположение и солдаты охотнее за ними идут. Я ни для кого не делаю исключений; я могу сослаться на синьора Просперо, маркиза Пескара, маркиза мантуанского, на всех остальных: все одинаковы, все на одно лицо. В таких войсках, как у нашей Лиги, причины зла еще сложнее, потому что, если кто-нибудь заботится о своих людях, он уже не может заботиться о других; если какая-нибудь часть насильничает, невозможно помешать другим насильничать еще хуже; они возбуждаются от примера и могут оправдывать

и покрывать друг друга; одно войско принадлежит множеству епархий, а начальники лагеря не могут сговориться, чтобы обуздать своих солдат. Все это привело к страшному злу: французские солдаты оплачивались плохо, их начальник был способен на что угодно, кроме командования войсками, он не мешал им ни в чем, солдаты грабили без удержу, жгли дома и натворили величайших бед, а остальные, по примеру и в сообществе с ними, начали делать то же самое; действительно, венецианцы и наши солдаты сильно бесчинствовали еще до выступления в поход, но это было несравнимо с тем, что они творили потом. Таковы общие причины множества беззаконий; к ним прибавились и причины частные.

Черные отряды, наделавшие много зла, избаловались уже под начальством мессера Джованни, который давал им полную волю, а после его смерти дело пошло еще хуже, так как они целые месяцы были совсем без начальников или брали себе начальников, каких хотели. Происходило это оттого, что как раз ко времени смерти мессера Джованни, под начальством которого черные отряды занимали Мантуанскую область, ландскнехты перешли По; мы были застигнуты этим врасплох, союзные войска нас покинули, и мы вынуждены были послать черные отряды в Пьяченцу, где они разместились, как хотели, и, не чувствуя на себе никакой узды, позволяли себе все; граф Гвидо Рангоне, приехавший туда позднее, дал им такую волю, что отряды эти становились все хуже, я же был тогда в Парме,

откуда не мог ни уехать, ни что-нибудь предпринять. Мы были в слишком большой опасности (потому что ландскнехты твердой ногой стояли между Пармой и Пьяченцей, а испанцы ежедневно готовились выступить из Милана и уже решили направиться к Флоренции), чтобы позволить себе их уничтожить или распустить; когда мы хотели дать им нового начальника, они отказались его принять и заключили между собою своего рода соглашение, которое нам по необходимости пришлось терпеть. Нет более надменного и менее разумного зверя, чем солдат, понявший, что пришло его время.

Затем начался поход ландскнехтов на Болонью и Романью, и так как нам приходилось защищать множество земель, то герцог урбинский решил их пропустить, а мы разбросали войска по всей стране; таким образом, черные отряды всегда стояли далеко от меня и справиться с ними было невозможно. Поэтому, когда папа заключил первое условие с вице-королем⁷² и во Флоренции шли переговоры о том, чтобы увеличить сумму, я, сколько мог, убеждал не обращать внимания на деньги, все время доказывая в своих письмах, что друзья навредят нам хуже врагов. Вот множество писем, где это сказано.

Я знал, насколько распущены черные отряды, знал порочный и несносный нрав графа Кайяццо, человека неразумного, бессовестного и безбожного,— знал, что граф Гвидо обычно разрешает своим солдатам все, знал, как бедна наша страна, как трудно будет добывать продовольствие, знал,

что это даст солдатам повод творить еще худшие насилия; все это меня тем более пугало, что враги шли на Тоскану, я же должен был двигать вперед наши разбросанные отряды, но не мог идти вместе с ними. Необходимость заставляла меня не отставать ни на шаг от маркиза салуццского, потому что каждый день приносил важные решения, а вместе с тем надо было устранять все новые и новые препятствия для него идти нам на помощь, если ландскнехты во время этих споров прошли бы вперед; спасение наше, как вы знаете, было в том, чтобы войско Лиги также переправилось через По, и ради этого надо было бросить все остальное; то же самое продолжалось, когда мы были во Флоренции, и так как надо было решать и ускорять ход дел, я не мог отделяться ни от герцога урбинского, ни от маркиза. Таким образом, черные отряды остались без начальника, и со смерти синьора Джованни я видел их только раз — когда они переходили площадь в Болонье; граф Кайяццо был злейший грабитель, а пехотинцы графа Гвидо с его разрешения натворили таких ужасов, что память о них изгладится не скоро. Судьба устроила так, что я не мог приехать и принять меры, а, между тем, будь я на месте, может быть, мне удалось бы что-нибудь предотвратить; не говорю, что я мог бы предупредить все, ибо нельзя сделать худшее зло, чем давать этим важным синьорам большие отряды солдат.

У графа Кайяццо было две тысячи пехоты, у графа Гвидо — три; солдаты признавали на-

чальниками их, а не меня: приказывать нехотел я не мог, с кашганами надо было обращаться осторожно, так как мы были в воде по самую шею; однако я не преминул сделать все возможное. Я говорил в Болонье со всеми начальниками черных отрядов, убеждая, упрашивая, требуя, чтобы они прилично вели себя в Тоскане; с этой целью я послал с ними комиссара, епископа Казале, старого слугу папы, человека высоких достоинств: сколько раз я приказывал это на словах графу Кайяццо, просил и заклинал его о том же в своих письмах. Вот вам его ответы, в которых он обещает мне все, и вы можете по этому судить, соглашался ли я на грабеж; то же самое скажу о графе Гвидо, и когда я видел, что все напрасно, я не переставал требовать, шуметь и гневаться. Конца не было разговорам моим об этом деле с графом Кайяццо в доме Медичи, но все слова для моей цели были напрасны; однако для меня они даром не прошли: всему войску в Римской области известно, как солдаты, видя, что дело папы проиграно, столпились однажды утром на улице, чтобы меня убить, и я был в такой опасности, что, когда я об этом вспоминаю, меня охватывает ужас. Бог, покровитель невинных, помог мне тогда, как помогал много раз. В общем я не пожалел никаких усилий и сделал все возможное, чтобы таких беспорядков не было; никто в этом случае не сумел бы и не смог бы сделать больше, чем я. Я хорошо знаю, сколько здесь было горя и зла. Я бы охотно обошелся без этих отрядов, так как

видел, что они натворят, но у меня был приказ их вести, а кроме того меня заставляла необходимость, потому что я не хотел отдаться на волю врагов, которые, не будь этой помощи, обошлись бы с Флоренцией, как с Римом. Зная теперь ход этого дела, вы можете быть уверены, что все несчастья произошли вопреки моей воле, и я не мог их предупредить; если я мог заставить себя слушаться в Романье и Ломбардии, где имя мое внушало страх, насколько же больше я сделал бы это здесь, где у меня среди пострадавших было много родных и друзей, а все остальные — это граждане, которых я видел каждый день и должен был бы ценить их любовь, а не стараться стать ненавистным всем без малейшей пользы для себя.

Не думайте, судьи, что до меня каждый день не доходили тысячи жалоб, тысячи слухов, что я не знал, как дурно обо мне говорили; это было для меня точно удары ножом в сердце; даже не из любви к другим и не во имя исполнения долга, а только ради моей чести я готов был отдать свою кровь; я был бы счастлив, если бы мог это сделать, потому что в моем положении смерть была бы для меня милостью. Однако нельзя сделать невозможное. Поэтому я прошу пострадавших, которые в увлечении или по ошибке желали мне зла, подумать о том, что было в действительности, прошу их руководиться разумом и не винить меня за дело, которое было не в моей власти; пусть они не приписывают мне такой злобы, что я мог со-

гласиться на эти бесчинства, не считают меня таким безумцем, что я без всякой пользы для себя захотел опозориться и нажить множество врагов, таким ничтожеством, которое ничего не предприняло, когда это было возможно; негодование, гнев, задетая честь восполнили бы в этом случае недостаток способностей.

Остается сказать о последней части обвинения, когда заговорили о моем честолюбии, и обвинитель, которому не удалось запятнать меня настоящими преступлениями и пороками, старался уничтожить меня подозрениями и убедить меня, что я опасен для свободы. Я отвечаю только на то, что он считал гвоздем обвинения, и оставляю в стороне все остальное, так как говорить о таких бледных вещах — значило бы попусту вас утомлять; к чему отвечать на то, что он говорил о моем детстве и об Алкивиаде, потому что это не только бесконечно далеко от истины, но говорится без всяких оснований, без свидетелей, без малейшего признака правдоподобия. Не могу не восхищаться мудростью обвинителя, который в деле такой важности, при таком стечении народа, перед такими судьями говорил о моем детстве не иначе, как он говорил бы в обществе детей. Детство мое, как по воспитанию, так, говоря скромно, и по образованию, прошло так, что, если во время моей юности и впоследствии обо мне составилось хорошее мнение, как признал сам обвинитель, оно не противоречило моим молодым годам, а, наоборот, коренится и основывается именно на этой поре; здесь не было ни испор-

ченности, ни легкомыслия, ни потери времени; конечно, я получил эти свойства от моего отца, прекраснейшего человека и великого трудолюбца, но если бы природа моя была им враждебна, они скорее покорились бы ей, а не увлекли бы ее за собой. Однако оставим эти неделасти и все, что относится ко времени до моего отъезда в Испанию, так как обо всем этом обвинитель только и мог сказать, что я хотел вмешаться в городские распри и ради этого женился против воли моего отца на дочери Аламанно Сальвиати. Что же из этого получилось? Только одно — я не стал ввязываться в эти дела, чтобы не огорчать моего отца.

Смотрите, судьи, что такое страсть, что такое человеческая злоба и желание оклеветать, как оно ослепляет, как отнимает у людей весь ум и понимание: если дети обычно в чем-нибудь слушаются отца и следуют его воле, так это в выборе жены, и поступить иначе они не могут. Ведь одеть жепу, привести ее в дом и содержать можно только с помощью отца, а обвинитель хочет, чтобы я при выборе жены с отцом не считался, но потом отказался бы от тех последствий, ради которых совершил такую ошибку. Возможно, что он показал вам некоторые мои свойства, но все это так легкомысленно, что мне стыдно говорить о таких вещах, особенно, когда их высказывают без малейшего признака доказательства, так что если их начнут отрицать, то возражать будет нечего. Оставим весь этот вздор и обратимся к другим вещам, столь же мало доказанным, как и остальное,

но которые были бы слишком важны, если бы они оказались справедливыми.

Обвинитель, в сущности, ставит мне в вину три вещи: первая — что во время своего посольства в Испании я вместе с королем подготовил возвращение Медичи; вторая — что я в день святого Марка прогнал народ с площади и отнял у него дворец; третья — что я был виновником войны. Все остальное в его речи должно навлечь на меня подозрение и убедить всех, что меня следует наказать, даже если я невинен и никакого греха на мне нет; таким образом, я должен быть осужден без доказательств, без малейшего признака улики, только по общему предположению и в силу мнения, брошенного на ветер.

Прежде чем отвечать на все это подробно, прошу вас, судьи, слушать меня с тем же вниманием, как и до сих пор; вы снова наглядно убедитесь, что я был так же бескорыстен во всем, что касалось нашей свободы и вашей политики, как и в деле о ваших деньгах; не меньше будете вы удивляться неосторожности и отваге обвинителя, который не стыдится говорить вещи явно лживые, довольствуясь пустыми выдумками, и думает, что одними восклицаниями и угрозами можно скрыть правду, угнетать невинность и обманывать судей...

(Не окончено)

КОММЕНТАРИИ

ЗАМЕТКИ О ДЕЛАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ГРАЖДАНСКИХ

¹ Запись, открывающая* «Ricordi politici»,— одна из наиболее поздних. Она сделана на седьмом месяце осады Флоренции, приблизительно в мае 1530 года. Гвиччардини во всех своих заметках, кроме одной (253), всегда говорит о религии в тоне внешней сдержанности и глубокой внутренней отчужденности, как о предмете постороннем и далеком. Собственно, он говорит даже не о религии, а о том, какую позицию должен занять в этом вопросе читатель его афоризмов, положение которого было далеко не легким, так как Гвиччардини учит его руководиться разумом (382), указывая в то же время на тесные границы рационального познания (125), воспитывает его в культе опыта (10, 293) и факта, тут же оговариваясь, что есть вещи, которым никакой опыт научить не может (186), утверждает существование духов (211) и в гораздо большей степени, чем Макиавелли, подчиняет человека силе судьбы (30, 31, 138, 216). Очень характерно, что он впервые задумался о сущности религиозного опыта в связи с чисто политическим фактором, осадой Флоренции папскими и императорскими войсками, когда ему пришлось встретиться с явлениями, необъяснимыми с точки зрения

его общих предпосылок. «Безумство храбрых», превратившее расчетливых флорентийских куццов в воинов, всецело захваченных борьбой, и затянувшее безнадежное сопротивление на десять месяцев, сильно озадачило холодного и тонкого политика (1, 136). Гвиччардини ищет объяснений этому новому для него факту. Он хочет подвести какую-то основу под «упорство» осажденных и находит ее в сфере, глубоко ему чуждой. Он может определить ее только как «внеразумную», но уже не может отказать ей в политической значительности, так как она дает эффекты, недостижимые обычными путями. Однако скепсис остается в силе, и когда Гвиччардини описывает осаду Флоренции в «Истории Италии», он только констатирует невиданное «упорство» своих сограждан, покинутых «богом и людьми, не пытаюсь давать ему психологические объяснения («Storia d'Italia», 1832, VI, 268).

² Во время осады церковные проповедники вспоминали пророчества Савонаролы о том, что Флоренция за грехи свои будет наказана и осуждена папой по имени Климент, но она раскается, и ее спасут ангелы.

³ Основное теоретическое утверждение Гвиччардини, коренным образом отличающее его от Макиавелли, который, наоборот, всегда исходит из определенных общих положений. Гвиччардини, для которого разум не в силах формулировать общую норму, объясняющую какой-нибудь ряд явлений, знает только отдельный факт и заранее отвергает всякие общие суждения и абстрактные конструкции.

⁴ Вопрос о «тирании» особенно занимал Гвиччардини. В «Ricordi» ему отведено едва ли не наибольшее количество заметок (13, 18, 98, 99, 100, 101, 103, 220, 300, 301, 303, 304, 305, 330), написанных pro domo sua, так как под общим вопросом о тирании скрывался конкретный вопрос о Медичи. В этом отношении позиция Гвиччардини, помимо семейных традиций, определилась с самого начала его карьеры, так как уже наиболее ранние заметки (330, 305, 304, 303, 301, 300) развивают ту философию приспособ-

ления, которая только повторяется в афоризмах позднейшего периода.

⁵ Запись, почти буквально повторяющая более раннюю заметку (282) и характерная для чисто политической оценки религии.

⁶ Гвиччардини имеет в виду вторичное падение власти Медичи, 16 мая 1527 года, когда были изгнаны оба медичейские бастарда: Инполито и Алессандро.

⁷ *Большой совет* — популярнейший институт флорентийской конституции, установленный Савонаролой. В состав Большого совета входили все граждане Флоренции, достигшие двадцатидевятилетнего возраста, отцы, деды и прадеды которых были членами высших государственных учреждений. В компетенцию Большого совета входило утверждение всех законов и назначение на высшие должности. Численность его колебалась в разные времена от восьмисот тридцати до двух тысяч четырехсот человек, характеризую таким образом пределы флорентийской демократии (общая цифра населения около девяноста тысяч). Описывая учреждение Большого совета в «Истории Италии» (I, 248 и след.), Гвиччардини подчеркивает, что членами его могли быть только те, кто по «древним законам города» признавался способным участвовать в правительстве, но тут же прибавляет, что на этой основе мог бы создаться устойчивый государственный порядок, «если бы в то же время были введены все те учреждения, которые, по мнению благоразумных людей, были необходимы». Мысль о цензе, «политической способности» — одна из любимых мыслей Гвиччардини, являвшегося в этом отношении прямым предшественником буржуазных политиков первой половины XIX века. В «Ricordi politici» она высказана с четкостью (109, 233), не уступающей формулировкам Гизо.

⁸ Отношение Гвиччардини к духовенству и папскому управлению, особенно интересное для деятеля, сделавшего всю свою карьеру на папской службе, высказано с такой резкостью не только в «Ricordi» (28, 236, 246). Рассказывая в «Истории Италии» о походах Цезаря Борджа в Ромашье, Гвиччардини пред-

посылает этому целый очерк постепенного развития светской власти пап, в котором пишет: «Такими путями и средствами, отдавшись целиком мыслям о мирском могуществе, забыв понемногу о спасении души и божественных предписаниях, обратив все свои мысли к светскому величию, пользуясь духовной властью только как орудием власти светской, папы казались теперь скорее свирепыми государями, чем первосвященниками. Они не заботились уже больше о святости жизни, о ревностном распространении веры, о любви к ближнему, а думали только о войсках и о войнах против христиан, копили богатства, издавали новые законы, изобретали всякие способы и ухищрения, чтобы набрать отовсюду денег, ни с чем не считаясь, пользовались для этого духовным оружием и бессовестно торговали духовными и светскими вещами (II, 116 и след.). Однако, излагая начало Реформации и признавая, что Лютер имел «достаточно честные или по крайней мере извинительные поводы для восстания против курии» (V, 340), Гвиччардини резко критикует его за то, что он открыл борьбу против догматов, а не сосредоточил «всю силу своего бунта на реформе нравов духовенства». Гвиччардини формально оставался, таким образом, в пределах церкви: открыто порывать с ней было еще не время» *Otéléá*, «Fr. Guichardin' sa vie publique et sa pensée publique», 1926, 320).

⁹ Флоренция с конца XIV века управлялась крупной торговой олигархией, опиравшейся на старшие цехи и возглавлявшейся Альбицци. Политическое равновесие, установленное после ликвидации восстания чомпи (1378) между этой буржуазной аристократией и младшими цехами, быстро нарушается. Уже в 1382 году участие младших цехов в высших органах управления, синьории и коллегиях ограничено одной третью, в 1387 году — одной четвертью членов. Однако в пределах победившей олигархии происходит быстрый процесс концентрации власти. Традиционные институты флорентийской конституции (синьория, коллегия, советы) теряют всякую реальность и сохраняются только для механического утверждения решения дей-

ствительных правителей. Все управления сосредоточены в руках сначала Мазо Альбицци (ум. в 1417 году), а после него Никколó да Удзано и Ринальдо Альбицци. Исконные соперники Альбицци, банкир Джованни Медичи и его сын Козимо (1388—1464) опираются в борьбе с ними на младшие цехи и на часть прежней аристократии, которой возвращается право гражданства, отнятое за полтора столетия до прихода Медичи к власти.

¹⁰ Конкретизируя это положение, Гвиччардини писал о себе самом: «Когда я советовал перебить пизанцев или держать их в тюрьме, я, может быть, поступал не в духе христианской религии, но в полном согласии с разумом и обычаем государства. Тот, кто порицал бы такую жестокость, но советовал бы вместе с тем употребить все усилия, чтобы взять Пизу, рассуждал бы так же не по-христиански, как и я, потому что его совет привел бы к бесконечным бедствиям ради завоевания того, что по совести вам не принадлежит» (*Otétéa*, 252).

¹¹ Гвиччардини считал 1494 год, связанный с походом Карла VIII, годом рокового перелома в истории Италии. С этого времени начались не только государственные перевороты, разрушения царств, разорения областей, грабежи городов, кровавые убийства, но тогда же появились новые нравы, новые обычаи и жестокие способы войны («*Storia d'Italia*», I, 162). См. там же подробное описание переворота, произведенного в итальянской психике действием артиллерии, которая привела всю Италию в такой ужас, что тот, кто не мог оказать сопротивление в поле, вообще не имел никакой надежды себя отстоять (V, 100).

¹² Колонна, Просперо — знаменитый кондотьер; командуя союзными папскими и испанскими войсками, разбил 19 ноября 1521 года французов у Милана.

¹³ Гвиччардини имеет в виду политику нейтралитета, проводимую Содерини во время войны между «Священной Лигой» — папы, Испании и Венеции — против Франции. Политика эта косвенно подготовила реставрацию Медичи.

¹⁴ Злодейство, о котором говорит Гвиччардини, — захват власти Лодовико Моро, устранившего своего племянника Джан Галеаццо Сфорца и в значительной степени вызвавшего поход Карла VIII в Италию.

¹⁵ *Пескара*, маркиз (1489—1525) — родом неаполитанец испанского происхождения, крупный военный деятель, командовавший после битвы при Павии войсками Карла V в Италии. Когда в 1525 году Джироламо Мороне, министр герцога миланского Франческо Сфорца, составил заговор, целью которого было изгнание французов и испанцев из Италии, он обратился за содействием к Пескара, который выдал его планы императору. Гвиччардини, конечно, не мог простить это испанскому полководцу и характеризует его, как человека крупного военного таланта, но падменного, неверного, лукавого, пейскренного и вполне достойного иметь родиной Испанию, а не Италию («Storia d'Italia», V, 249). Пескара был женат на Виттории Колонна, знаменитой поэтессе и платонической подруге Микельанджео.

¹⁶ *Веттори*, Франческо — флорентийский политик, друг и корреспондент Макиавелли. В 1522 году содействовал падению Содерини и возвращению Медичи. В 1527 году играл весьма двусмысленную роль в событиях, кончившихся вторичным свержением Медичи. В 1530 году был послан в Рим для переговоров. После падения Флоренции — один из главных организаторов нового порядка.

¹⁷ *Флорентийский ломбард*, Monte — управление государственного долга, одно из старинных учреждений Флоренции, организованное впервые в 1222 году. Главный орган финансового управления.

¹⁸ Воспроизведено в «Истории Италии» (I, 183). Гвиччардини иллюстрирует свою мысль ссылкой на Пьеро Медичи, намеревавшегося в 1494 году спасти свою власть при помощи Франции и повторить тактику Лоренцо, которому после поражения Флоренции в войне с папой и Неаполем в 1479 году блестяще удалось обращение к Ферранте неаполитанскому.

¹⁹ Судьба помогает смелым.

²⁰ Судьба руководит тем, кто ей подчиняется добровольно, и подчиняет силой того, кто сопротивляется. Часто возвращаясь к мысли о силе судьбы, Гвиччардини поясняет ее рядом примеров, особенно военных, так как поражение или победа, по его мысли, определяются рациональными моментами («Storia d'Italia», I, 300).

²¹ Место выявляет человека.

²² *Кардуччи*, Бальдассаре — флорентийский политик, посол во Франции в 1528 году, один из главных противников Медичи.

²³ *Гвальтеротти*, Франческо — политик и дипломат. При республиканском правительстве — один из ближайших сотрудников вождя демократов Франческо Валори. Посол в Венеции в 1529 году.

²⁴ *Барди*, Агостино — посол в Сиене в 1530 году.

²⁵ Идеалом князя, обладающим всеми чертами большого государственного деятеля, в том числе умением хорошо считать деньги, был для Гвиччардини Фердинанд Католик («Storia d'Italia», IV, 218).

²⁶ Взятие Рима испанцами и республиканский переворот во Флоренции.

²⁷ В 1510 году после открытия заговора на жизнь Содерини он внес проект передачи политических преступлений чрезвычайному суду — *Quarantia*, по образцу верховного венецианского трибунала. Проект был отвергнут коллегией восьмидесяти, своего рода государственным советом Флоренции, учрежденным 27 января 1495 года.

²⁸ Эта мысль, направленная против буржуазной олигархии, повидимому, явилась у Гвиччардини сравнительно поздно. В «Истории Флоренции», писанной, когда ему было двадцать восемь лет, он утверждает, что «правление Мазо Альбицци было самым мудрым, самым славным, самым счастливым, какое вообще существовало когда-нибудь в нашем городе». Позднее Гвиччардини считал, что Флоренция может выбрать только между Медичи и демократией. В «Истории Италии» находим весьма суровую критику республики, которая, под именем народной власти, установила правительство, клонившееся скорее к господству темно-

гих, чем к участию в нем всех. Дефект республиканского порядка усматривается также в том, что в нем отсутствуют те «умеренные силы, которые необходимы для достойной защиты свободы и вместе с тем предохраняют республику от вреда, неизбежного вследствие неопытности и произвола толпы» (I, 237, 463). Итальянский политик XVI века буквально предварил позднейшие рассуждения Монтескье и Константа.

²⁹ Патристическая мечта Гвиччардини об освобождении Италии от иноземцев только внешне сходна с мыслями Макиавелли. Автор «Ricordi» с его планами аристократической конституции совсем не был сторонником единства Италии. См. вводную статью.

³⁰ В Ферраре была установлена государственная монополия торговли местными продуктами: мясом, рыбой, солью, маслом и т. д.

³¹ В «Истории Италии» Лодовико Моро описан как человек «удивительного красноречия, ума, богато взысканный дарами духа и природы, который был бы достоин имени великодушного государя, если бы на нем не лежало бесчестие смерти племянника; однако, с другой стороны, ум его был суетный, исполненный мыслей беспокойных и честолюбивых, сам он презирал собственные обещания и данное слово» (II, 134).

³² Овладение Феррарой было постоянной целью папской политики при Сиксте IV и Юлии II.

³³ Гвиччардини дал характеристику Содерни в своих «Assise». Описывая падение республики в «Истории Италии», он говорит о Содерни, как о человеке, выпустившем из рук всю власть, скорее управляемом, чем управлявшем, нерешительном, отдавшемся на волю других, не сделавшим ничего ни для сохранения себя, ни для общего спасения» (IV, 12).

³⁴ Гвиччардини здесь очень близко подходит к рассуждениям Макиавелли в «Князе» о верно применяемой жестокости.

³⁵ *Ручеллаи*, Бернардо (1449—1514) — известный флорентийский деятель, родственник Лоренцо Медичи. После смерти Лоренцо — главный покровитель Фло-

рентийской академии. Руководитель и советник первых лет Пьеро Медичи, сына Лоренцо. Владелец знаменитых во Флоренции садов Ручеллаи, где флорентийская интеллигенция и молодежь собирались для философских бесед, от которых они незаметно перешли к заговору против Содерини. См. у самого Гвиччардини в «Обвинениях» (стр. 449—450).

³⁶ *Юлий II* (1503—1513) и *Климент VII* (1523—1534).— Гвиччардини, не любивший Юлия II, описывает его избрание приблизительно в тех же тонах, как и Макиавелли в своей «Римской легации» («Storia d'Italia», II, 284). Вообще он видит в нем правителя смелого и твердого, но с «непомерными замыслами и державшегося скорее благодаря почтению к церкви, распрям князей и условиям времени», чем силой умеренности и благоразумия: «будь он светским князем, он был бы достоин самой высокой славы» (IV, 48). Характеристика Климента в «Истории Италии» буквально повторяет сказанное в «Ricordi».

³⁷ О, умы, более острые, чем зрелые.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

¹ Приорат (позднее синьория) учрежден во Флоренции в 1282 году и заменил существовавшую коллегию четырнадцати «лучших людей» (buoni uomini), в состав которой входили представители как знати, так и буржуазии. Реформа была связана с умалением политической роли аристократии и мотивировалась тем, что в «торговой республике участвовать во власти должны только люди, причастные к торговле». Приоры представляли одновременно цехи и административные подразделения города — кварталы. Вначале их было три, по числу трех первых цехов, затем шесть, двенадцать, четырнадцать и, наконец, восемь. В 1348 году они получают название «приоров свободы».

До восстания чомпи младшие цехи выбирали только двух членов синьории, старшие — шесть. После недолгого периода равновесия в 1378—1382 годах между

крупной и средней буржуазией влияние последней снова падает, что конкретно проявляется в реформах 1384 и 1387 годов, сокративших число членов синьории от младших цехов до трех и до двух. Приоры выби-
рались на два месяца и должны были быть не мо-
ложе тридцати лет. Синьория существовала до 1532
года.

² *Гонфалоньер справедливости* — глава флорентий-
ского управления. Должность учреждена в 1293 году
для проведения антидворянского законодательства, ко-
дифицированного в *Ordinamenti della justizia*. Гон-
фалоньер должен был быть не моложе сорока пяти
лет и избирался из членов старших цехов. Восстание
1378 года отняло у них эту привилегию, впрочем
весьма скоро восстановленную. Являясь председателем
синьории, ведая городской военной силой, обладая
правом созыва советов и инициативы законов, гонфа-
лоньер естественно был активным центром управления,
влияние которого ограничивалось больше всего крат-
костью должностного срока (два месяца). В 1502 году
должность становится пожизненной, как средство укреп-
ления республики, и гонфалоньером избирается Пьеро
Содерини. Реставрация Медичи возвращает должности
ее краткосрочный характер. В 1527 году установлены
выборы гонфалоньера на один год, с правом трое-
кратного переизбрания. В 1532 году должность уни-
чтожена, и место гонфалоньера занимает герцог, глава
республики, с фактически неограниченной властью.

³ *Пополаны* — коренная флорентийская буржуазия,
организованная в цехи и обладавшая полнотой поли-
тической правоспособности.

⁴ *Висконти*, Джованни Галеаццо (1378—1402) — так
называемый *Conte di Virtù*, герцог милапский, один
из крупных итальянских политиков конца XIV века.
Образовал герцогство Милапское, получив на него ин-
веституру от императора, и расширил свои вла-
дения до Генуи, Болоньи и Тосканы, уничтожив мно-
жество мелких тиранов.

⁵ *Людвиг*, герцог анжуйский, брат французского
короля Карла V, был усыновлен в 1386 году не-
аполитанской королевой Иоанной. Борьба его с Кар-

лом III Дураццо за обладание Неаполем шла в 1382—1384 годах.

⁶ *Медичи*, Сальвестро — гонфалоньер в мае 1378 года. Вместе с Бепедетто Альберти, Томмазо Строцци и Джорджо Скали боролся против крупнобуржуазной олигархии и проектировал возобновление законодательства 1293 года. Встретившись с сильной оппозицией, он обратился к народу и вызвал восстание чомни.

⁷ *Военная коллегия восьми* (*Otto della guerra*) учреждена в 1376 году и пользовалась почти неограниченной компетенцией в области военного дела, дипломатических отношений, назначения послов и комиссаров при войсках. Этот институт пережил длинный ряд превращений и фигурирует впоследствии под именем коллегии десяти, секретарем которой был, между прочим, Макиавелли.

⁸ *Подеста* — должность, учрежденная в 1207 году. Первоначально избирался на полгода не из граждан Флоренции. Исполнитель постановлений городской власти и верховный орган гражданского и уголовного суда. В 1502 году должность уничтожается и вместо нее учреждается особый суд, *Ruota*, члены которого председательствовали по очереди в качестве подеста.

⁹ Почетный титул, введенный после уничтожения старых дворянских прав и связанный с некоторыми денежными преимуществами.

¹⁰ Война между Флоренцией и Джованни Галеаццо Висконти, которую Флоренция вела в союзе с Робертом Пфальцским, избранным германским императором в 1400 году, тянулась без успеха для Флоренции до самой смерти герцога миланского.

¹¹ *Пиччинино*, Никколò (умер в 1444 году) — кондотьер на службе герцога миланского Филиппо Мариа Висконти.

¹² *Фортебраччи*, Никколò — кондотьер, сын полководца Браччо дель Монтоне.

¹³ *Сфорца*, Франческо — герцог миланский (1447—1465).

¹⁴ *Браччо дель Монтоне* — кондотьер, соперник Сфорца и учитель Пиччинино (умер в 1427 году).

- ¹⁵ *Вольтерра* — город в Пизанской области.
- ¹⁶ *Ареццо* — город в долине Кианы.
- ¹⁷ *Кастрокаро* — укрепление в Тоскане.
- ¹⁸ *Прато* — город в Тоскане.
- ¹⁹ *Лари* — город на территории Пизы.
- ²⁰ Война началась в 1423 году.
- ²¹ Город в Аbruццах.
- ²² 27 июля 1424 года флорентийцы под начальством Карло Малатесты были разбиты миланцами.
- ²³ *Медичи*, Аверардо — двоюродный брат Козимо, флорентийский политик и дипломат.
- ²⁴ Сражение флорентийских войск с миланцами при Ангьяри 9 октября 1425 года.
- ²⁵ Лука Альбицци, женатый на Медичи, был их сторонником вопреки семейной традиции.
- ²⁶ *Гуаданьи*, Бернардо — флорентийский политик, гонфалоньер в 1433 году, один из инициаторов изгнания Козимо Медичи.
- ²⁷ *Пандольфини*, Аньоло — флорентийский политик, сторонник Альбицци. После прихода к власти Козимо Медичи ушел от политической деятельности.
- ²⁸ *Нери ди Джинно* — Нери Капцони, один из крупнейших флорентийских политиков и сотрудников Козимо Медичи, полководец, посол в Венеции, член коллегии десяти. Умер в 1457 году.
- ²⁹ *Сальвиати*, Аламанно — тесть Гвиччардини, флорентийский политик и дипломат, один из инициаторов реформы должности гонфалоньера в 1502 году. Посол при германском императоре Максимилиане.
- ³⁰ *Аччайоли*, Донато — флорентийский политик эпохи Альбицци, гонфалоньер в 1391 и 1394 годах. Принадлежал к древнейшему флорентийскому роду. За оппозицию олигархии изгнан из Флоренции. Один из первых представителей неоплатонизма во Флоренции.
- ³¹ *Валори*, Бартоломмео — флорентийский политик, игравший крупную роль в правление Альбицци.
- ³² *Медичи*, Лоренцо — брат Козимо.
- ³³ *Аччайоли*, Аньоло — флорентийский политик, партии Козимо Медичи. Посол в Венеции. Член коллегии десяти.

³⁴ *Перуцци*, Ридольфо — флорентийский политик, близкий к Ринальдо Альбицци.

³⁵ *Миланеко* — флорентийская лига против Венеции.

³⁶ Поражение миланских войск венецианцами 2 октября 1427 года.

³⁷ Город в Лукканской области.

³⁸ Город в Тоскане, недалеко от Флоренции.

³⁹ Город в области Ареццо.

⁴⁰ *Альфонс Аррагонский* — неаполитанский король (1442—1458).

⁴¹ *Пьомбино* принадлежал Катерине Анниано. Флоренция давно стремилась овладеть этой крепостью; с другой стороны она привлекала короля неаполитанского, стремившегося укрепиться в Центральной Италии, как опорном пункте на пути в Ломбардию. Осада *Пьомбино* началась в мае 1448 года.

⁴² Мир, заключенный 9 апреля 1454 года между Венецией и Миланом, к которому присоединилась Флоренция (23 апреля) и позднее всего Неаполь (26 января 1455 года).

⁴³ *Борджа*, Альфонсо — папа Калликт III (1455—1458).

⁴⁴ *Никколони*, Энца Сильвио — кардинал Спены, ученый и историк, ставший папой Пием II (1458—1464).

⁴⁵ *Ферранте Аррагонский* — незаконный сын Альфонса Аррагонского, король неаполитанский (1458—1494).

⁴⁶ *Барбо*, Пьетро — родом венецпанец, епископ Червии, кардинал Сан Марко, папа Павел II (1464—1471).

⁴⁷ *Содерини*, Томмазо — отец гонфалоньера Пьеро Содерини, флорентийский политический деятель и дипломат, один из ближайших советников Лоренцо Медичи. Три раза был гонфалоньером. Посол в Венеции (1468), член коллегии десяти (1478). В 1529 году участник посольства, отправленного флорентийской республикой к императору Карлу V с протестом против действий папы Климента VII.

⁴⁸ *Никколини*, Отто — политический деятель, сторонник Медичи. Гонфалоньер в 1460 году.

⁴⁹ *Нероне, Днетисальви* — друг Козимо Медичи, гонфалоньер в 1449 и 1454 годах. Был сначала советником его сына Пьеро, но скоро от него отошел и в 1466 году оказался во главе заговора, направленного к ограничению его власти и восстановлению могущества крупной буржуазии. После провала заговора был изгнан из Флоренции и ушел в Венецию. Вернулся во Флоренцию после падения Медичи в 1494 году.

⁵⁰ *Коллеони, Бартоломмео* — кондотьер, видный венецианский полководец. В 1467 году стоял во главе экспедиции против Флоренции, организованной флорентийскими эмигрантами при неофициальном покровительстве Венеции.

⁵¹ *Содерини, Никколò* — брат Томмазо Содерини, гонфалоньер в 1465 году. Участник заговора Днетисальви Нероне, направленного к свержению Пьеро Медичи, после чего был приговорен к изгнанию и жил в Венеции.

⁵² *Монтефельтро, Федерико* (1444 — 1482) — герцог Урбино, один из наиболее видных итальянских князей XV века. Командовал флорентийскими войсками против Коллеони.

⁵³ Сражение при Молинелла 25 июля 1467 года между войсками Коллеони и Монтефельтро. Современники считают его крупным военным событием ввиду применения в нем в полевом бою артиллерии, употреблявшейся только для осады городов.

⁵⁴ *Малатеста, Роберто* — сын Сиджисмондо Малатеста, тиран Римини.

⁵⁵ Экспедиция, организованная папой Павлом II против Римини в 1469 году в союзе с мелкими тиранами Романьи, кончилась неудачей.

⁵⁶ *Сфорца, Галеаццо Мария* — сын Франческо, герцог миланский.

⁵⁷ Германский император Фридрих III.

⁵⁸ *Аккопаторами* назывались во Флоренции особые должностные лица, облеченные правом указания кандидатов на различные должности. Они назначались или синьорией, или балией, т. е. чрезвычайной комиссией, организованной господствующей партией и обладавшей диктаторскими полномочиями. Этот ин-

ститут был очень удобен для устранения политических противников, и Медичи часто к нему прибегали для фильтрации неугодных или неудобных фигур. Одним из первых актов Лоренцо, пришедшего к власти в 1469 году, было проведение закона, в силу которого назначались пять таких выборщиков, которые получали право назначить не только членов синьории, но и указать сорок граждан, которые в свою очередь наметят еще двести других, из которых составит большая коллегия, паделенная всеми правами флорентийского народа, кроме установления налогов.

⁵⁹ Имеется в виду союз, заключенный этими государствами в 1474 году, независимо от мирного договора 1454 года Венеции с Миланом, подтвержденного в 1471 году.

⁶⁰ Гвиччардини говорит о неудачной войне Флоренции с папой и королем неаполитанским, завершившейся известной капитуляционной поездкой Лоренцо в Неаполь.

⁶¹ *Кастелла* — укрепленный замок у входа в долину Кианы.

⁶² *Сан Северино*, Роберто — коцдотьер, бывший попеременно на службе Милана, Генуи и Венеции. В 1479 году воевал против Флоренции как начальник папских войск.

⁶³ Поражение флорентийских войск под начальством герцога феррарского Эрколе д'Эсте 7 сентября 1479 года.

⁶⁴ *Колле* — укрепленный замок Сиенской области.

⁶⁵ *Веспуччи*, Гвидо Антонио — флорентийский деятель, один из самых видных оптиматов, знаменитый юрист, посол во Франции (1480), гонфалоньер (1498).

⁶⁶ *Шитти*, Лука — ближайший друг Козимо Медичи. Три раза гонфалоньер. В правление Пьеро Медичи перешел в ряды его личных врагов и участвовал в заговоре 1465 года. После неудачи избежал изгнания благодаря личному заступничеству Пьеро Медичи. Строитель знаменитого дворца, законченного Медичи.

⁶⁷ *Морские консулы* — должность, учрежденная в 1421 году, после присоединения Ливорно (1407), для

заведывания Пизанской и Ливорнской гаванями и разрешения торговых споров.

⁶⁸ Город в провинции Асколи в 7 километрах от Адриатического моря.

⁶⁹ Местечко в провинции Аретцо.

⁷⁰ Селение во Флорентийской области — место смерти Боккаччо (в 1375 году).

⁷¹ Борсо д'Эсте, герцог феррарский (1430—1471). В 1468 году воюющие обращались к его посредничеству.

⁷² *Висконти*, Бьянка — дочь герцога Филиппо Мариа и жена Франческо Сфорца.

⁷³ *Никколини*, Отто — см. прим. 48.

⁷⁴ *Медичи*, Пьеро Франческо — племянник Козимо, сын его брата Лоренцо.

⁷⁵ Лига итальянских государств в целях общей защиты против турок заключена 22 декабря 1470 года, главным образом стараниями Павла II, и подтверждала условия общего мира 1454 года.

⁷⁶ Поводом для конфликта между Вольтеррой и Флоренцией было желание Лоренцо присвоить богатые квасцовые рудники в Кастельново. Обладание ими обеспечивало ему монополию на этот продукт, необходимый при ашпретуре шерстяных материй, и возможность установления цен. Спор перешел в восстание, закончившееся карательной экспедицией. Вольтерра сдалась флорентийским отрядам Федерико Монтефельтро Урбинского 18 июня 1472 г.

⁷⁷ Оборонительный союз Венеции, Флоренции и Милана, заключенный на двадцать пять лет 2 ноября 1474 года в противовес коалиции папы и короля неаполитанского, к которым присоединился и Федерико Монтефельтро Урбинский, назначенный главнокомандующим союзных войск.

⁷⁸ Людовик XII (1498—1515).

⁷⁹ Карл Смелый (1467—1477).

⁸⁰ Франческино Пацци, банкир папы Сикста IV, дал ему в 1477 году средства для экспедиции против Имолы, вопреки просьбам Лоренцо, который решительно настаивал на невмешательстве Пацци в это предприятие. Отсюда ненависть Лоренцо ко всему роду Пацци и длинный ряд репрессий, направленный

лично против них, между прочим специальный закон о наследствах. Брат Фрапческино, Джованни Пацци, должен был получить огромное наследство, так как жена его была единственной дочерью богача Джованни Борромей. По закону 1477 года, о котором здесь говорит Гвиччардини, в случае смерти без завещания племянник наследодателя получал преимущество перед дочерью, и так как постановлению была придана обратная сила, то все огромное богатство переходило в руки Карло Борромей, креатуры Медичи.

⁸¹ *Пацци*, Якопо — глава семейства Пацци. После неудачи бежал в Романью, но был схвачен, возвращен во Флоренцию и повешен 27 апреля 1478 года.

⁸² *Радда* — город недалеко от Сиены.

⁸³ *Брольо* — крепость в долине Кьянти, принадлежавшая семье Риказоли.

⁸⁴ *Монте Сан Савино* — крепость, господствовавшая над равниной Ареццо и Кортонь и над долинами Амбры и Арно.

⁸⁵ Крепость сдалась 8 ноября 1478 года.

⁸⁶ *Карло ди Монтоне* — сын знаменитого Браччо, кондотьер на венецианской службе, привлеченный Лоренцо Медичи для руководства флорентийскими войсками во время войны с папой.

⁸⁷ *Бакия* — чрезвычайный орган флорентийского управления с диктаторскими полномочиями. В данном случае бакия провела реформу конституции, значительно усилившую медичейский абсолютизм.

⁸⁸ Коллегия восьми (*Otto della Pratica*) постепенно стала на место формально не отмененной коллегии десяти по военным делам.

⁸⁹ *Вителли* — тираны Чита ди Кастелло в области Перуджи.

⁹⁰ *Риарио*, Джироламо — племянник, а по мнению современников сын папы Сикста IV, владетель Имолы.

⁹¹ Сикст IV, инициатор Феррарской войны, порвал со своими венецианскими союзниками уже через год и гарантировал неприкосновенность Феррары договором с королем Ферранте Неаполитанским 12 декабря 1483 года.

⁹² Франческо Гонзага, кардинал Мантуи, был председателем Кремопского съезда.

⁹³ *Сарцана* — крепость на пути из Флоренции в Геную. Куплена Пьеро Медичи у генуезцев 28 февраля 1468 года и захвачена ими обратно в 1480 году. Возвращение Сарцаны было одной из постоянных целей политики Лоренцо Медичи, которой он добился в 1487 году.

⁹⁴ Мир между Венецией и союзниками в Баньоло 7 августа 1483 года.

⁹⁵ Флорентийский политик, член коллегии десяти в 1472 году, один из видных «паллески».

⁹⁶ *Пандольфини*, Пьеро Филиппо — один из ближайших сотрудников Лоренцо Медичи.

⁹⁷ Борьба неаполитанских баронов с королем Ферранте, организованная папой Иннокентием VIII.

⁹⁸ *Сарцанелло* — укрепленное поселение около Сарцаны.

⁹⁹ *Бернардо дель Неро* — флорентийский политический деятель, представитель крайних паллески. В 1497 году был приговорен к смерти демократами во главе с Франческо Валори за недонесение о заговоре, целью которого было возвращение Пьеро Медичи, сына Лоренцо.

¹⁰⁰ *Содерини*, Паоло Антонио — флорентийский политик, ревностный сторонник Савонаролы, член коллегии десяти (1498). Умер в 1499 году.

¹⁰¹ *Барджелло* — начальник флорентийской полиции.

¹⁰² *Капитаны партии гвельфов* — один из старых институтов флорентийской конституции, учрежденный в 1267 году. Политический орган крупной буржуазии, выступавшей под знаменем гвельфизма. В их компетенцию входила защита интересов гвельфов и управление имуществами, конфискованными у гиббеллинов, наблюдение за состоянием крепостей и общественных зданий. Власть их одно время была очень сильна благодаря праву отвода осужденных ими лиц от занимаемых должностей.

¹⁰³ Будущий папа Лев X.

¹⁰⁴ *Кардинал Асканио Сфорца* — брат Лодовико Моро.

¹⁰⁵ Поход Карла VIII в Италию в 1494 году.

ВОСПОМИНАНИЯ О СЕБЕ САМОМ

¹ *Фичино*, Марсилио (1433—1499) — знаменитый флорентийский гуманист, главный представитель итальянского платонизма, центральная фигура флорентийской платоновской Академии.

² *Содерини*, Джованни Витторио — брат гонфалоньера Пьера Содерини, флорентийский ученый, политик и дипломат.

³ 1499—1500 — война с Пизой, казнь флорентийского полководца Паоло Вителли, обвиненного в измене, интриги Медичи, опасность движения Цезаря Борджа в Тоскану и т. д.

⁴ 1471—1505.

⁵ *Пени*, Франческо — флорентийский политик и дипломат, посол в Риме в 1502 году.

⁶ См. примечания к «Семейной хронике».

⁷ См. там же.

⁸ См. там же.

⁹ *Веттори*, Паоло — флорентийский политик, один из активных участников свержения Содерини. Посол в Риме (1512).

¹⁰ *Каппони*, Пьеро — сын политического деятеля и друга Козимо, Нери Каппони, яркий представитель аристократических тенденций и противник Медичи. В диалоге Гвиччардини о флорентийском государственном строе Каппони выступает как типичный защитник «узкой» формы правления.

¹¹ *Pratica* (пратика) — совещательные органы, периодически созываемые властями и состоявшие из лиц высокого положения, не занимавших, однако, официальных должностей.

¹² См. примечания к «Семейной хронике» и к «Заметкам о делах политических и гражданских».

¹³ *Каппони*, Никколò — сын Пьеро, известный политический деятель. Гонфалоньер в 1526 году. Играл видную роль в событиях, закончившихся вторичным свержением Медичи, и в 1527 году снова был избран гонфалоньером, сделавшись таким образом главой республиканского правительства. Переизбран в 1528 году. Обнаружил на этом посту крайнюю нерешительность,

строю проекты изменения конституции в олигархическом духе, вел тайные переговоры с папой, чем вызвал против себя резкую оппозицию и был вынужден уйти от власти.

¹⁴ Пиза сдалась окончательно 2 июня 1509 года.

¹⁵ Император германский Максимилиан I (1493—1519). Переговоры Флоренции с императором закончились соглашением 24 ноября 1510 года, по которому император получил 40 тысяч дукатов, а Флоренция — весьма иллюзорное утверждение всех своих вольностей и владений.

¹⁶ Будущий папа Лев X.

¹⁷ *Сеньи*, Бернардо — известный историк, автор истории Флоренции, племянник и апологет Никколо Капони.

¹⁸ *Аччайоли*, Роберто — флорентийский политик, один из видных палески, т. е. сторонников Медичи.

¹⁹ Гвиччардини имеет в виду трудность положения, в котором очутилась Флоренция в 1511 году, когда ей приходилось лавировать между Людовиком XII, требовавшим согласия флорентийского правительства на созыв в только что приобретенной Пизе анти-папского церковного собора, и папой Юлием II, угрожавшим ей за это арестом флорентийских купцов в Романье, конфискацией их имущества, войной и отлучением от церкви.

²⁰ Антифранцузская, так называемая «Священная Лига» была образована папой Юлием II в октябре 1511 года.

²¹ Франкофильской политике Содерини противопоставлялась его врагами политика безусловного нейтралитета между Испанией и Францией, откуда и вышло решение дипломатической миссии Гвиччардини в Испанию. Гонфалоньер согласился на это посольство нехотя, считая, что всякая победа Лиги над французами приведет к реставрации Медичи, которым покровительствовал папа, но, с другой стороны, рассчитывал выиграть время.

²² Фердинанд Католик.

²³ См. примечания к «Заметкам о делах политических и гражданских».

²⁴ *Ридольфи, Джованни Баттиста* — один из крупных представителей флорентийской аристократии, сторонник конституции по венецианскому образцу.

²⁵ Гвиччардини прямого участия в падении Содерини не принимал, но при вступлении Медичи во Флоренцию приветствовал их один из первых. Отсюда благоволение Медичи к Франческо. Поведение Гвиччардини при этой смене режима подверглось резкому осуждению его врагов, особенно Питти.

²⁶ *Гвиччардини, Луиджи* — старший брат историка, один из самых прямолинейных паллески.

²⁷ *Медичи, Лоренцо (1492—1519)* — герцог урбинский, после реставрации 1512 года управлявший Флоренцией по поручению папы.

²⁸ *Строцци, Маттео* — флорентийский политик, видный паллеско. В период 1527—1530 годов был одновременно сторонником оппортунистического республиканизма Никколò Капони. Участник посольства к Карлу V. После воцарения герцога Алессандро Медичи один из главных реорганизаторов флорентийских учреждений в духе абсолютизма.

²⁹ Вступление в Италию французского короля Франциска I (1515—1547).

³⁰ Будущий папа Климент VII.

³¹ Это автобиографическое письмо открывает целую серию сочинений Гвиччардини, в которых он дает свою апологию, связанную с его деятельностью во время Коньякской Лиги. Оценка положения, создавшегося в Италии после битвы при Павии (25 февраля 1525 года) привела Гвиччардини к совершенно определенной политике, которая ставила себе одну цель: освобождение Италии от иностранного владычества путем использования борьбы между Францией и империей. Гвиччардини был убежден, что утверждение испанцев в Милане должно было рано или поздно привести к их полновластному господству в Италии и, в частности, абсолютно неприемлемо для Рима. Вот исходная точка всей деятельности флорентийского историка, который со времен павийского поражения Франции был ревностным сторонником войны против Карла V и сосредоточил всю свою энергию на

создании новой коалиции итальянских государств, которая должна была возглавляться папой и получить военную помощь от Франции. «Его святейшество, если не верит императору, должно решиться на риск, при условии, что есть хоть какая-нибудь надежда на военный успех», писал он 24 декабря 1525 года. Политика эта проводилась Гвиччардини с исключительной энергией, несмотря на все препятствия, особенно колебания Франции, и привела к образованию Коньякской Лиги между Францией, Англией, папой, Венецией и швейцарцами, подписанной 22 мая 1526 года и предназначенной, по замыслу ее главного протагониста, быть не только орудием избавления Италии от испанцев, но и предупреждения всяких новых завоевательных попыток со стороны Франции.

Политическая задача была поставлена очень широкая, а для самого Гвиччардини началась центральная эпоха всей его деятельности. С этого момента, он — папский наместник при союзной армии и высший руководитель политики курии. Однако действительные силы, втянутые в игру, не были рассчитаны на такую грандиозную задачу. Коньякская Лига подрывалась отсутствием всякого действительного единства ее участников, дезорганизацией военного руководства и прежде всего несостоятельностью самого папы, все время метавшегося между собственными союзниками и испанцами и забывшего всякую возможность какой-нибудь последовательной политики. Коалиция, внутренне расшатанная с самого начала, естественно не могла устоять против концентрированной военной мощи империи Карла V. Кампания завершилась взятием и разгромом Рима (май 1527 года). С распадом Коньякской Лиги кончается период большой политики и для ее главного организатора — Гвиччардини. Непосредственно последовавший за этим переворот во Флоренции связан для него с резким изменением его положения и тяжелыми неудачами, о которых он повествует с таким риторическим пафосом и утомительными подробностями. В дальнейшем он уже не вершитель судеб Италии, а свидетель крушения Флоренции и послушный организатор медичейского

абсолютизма, тот добрый гражданин, любящий родину, который должен общаться с тираном для блага отечества (см. «Ricordi», заметку 330).

³² Пленение Климента VII после взятия Рима 6 мая 1527 года.

³³ Писано еще в эпоху правления Никколò Капони, но существу стремившегося к ликвидации переворота и мирной реставрации Медичи. Гвиччардини перестал играть активную роль в сентябре 1527 года.

³⁴ Гвиччардини, вызванный в комиссию, учрежденную 3 июля 1527 года для обследования всех финансовых операций, произведенных за время 1512—1527 годов, не мог представить оправдательных документов по некоторым чрезвычайным расходам. Обвинение, однако, не подтвердилось и дело было прекращено.

³⁵ Мадридский договор 14 января 1526 года между пленным Франциском I и Карлом V. Помимо разных территориальных уступок во Франции, Франциск отказывался в пользу Карла V от всех претензий в Италии. Вернувшись во Францию, король объявил, что он не считает себя связанным договором.

³⁶ Английский король Генрих VIII (1509—1547) не был формально членом Коньякской Лиги, но обещал ей поддержку. Гвиччардини очень дорожил участием его в Лиге, как средством противодействия всяким будущим притязаниям Франции на Милан.

³⁷ Места, в которых Гвиччардини оправдывается по этому пункту, представляют настоящие образцы дипломатической изворотливости и оперирования фигурой умолчания. Он ни разу не отрицает прямо своего медичества, и все аргументы построены так, что при перемене обстановки они могут быть использованы по-другому.

³⁸ См. «Ricordi», заметки 51, 109, 121, 243, 358, 377, 380.

³⁹ Гвиччардини уехал из Флоренции в сентябре 1529 года и в октябре того же года присоединился к папе в Болонье, куда приехала и флорентийская депутация для переговоров.

⁴⁰ Гвиччардини, Якопо — старший брат Франческо, возглавлявший торговое дело семьи, управление шел-

ковыми предприятиями. Сотрудник Франческо во время его губернаторства в Романье, участник посольства к Клименту VII. Единственный из братьев был на стороне республики. Активно защищал Франческо перед флорентийскими властями.

⁴¹ Должностные лица, на обязанности которых лежало, между прочим, наблюдение за выдачей жалования войскам.

⁴² Арещо было занято Филибертом Оранским 18 сентября 1529 года и затем несколько раз переходило из рук в руки.

⁴³ *Казентино* — долина Верхнего Арно.

⁴⁴ *Чезена* — город в области Форли.

⁴⁵ Гвиччардини вызывался на суд дважды, но благодаря заступничеству брата Якопо дело затягивалось, и он был осужден только 17 марта 1530 года, т. е. почти накануне капитуляции города.

⁴⁶ *Римини* — город в области Форли.

⁴⁷ Папа боялся, что Карл V отзовет войска из Тосканы и направит их на помощь своему брату, королю Богемии Фердинанду I, осажденному в Веспетурками.

⁴⁸ Эти писания Гвиччардини датируются одним 1530 годом, другими, и повидимому более вероятно, осенью 1527 года, приблизительно одновременно с его письмом самому себе (*Otétéà*, 266). Гвиччардини, в котором никогда не умирал адвокат, выбирает своеобразную форму собственной апологии в форме судебных претензий и использует ее с большим искусством, особенно обвинительную речь. Образ вождя, прирожденного повелителя, почти сверхчеловека, ярко выдвинут на фоне буржуазно-либерального пегодования обвинителя, тщательно паникующего банальные аргументы в защиту демократии.

⁴⁹ Закон об учреждении кваранти, чрезвычайного суда по политическим преступлениям, 16 июля 1526 года.

⁵⁰ Имеется в виду первая попытка свержения Медичи 26 апреля 1527 года, устранившая дипломатическим вмешательством Гвиччардини. Второе восстание произошло уже после взятия Рима и пленения папы.

⁵¹ Гвиччардини, всегда энергично и, повидимому, вполне основательно отвергавший это обвинение, дал в «Истории Италии» очень резкую характеристику грабежей, производимых итальянскими войсками в собственной стране: «Итальянские солдаты, не имевшие тех же причин грабить, как испанцы, потому что им хорошо платили, последовали их примеру и ни в чем им по части грабежей не уступали. К великому позору для войск нашего века, они не делали никакого различия между врагами и друзьями: люди, которым платили ради защиты страны, разгромили ее не меньше тех, кто получал деньги, чтобы ее разорять» (V, 369).

⁵² *Алессандро дель Качча* — главный казначей во время войны 1526 года.

⁵³ *Сальвиати, Якопо* — близкий родственник Гвиччардини, в значительной степени финансировал войну.

⁵⁴ Тема законного честолюбия не раз звучит у Гвиччардини в «Ricordi» (223, 333).

⁵⁵ *Медичи, Лоренцо* — см. прим. 27.

⁵⁶ «Ricordi», заметка 13.

⁵⁷ «Ricordi», заметки 103, 363.

⁵⁸ Маркиз Салуццо и герцог урбинский, Франческо Мариа Ровере, племянник папы Юлия II, начальник папских войск, двинутых в Тоскану для защиты ее от наступавших испанцев.

⁵⁹ *Нери Капшони*.

⁶⁰ *Баттифоле, Франческо, граф Поппи* — владелец феодальных замков в Казентино, воевавший с Флоренцией и изгнанный из своих владений в 1440 году.

⁶¹ «Юпопи», ворвавшиеся 31 августа 1512 года во дворец синьории, — Антон Франческо Альбицци, Паоло Веттори, Джино Капшони, Баччо Валори.

⁶² Строцци были изгнаны еще при Козимо Медичи. Филиппо Строцци, несмотря на свое родство с папой, — один из главных участников второго свержения Медичи. Однако в 1528 году он удаляется из Флоренции, эмигрирует в Лион, вступает в переговоры с Алессандро Медичи и возвращается в Рим. В 1530 году член балии, назначенной герцогом. Впоследствии порвал с Медичи и сошелся с эмигрантами; при по-

пытке вернуться во Флоренцию был взят в плен и пошл в тюрьме.

⁶³ Строщи был приговорен к пятилетнему изгнанию.

⁶⁴ Коллатин, муж Лукреции, изнасилованной Сикстом Тарквинием, сыном царя.

⁶⁵ *Донатти* Корсо — флорентийский политик конца XIII и пачала XIV века, глава партии Черных гвельфов. Убит в 1308 году при попытке к восстанию.

⁶⁶ Франческо Валори, глава савонароловской партии, убит 8 апреля 1498 года Винченцо Ридольфи и Симоне Торнабуони, мстившими ему за своих родных, казненных вместе с Бернардо дель Перо.

⁶⁷ Папа Адриан VI (1522—1523).

⁶⁸ Гвидо Рангоне — начальник папских войск во время войны 1526 года.

⁶⁹ «Давид» Микельбаццело, стоявший тогда у дверей Дворца Синьории.

⁷⁰ Джованни Медичи, предводитель так называемых черных отрядов, знаменитый кондотьер, убит 30 ноября 1526 года в сражении при Говерно.

⁷¹ Гвиччардини имеет в виду разрушения в Вальдэльзе во время войны Лоренцо Медичи с Сикстом IV.

⁷² Ланнуа, вице-король неаполитанский. Перемирие заключено 15 марта 1527 года.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| Предисловие | 7 |
| <i>А. Дживе тегов.</i> Франческо Гвиччардини . . | 11 |
| Заметки о делах политических и гражданских | 107 |
| Семейная хроника | 231 |
| Воспоминания о себе самом | 301 |
| Комментарии | 523 |

*Фронτισпис—портрет Гвиччардини
работы худ. В. А. Милашевского*

Редактор А. К. Дживелегов
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Литерат.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Тех. ред. И. А. Подсухин
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

Сдана в набор 23/V, II 1933
Подпис. к печати 10/III 1933
Выпущена в свет в XII 1933
Тир. 5 300. Уп. Гл. Б-33765
Зак. тип. 7 150. Ас. 43. Инд.
А-1 Авт. л. 20. П. л. $17\frac{1}{2} \times 2$
+ 1 вкладка, Бум. $74 \times 105\frac{1}{32}$
Тип. зн. на 1 бум. л. 92 982

Отпечатано на ф-ке книги
«Красный пролетарий», Мос-
ква, Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 8.00

Переплет Р. 2.00